

Нужно стремиться лишь к тому, чтобы мыслить и говорить согласно истине, без всякого желания привить наши вкусы и убеждения другим: предприятие сие и без того грандиозно.

Ж. Лабрюйер

Оскар Уайльд

ДУША ЧЕЛОВЕКА

Философия Индивидуализма

МОСКВА – 1999г.

Оскар Уайльд

Душа Человека. Философия Индивидуализма. Сост. и перев. под ред. Павла Гелевы. – М.: Издательство «AUM», 1999.

«Душа Человека» – знаменитое эссе Оскара Уайльда – по сути дела является единственным в мировой культуре манифестом индивидуалистического мировоззрения. В нём доходчиво и ярко изложены основные постулаты индивидуализма и эстетизма. Трактовка темы непосредственно затрагивает также религию и искусство.

На протяжении всего XX столетия, хотя произведения Уайльда в Советской России регулярно переиздавались, существование «Души Человека» старательно замалчивалось. И лишь с крушением советской идеологии в конце 80-х был подготовлен новый русский перевод, который был выпущен в 1993 г. в составе уайльдовского двухтомника московским издательством «Республика».

Уайльдовский текст представлен в книге на 6 языках, что делает её превосходным пособием для изучения иностранных языков по методу немецкого археолога и полиглota Генриха Шлимана.

© Перевод с английского: М.Благовещенская, 1914г.; О.Кириченко, 1993г.
© Общая редакция и составление: Павел Гелева, 1999г.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Настоящий трактат был написан Оскаром Уайльдом в 1890г. для «Фортнайтили ревю» и опубликован на его страницах в феврале 1891г. под заглавием «Душа Человека при Социализме». Затем автор издал его отдельной брошюрой, которая вышла в Нью-Йорке ограниченным тиражом с пометой *privately printed* и не поступила в продажу. Лондонский издатель Хамфрис выпустил её вновь в 1905г. в своей серии «Королевская библиотека» под окончательным названием «Душа Человека».

С этого издания французский перевод сделал Поль Грофис и опубликовал его в Брюже в 1906г. у «Артура Эрбера» тиражом 300 экземпляров. В России первый перевод, выполненный М.П.Благовещенской, появился в двухтомном собрании сочинений Уайльда под редакцией Корнея Чуковского в издательстве Маркса в 1912г. И, наконец, немецкий перевод был выполнен Паулем Вертгеймером и вошёл в 5-й том шеститомного немецкого собрания сочинений Оскара Уайльда, выпущенного в 1922г.

На протяжении всего столетия, хотя произведения Уайльда в Советской России регулярно переиздавались, существование «Души Человека» старательно замалчивалось. И лишь с крушением советской идеологии в конце 80-х был подготовлен новый русский перевод, который был выпущен в 1993г. в составе уайльдовского двухтомника московским издательством «Республика».

Знаменитое эссе Оскара Уайльда является по сути единственным манифестом индивидуалистического мировоззрения. В нём доходчиво и ярко изложены основные постулаты индивидуализма и эстетизма. Трактовка темы непосредственно затрагивает и религию.

Люди, обладающие чувством собственного достоинства, сознанием значимости человеческой личности, люди творческие и ищущие, т.е. все те, кто чувствуют себя притеснёнными в сей век тупоумного невежества и торжествующей грубости, найдут для себя в мыслях великого ума могучую поддержку, а стало быть, откроют в себе новые силы, дабы продолжать дело духовного созидания во имя лучшей будущности человечества.

Мы сочли полезным предоставить читателю возможность познакомиться с этим выдающимся произведением в различных ракурсах, издав его в русском переводе начала XX века, в английском оригиналe, во французском, немецком и итальянском переводах начала XX века и в русском и испанском переводах конца XX века. И нам нет надобности объяснять, почему мы поступили именно так, намекнём лишь, что это делает нашу книгу превосходным пособием для изучения иностранных языков по методу немецкого археолога и полиглotta Генриха Шлимана (только в этом случае желательно иметь под рукой 2 экземпляра книги, вместо одного).

Полагаем, что том сей говорит сам за себя и не нуждается в предисловиях и объяснениях, в адвокатах и заступниках. Sapienti sat.

П.Г.

Оскар Уайльд
ДУША ЧЕЛОВЕКА
(очерк индивидуалистической философии)

(перевод М.П. Благовещенской)

Было бы очень хорошо завести социалистический строй,¹ – главным образом потому, что мы избавились бы тогда от унизительной необходимости жить для других, что, при нынешнем положении вещей, тяжким бременем ложится почти на каждого из нас. И вряд ли кому удаётся избегнуть этого.

Время от времени, в течение нашего века удавалось великим учёным, как Дарвин, великим поэтам, как Китс, тонким критическим умам, как Ренан, превосходным художникам, как Флобер, стать особняком от других, не считаться с их крикливыми требованиями, спрятаться под защиту стены, по выражению Платона, и таким образом усовершенствовать то, что в них было, к несравненной выгоде для них самих и к несравненной и неизменной выгоде для всего человечества. Но это, конечно, лишь исключение. В громадном же большинстве люди губят свою жизнь нездоровым, чрезмерным альтруизмом, – в сущности, они принуждены губить её. Со всех сторон их окружают ужасающая нищета, ужасающее безобразие, ужасающий голод. Конечно, всё это неизбежно должно волновать их. Чувство же гораздо скорее поддаётся возбуждению, чем ум. И, как я указывал недавно в одной своей статье о задачах критики, несравненно легче проникнуться симпатией к страданию, нежели к мышлению. Поэтому-то люди, движимые прекрасными, но неверно направленными побуждениями, очень серьёзно и очень сентиментально приступают к излечению того зла, которое они видят. Но их лекарства не исцеляют недуга: они только затягивают его. И, в сущности, их лекарства не что иное, как частица того же недуга.

Стремясь разрешить проблему бедности, они, например, поддерживают жизнь бедняков, а самые передовые из них даже забавляют этих несчастных.

Но это не разрешение вопроса: это лишь новое нагромождение препятствий. Истинная задача – переустройство общества на таких началах, при которых бедность была бы невозможна. Альтруистические же добродетели, воистину, лишь препятствуют достижению этой цели. Наиболее зловредными рабовладельцами были те, которые человечно обращались со своими рабами, ибо они таким образом смягчали для рабов ужас обременявшей их системы и мешали сторонним наблюдателям увидеть этот ужас во всей полноте. Точно также и в Англии, при настоящем положении вещей, наиболее вреда приносят те, кто стараются творить наибольшее добра. И наконец дошло до того, что люди, серьёзно изучившие этот вопрос и узнавшие жизнь, образованные люди, поселившиеся в Ист-Энде,² стали обращаться к обществу с мольбами сдерживать свои

альtruистические порывы к благотворительности, пожертвованиям и тому подобному. Делали они это, основываясь на том, что благотворительность унижает и развращает. И они совершенно правы. Благотворительность рождает множество пороков. Прибавим также, что безнравственно пользоваться частной собственностью для смягчения того ужасного зла, которое является последствием именно частной собственности. Это и нечестно и безнравственно.

Конечно, при социалистическом строем всё это изменится. Не будет больше людей, живущих в вонючих конурах, одетых в вонючие лохмотья и рождающих на свет Божий болезненных, истощённых детей, в самой невозможной и омерзительной обстановке. Благополучие нашего общества не будет зависеть, как теперь, от состояния погоды. С наступлением морозов сотни тысяч безработных, доведённых до отвратительной нищеты, не будут топтаться по улицам, не будут вымаливать подаяния у своих близких или толпиться у входа в мерзкие убежища, пытаясь добыть себе ломоть хлеба и ночлег в грязном помещении. Каждый член общества будет участником общего довольства и благополучия, и, если наступит мороз, никому от этого не станет хуже.

С другой стороны, социализм сам по себе будет иметь значение уже хотя бы только потому, что он приведёт к индивидуализму.

Социализм, коммунизм, – назовите это, как хотите, – обратив частную собственность в общественную и заменив конкуренцию кооперацией, возродит общество к естественному состоянию абсолютно здорового организма и обеспечит материальное благополучие каждому члену общества. И он действительно даст жизни надлежащую основу и надлежащее определение. Однако для полного развития жизни вплоть до высшей степени её совершенства необходимо ещё нечто большее. Необходим индивидуализм. Если социализм будет обладать высшей властью, если появятся правительства, облечённые властью экономической, подобно тому, как в настоящее время они облечены властью политической, если, одним словом, мы будем иметь дело с промышленной тиранией, тогда подобный строй будет для нас хуже прежнего.³ В настоящее время, благодаря существованию частной собственности, очень многие имеют возможность, правда, в весьма ограниченной степени, развить свою индивидуальность: они или не принуждены работать из-за куска хлеба, или же просто имеют возможность избрать тот род деятельности, который соответствует их способностям и доставляет им удовольствие. Таковы поэты, философы, учёные, люди культуры, одним словом, настоящие люди, люди, которые проявили свою

личность и в которых таким образом хоть сколько-нибудь проявилось человечество. С другой стороны, есть множество людей, не имеющих никакой частной собственности, которые, постоянно находясь под страхом голода, принуждены исполнять работу выочных животных, работу совершенно для них чуждую, ибо их принуждает к этому роковая, нелепая и унизительная тирания нужды. Такова участь бедняков. И среди них нет ни изящных манер, ни изысканной речи, ни цивилизации, ни культуры, ни утончённых наслаждений, ни радости жизни. Благодаря их соединённым силам, человечество многое выигрывает в материальном благополучии. Но в результате получается лишь материальная выгода, а сам по себе этот бедняк не имеет никакого значения. Он лишь бесконечно малый атом той силы, которая слепо давит его, ибо тогда он становится гораздо податливее.

Могут, конечно, возразить, что индивидум, порождаемый частной собственностью, не всегда отличается утончённостью и высоким благородством, тогда как бедняки, при отсутствии культуры и внешнего обаяния, обладают многими добродетелями. Оба эти положения, пожалуй, похожи на правду. Обладание частной собственностью нередко действует разворачивающее, и здесь, конечно, одна из причин, вследствие которых социализм стремится избавиться от этого института. Действительно, собственность – это настоящая язва. Несколько лет тому назад у нас появились люди, которые провозглашали на всех перекрёстках, что богатство сопряжено с обязанностями. Они так часто и так назойливо твердили об этом, что наконец и церковь стала повторять за ними эти речи, и теперь их можно услышать с любой кафедры. И они совершенно правы. Мало того, что собственность имеет обязательства, – этих обязательств так много, что обладание большою собственностью становится настоящей обузой. Приходится беспрестанно следить за всеми делами, беспрестанно хлопотать, беспрестанно быть озабоченным. Если бы собственность доставляла лишь одно удовольствие, то её следовало бы оставить; но обязательства, которые она влечёт за собой, невыносимы. В интересах самих же богатых мы должны освободиться от неё. Нельзя не признавать добродетелей бедняков, но в то же время нельзя не скорбеть о них. Нам часто приходится слышать, что бедняки благодарны за благодеяние. Некоторые из них, конечно, благодарны, но лучшие из бедняков никогда не питают чувства благодарности. Они неблагодарны, недовольны, непокорны и мятеjны. Они имеют полное право быть такими. Они чувствуют, что благотворительность представляет собою до смешного несоответствующую форму частичного возмещения или же

сентиментальную благостыню, сопровождающую обыкновенно какой-нибудь наглой попыткой со стороны сентиментальных благодетелей распространить свою тиранию на их частную жизнь. С какой стати им питать благодарность за те крохи, которые падают со стола богачей? Они должны были бы сидеть за тем же столом, – и это они начинают понимать. Что же касается недовольства, то человек, который способен был бы примириться с такой обстановкой и таким низменным образом жизни, уподобился бы настоящему скоту. Непокорность, с точки зрения всякого, кто знает историю, есть основная добродетель человека. Благодаря непокорности стал возможен прогресс, – благодаря непокорности и мятежу. Иногда бедняков хвалят за умеренность. Однако советовать бедняку быть умеренным – и грубо, и оскорбительно. Это всё равно, что умирающему с голода советовать поменьше есть. Для городского или деревенского рабочего быть умеренным безусловно безнравственно. Человек не должен проявлять готовности жить впроголодь, словно скот, которого плохо содержат. Он должен был бы отказываться от такого образа жизни, и одно из двух: или воровать, или жить насчёт благотворительности, что многие считают своеобразной формой воровства. Что касается нищеты, то безопаснее просить милостыню, чем брать, но брать благороднее, чем просить подаяние. Да, бедняк – неблагодарный, невоздержанный, строптивый и мятежный – скорее всего представляет собой настоящую личность, таящую в себе много хороших задатков. Во всяком случае – воплощённый протест. Что же касается бедняков добродетельных, то их, конечно, можно жалеть, но нельзя же восхищаться ими. Они вошли в частную сделку со своим врагом и продали своё первородство за очень скверную похлёбку. К тому же они, должно быть, необычайно глупы. Я вполне понимаю человека, который принимает законы, охраняющие частную собственность, и допускает накопление её, если он при подобных условиях может осуществить ту или иную форму одухотворённой и красивой жизни. Но для меня совершенно непостижимо, каким образом человек, вся жизнь которого испорчена, искалечена такими законами, может мириться с их существованием.

Впрочем, найти объяснение этому, в сущности, довольно легко. Всё дело в следующем. Бедность и нищета до такой степени принижают, парализуют характер человека, что ни один общественный класс не отдаёт себе ясного отчёта в своих собственных страданиях. Другие люди должны рассказать им об этом, а они отказываются верить, когда кто-нибудь другой

рассказывает им об их страданиях. Нарекания крупных работодателей на агитаторов безусловно основательны. Агитаторы – это люди, принимающие близко к сердцу чужие дела; они являются в известный класс общества, вполне довольный своим положением, и сеют среди этих людей семена недовольства. Но по этой именно причине агитаторы безусловно необходимы. Без них при нашем несовершенном строе не было бы движения по пути цивилизации. Рабство в Америке было отменено отнюдь не из-за каких-нибудь энергических действий со стороны рабов: нет, рабы даже не выражали желания стать свободными. Рабство было отменено благодаря явно незаконным поступкам известных агитаторов в Бостоне и других местах, агитаторов, которые сами не были ни рабами, ни рабовладельцами и вообще не имели никакого отношения к этому вопросу. Нет сомнения, что именно они зажгли факел и положили начало всему движению. Любопытно отметить, что сами рабы не только не оказали им хотя бы малейшей поддержки, но даже не проявили по отношению к ним особого сочувствия. А когда, по окончании войны, рабы стали свободными, – действительно, настолько свободными, что могли свободно помирать с голоду, – то многие из них горько сетовали на установление нового строя. Для мыслителя самым трагическим во всей французской революции является не казнь Марии-Антуанетты, которую убили за то, что она была королевой, а восстание голодающих вандейских крестьян, добровольно шедших на смерть во имя отвратительного феодализма.⁴

Таким образом, ясно, что социализм не должен создавать никаких стеснений. Ибо, если при настоящей системе множество людей могут пользоваться в жизни известной долей свободы, силы и счастья, то при промышленно-казарменной системе или при системе экономической тирании никто не будет пользоваться даже и такой свободой.⁵ Конечно, это очень жаль, что часть нашего общества фактически находится в рабстве, но разрешать этот вопрос обращением в рабство всего общества было бы истинным ребячеством. Каждый должен вполне свободно выбирать ту деятельность, которая ему по душе, не испытывая на себе давления в какой бы то ни было форме. В противном случае работа человека не будет полезна ни для него самого, ни сама по себе, ни для других. Под работой же я разумею просто всякого рода деятельность.

Я думаю, что в настоящее время едва ли найдётся хоть единственный социалист, который серьёзно посмел бы предложить, чтобы каждое утро являлся во все дома надзоратель и следил за гражданами: вовремя ли они вставали, и занимаются ли они ручным трудом в

продолжении восьми часов. Человечество переросло эту стадию и сохранило подобную форму жизни лишь для тех, кого оно весьма произвольно называет преступниками. Должен, однако, сознаться, что многие из тех социалистических исследований, с которыми мне приходилось сталкиваться, проникнуты, на мой взгляд, именно такою идеей власти и даже, пожалуй, насилия. Само собой разумеется, что тут о власти и насилии не может быть и речи. Всякая ассоциация должна быть вполне добровольна. Только в добровольной ассоциации человек совершенен.

Но могут спросить, каким же образом индивидуализм, развитие коего так или иначе зависит теперь от существования частной собственности, выиграет, если эту частную собственность уничтожить. Ответ чрезвычайно простой. Да, при существующих условиях некоторые избранные, обладающие собственными средствами, как Байрон, Шелли, Браунинг, Виктор Гюго, Бодлер и другие, действительно имели возможность более или менее полно проявлять свою личность. Ни одному из них и суток не пришлось проработать по найму. Они были избавлены от бедности. На их долю выпало большое преимущество. Спрашивается, было ли бы это в интересах индивидуализма, если бы подобное преимущество оказалось устраниено? Предположим, что оно действительно устраниено. Что случится тогда с индивидуализмом? Что хорошего и полезного почернёт он из этого нового положения вещей?

Много хорошего и полезного почернёт индивидуализм из нового положения вещей. При новых условиях он будет несравненно свободнее, несравненно прекраснее и несравненно интенсивнее, нежели в настоящее время. Я говорю не о том индивидуализме, который проявил себя в громадной силе воображения упомянутых мною поэтов, но о великом действительном индивидуализме, потенциально таящемся во всём человеческом роде. Ибо признание частной собственности в сущности повредило индивидуализму, затемнило его, смешав человека с теми вещами, которыми он обладает. Это совершенно сбило индивидуализм с его истинного пути. Материальную прибыль поставили выше духовного развития. Благодаря этому человек стал думать, что главное – это иметь, и упустил из виду, что главное – это быть. Истинное совершенство человека заключается не в том, что он имеет, а в том, что он собственно представляет. Частная собственность низвергла истинный индивидуализм и создала вместо него индивидуализм ложный. Она лишила одну часть общества индивидуализма, заставив её жить впроголодь. Она лишила другую часть общества индивидуализма,

совратив её на ложный путь и загромоздив ей дорогу. В самом деле, человеческая личность до такой степени поглощена своею собственностью, что английские законы стали гораздо строже карать преступления против собственности, нежели против личности; и до сих пор ещё собственность является непременным условием для приобретения человеком полных гражданских прав. Крайне разворачивает также и необходимость приобретать деньги, что обуславливается нашим экономическим строем. В обществе, подобном нашему, где собственность обуславливает громадную разницу в социальном положении, почёт, уважение, титулы и тому подобные прелести, человек, по природе честолюбивый, ставит себе целью скопить состояние и, увлёкшись скучным, томительным процессом накопления, идёт несравненно далее, чем вначале хотел, так что не может уже больше ни пользоваться своим богатством ни наслаждаться им, а может быть, даже и не отдаёт себе полного в нём отчёта. Человек готов убить, изнурить себя непосильной работой в погоне за собственностью, и этому нельзя удивляться, если принять во внимание те громадные преимущества, которые даёт собственность. К сожалению, общество построено на таких основах, что люди как будто насильно забиты в яму, где они не могут свободно развивать то, что в них есть удивительного, обаятельного и прекрасного, и где они действительно не знают ни истинного удовольствия, ни радости жизни. Кроме того, при настоящих условиях, человек не может чувствовать себя обеспеченным. Несметно богатый коммерсант в любой момент своей жизни может очутиться — а это часто бывает — в зависимости от явлений, находящихся вне его влияния. Поднимется сильный ветер, или погода внезапно изменится, или случится нечто обыденное — и судно его погибнет, предприятие его рушится, и он сделается бедняком, лишаясь вместе с тем и своего общественного положения. А в сущности ничто не должно бы озабочивать человека, кроме его внутреннего «Я». Ничто не должно было бы обращать человека в нищего. В действительности человек обладает лишь тем, что находится в нём самом. Всё же, что вне его, не должно иметь никакого значения.

Таким образом, с уничтожением частной собственности, у нас будет истинно прекрасный, здоровый индивидуализм. Никто не захочет губить свою жизнь накоплением вещей и денег. Будут жить. Просто жить! — о, это так редко выпадает на долю людей. Большая часть из них лишь существует — не более того.

Ещё вопрос, видели ли мы когда-нибудь полное выражение человеческого «Я» в какой бы то ни было области, кроме области творческого воображения. В действительной жизни нам это зрелище не встречалось ни разу. Моммзен говорит, будто Цезарь – цельный и совершенный человек.⁶ Но до чего трагически непрочно было положение Цезаря! Раз человек проявляет власть, то он в то же время и борется с чьею-нибудь чужою властью. Цезарь был совершенный человек, но каким опасным путём шло его совершенство! Ренан говорит, будто Марк Аврелий был совершенный человек.⁷ Да, великий император был совершенный человек. Но до чего невыносимы те бесконечные требования, которые предъявлялись к нему. Он изнемогал под бременем империи. Он сознавал, до какой степени непосильно для человека нести бремя Титана – бремя слишком обширного земного шара. Под совершенным человеком я подразумеваю такого, который развивался бы при совершенных условиях, – не израненного, не искалеченного, не подверженного никакой опасности. Большинство личностей были вынуждены стать мятежными. Половину своих сил оне затратили на преодоление внешнего трения. Так, например, личность Байрона была страшно ослаблена борьбою с тупостью, лицемерием и фильтерством англичан. Подобная борьба не всегда укрепляет силы; очень часто она увеличивает слабость. Байрон никогда не был в состоянии дать нам всё, что он мог бы дать. Шелли отдался легче. Подобно Байрону, он покинул Англию при первой возможности. Но он был не так знаменит. Если бы англичане имели хоть малейшее представление, какой это в действительности великий поэт, они вцепились бы в него зубами и когтями и приложили бы все старания, чтобы сделать его жизнь как можно тягостнее. Но он не был заметной фигурой в обществе, вследствие чего ему и удалось до известной степени избежать гонений. Однако и в Шелли мятежное чувство оказывается иногда слишком сильно. Совершенной же личности свойственно не возмущение, а покой.

Это будет нечто удивительное – истинная личность человека, если только нам придётся увидеть её. Она будет расти естественно и просто, подобно цветку или дереву. В ней не будет разлада. Она никогда не будет убеждать или спорить. Она ничего не будет доказывать. Ей будет ведомо всё; хоть она и не станет заботиться об этом, мудрость будет её достоянием. Не материальными ценностями будут измерять её значение. Она будет совершенно неимуща. И всё же она будет безмерно богата, и, сколько бы у неё ни отнимали, у неё останется столько же – так она будет богата. Она не будет

сокрушаться о делах своих близких, не будет требовать, чтобы они стали подобными ей. Она будет любить других именно за то, что они на неё непохожи. И хотя она не будет вмешиваться в чужие дела, она всё-таки будет на пользу всему человечеству, как полезны прекрасные предметы уже тем только, что они прекрасны. Личность человека будет так удивительна, как личность ребёнка.

Её развитию может благоприятствовать христианство, если только люди пожелают того; но если они не пожелают, то она отлично разовьётся без всякого подобного содействия. Ибо она не станет тревожиться о прошлом, и, что бы ни случилось, она пребудет спокойна. Она не будет признавать никакие другие законы, только свои собственные; никакую иную власть, только свою собственную. Однако она будет любить тех, кто уготовал ей путь и торжество, и вечно будет о них вспоминать. А к числу последних принадлежит и Христос.

«Познай самого себя» – было начертано на портале античного мира.⁸ На портале же нового мира будет начертано: «Будь самим собой». И миссия Христа к человеку выражалась именно в словах: «Будь самим собою.» В этом – Иисусова тайна.

Говоря о бедных, Иисус подразумевает под ними человеческие личности, говоря же о богатых, он подразумевает под ними людей, не развивших в себе свою личность. Иисус жил в таком обществе, где так же, как и у нас, допускалось накопление частной собственности. И в своих проповедях он вовсе не говорил, будто в таком обществе человеку и надобно жить, скучно питаясь нездоровой пищей, носить рваные нездоровые лохмотья, спать в ужасных нездоровых жилищах, и будто вредно жить в здоровых, приятных и приличных условиях. Это было бы совершенно неправильно даже по отношению к той стране и к тому времени. Но особенно неверно было бы по отношению к Англии в настоящее время; ибо по мере того, как человек продвигается к северу, материальные потребности приобретают всё большее жизненное значение, а наше общество несравненно более сложно, и крайности роскоши и нищеты в нём несравненно более резки, нежели в каком-либо государстве античного мира. Иисус же разумел вот что. Он сказал человеку: «У тебя удивительная личность. С совершенствуй её. Будь самим собой. Не думай, что совершенство твоё заключается в накоплении внешних благ или обладании ими. Твоё совершенство внутри тебя. Если ты только сумеешь осуществить его, то тебе незачем желать богатства. Обыкновенные богатства могут быть украдены. Истинные же богатства украсть нельзя. В сокровищнице твоей души скрыты

бесконечно большие драгоценности, которые нельзя у тебя отнять. А потому старайся устроить твою жизнь так, чтобы ничто внешнее не причиняло тебе огорчений. Сттайся также отрешиться от частной собственности. Она влечёт за собой низменные заботы, бесконечный труд, беспрерывную несправедливость. Частная собственность препятствует индивидуализму на каждом шагу.» Надо заметить, что Иисус не говорит, будто бедные непременно хороши, а богатые непременно дурны. Это было бы неверно. Богатые люди, как целый класс, лучше бедных, нравственнее, развитее, воспитаннее. В обществе существует один только класс, думающий о деньгах более, нежели думают о деньгах богатые, – это именно бедные. Бедные и не могут думать ни о чём другом. Бедность – это великое несчастье. А Иисус говорит, что человек достигает совершенства не в силу того, что он имеет, и не в силу того, что он делает, а исключительно благодаря тому, что он собою представляет. Так, богатый юноша, который пришёл к нему, изображён вполне благонамеренным гражданином, не нарушившим ни одного закона своей страны и ни одного предписания своей религии. Он вполне порядочный человек в обыкновенном смысле этого необыкновенного слова. Иисус говорит ему: «Ты должен отказаться от частной собственности. Она мешает тебе совершенствоваться. Это обуза на твоей шее. Это бремя. Твоя личность не нуждается в нём. То, что ты ищешь и что тебе действительно необходимо, находится внутри тебя, а не вовне.» Своим ученикам он говорит то же самое. Он учит их быть самими собой и не гнаться ни за чем иным. К чему всё прочее? Человек совершенен в самом себе. Когда они пойдут в мир, то мир вступит во вражду с ними. Это неизбежно. Мир ненавидит индивидуализм. Но это не должно смущать их. Они должны оставаться спокойными и сосредоточиться в самих себе. Если кто-нибудь возьмёт у них рубашку, пусть отдадут и платье, чтобы показать, что материальные блага не имеют никакого значения. Если их будут оскорблять, они не должны платить тем же. Что это значит? Людская молва не может изменить человека. Он остаётся тем, что он есть. Общественное мнение не имеет никакой цены. Если даже совершат над ними насилие, они не должны отвечать насилием. Это значило бы опуститься до такого же низкого уровня. И даже в тюрьме человек может оставаться свободным. Его душа свободна. Его личность может быть невозмутимой и покой его души ненарушенным, и, главное, не нужно входить в пререкания с людьми или осуждать их за что бы то ни было. Личность ведь таинственна, загадочна. Не всегда можно судить о человеке по деяниям его. Он может блюсти закон и

быть недостойным человеком. Он может нарушать законы и всё-таки быть благородным. Он может быть дурным, не делая ничего дурного. Он может согрешить против общества и всё-таки, благодаря именно греху, достигнуть истинного совершенства.

Вот женщина, уличённая в прелюбодеянии. Нам не рассказана история её любви, но любовь её, должно быть, была весьма велика, ибо Иисус отпустил ей грехи не потому, что она раскаялась, а потому, что её любовь была так сильна и прекрасна. Позже, незадолго до его кончины, когда он возлежал на пиру, женщина подошла к нему и вылила на его голову дорогие духи. Ученики его стали пререкаться с нею, говоря, что это безумная расточительность и что стоимость этих благовоний лучше было бы употребить на милостыню бедным или на что-нибудь в этом роде. Однако Иисус не согласился с ними и тем указал, что материальные потребности человека велики и постоянны, но духовные запросы ещё больше, и что личность человека может стать совершенной в один божественный миг, избрав свой особый способ проявления. Весь свет и доныне чтит эту женщину, как святую.

Да, индивидуализм заключает в себе многое. Социализм, например, уничтожает семейную жизнь. С упразднением частной собственности должен исчезнуть и брак в его настоящей форме. Это – часть социалистической программы. Выполнить её берётся индивидуализм и облагораживает брак. Он превращает законное принуждение в особый вид свободного союза, а это будет содействовать полному развитию личности и сделает любовь между мужчиной и женщиной более прекрасной, более удивительной и более облагораживающей. И Иисус знал это. Он не признавал обязательств по отношению к семье, несмотря на то, что в его время и в его обществе эти обязательства проявлялись в очень сильной степени. «Кто моя мать? Кто мой брат?» – спросил он, когда ему сказали, что они хотят говорить с ним. Когда один из его учеников попросил у него позволения сходить похоронить отца, то получил ужасающий ответ: «Пусть мёртвые хоронят своих мертвцев». Он не хотел допустить, чтобы к личности предъявлялись какие-нибудь требования.

А потому тот, кто хочет вести жизнь по примеру Христа, должен быть безусловно и всецело самим собой. Пусть он будет великим поэтом или великим учёным, юным студентом университета, пастухом, стерегущим баранов в степи, драматургом, подобно Шекспиру, мудрецом, размышляющим о Боге, как Спиноза, ребёнком, играющим в саду, или рыбаком, забрасывающим сети в

море – это безразлично, кто он, раз он будет стремиться к усовершенствованию души, которая вложена в него. Всякое подражание, как в области отвлечённого мира, так и в жизни, губительно. По улицам Иерусалима бродит теперь сумасшедший с деревянным крестом на плечах. Он представляет собою символ всех человеческих жизней, изуродованных подражанием. Святой Дамиан,⁹ удаляясь к прокажённым, уподобился Христу, ибо в этом добром деле он полностью проявил то, что было в нём лучшего. Однако он вовсе не был более подобен Христу, нежели Вагнер, проявивший свою душу в музыке, или Шелли, проявивший свою душу в песне. Для человека нет образца. Совершенств столько же, сколько несовершенных людей. И если человек сохраняет ещё свободу, уступая требованиям милосердия, то он уже никоим образом не может сохранить свободу, уступая требованиям подражания.

Итак, индивидуализм – это то, чего мы должны достигнуть при содействии социализма. Само собой разумеется, государство должно отказаться от всякой идеи власти. Оно принуждено будет отказаться от неё, потому что – как это сказал один мудрец ещё за несколько веков до Христа¹⁰ – для человека естественно быть независимым и совершенно противоестественно быть управляемым. Все формы правления несостоятельны. Деспотизм несправедлив по отношению ко всем, включая сюда и самого деспота, которому, вероятно, предназначена была лучшая доля. Олигархия несправедлива к большинству, а охлократия – к меньшинству.¹¹ Большие надежды возлагали некогда на демократизм; но демократизм есть не что иное, как угнетение народа народом во имя народа; это наконец было понято. Давно пора, ибо всякая власть в высшей степени унизительна. Она унижает и тех, кто облечён ею, и тех, на ком её проявляют. Если её применяют необузданно, грубо и жестоко, то это даёт хорошие результаты, так как создаёт или во всяком случае пробуждает дух индивидуализма и мятежа, который убьёт её. Если же властью пользуются до известной степени мягко и при этом пускают в ход награды и поощрения, то такая власть действует страшно разворачивающе. При подобных условиях люди не так ясно отдают себе отчёт в производимом над ними насилии и живут в каком-то грубом довольстве, словно холёная скотина, не сознавая, что они думают чужие мысли, преследуют чужие цели, носят, так сказать, платье с чужого плеча, и ни на один миг не бывают самими собою. «Кто хочет быть свободным, – говорит один тонкий мыслитель, – тот не должен повиноваться.» А власть, приводя людей к повиновению, порождает среди них нечто в роде грубо-пресыщенного варварства.

Вместе с властью исчезнут и наказания. Это будет крупным выигрышем – выигрышем действительно неисчислимой ценности. Если читать историю не по исправленным учебникам, которые пишутся для школьников и гимназистов, а по оригинальным источникам каждой эпохи, то можно прийти в настоящее отчаяние, – не от преступлений, которые совершали порочные люди, а от тех наказаний, которые налагали на них непорочные: общество несравненно более грубеет вследствие привычки применять наказания, нежели от случайно совершаемых преступлений. Из этого несомненно следует, что чем больше применяется наказаний, тем больше совершается преступлений; наиболее передовые законодательства сознают это очень хорошо и ставят своею задачей ослабить наказания настолько, насколько, по их мнению, возможно. Там, где действительно уменьшали наказания, всегда получались необычайно хорошие результаты. Меньше наказаний, меньше преступлений. Когда совсем исчезнут наказания, то и преступления или совсем прекратятся, или же, если будут случаться, то их будут рассматривать как весьма печальную форму слабоумия, которое надо лечить лаской и вниманием при помощи врачей. Ибо те, кого теперь называют преступниками, нисколько не преступники. Нищета, а не порочность – мать современных преступлений. Вот почему в действительности наши преступники в общем не представляют никакого интереса с психологической точки зрения. Это не великолепные Макбеты, не наводящие ужас Вотрены. Они представляют собою просто то, чем стали бы многие из почтенных, заурядных людей средней руки, если бы у них явился недостаток в пище. С уничтожением частной собственности не будет необходимости в преступлении, не будет повода к нему; оно прекратит своё существование. Конечно, не все преступления относятся к разряду преступлений против собственности; но таковы те, за которые английские законы карают с особенной суровостью, оценивая не то, что человек собою представляет, а то, что он имеет (если исключить убийство и смотреть на смертную казнь, как на более тяжкое наказание, нежели каторга, с чем едва ли согласятся наши криминалисты). Но если даже преступление и не относится к разряду преступлений против собственности, оно всё-таки является следствием нищеты, озлобленности и отчаяния, порождаемых нашей неправильной системой пользования собственностью. А потому с уничтожением этой системы исчезнут и преступления. Когда каждый член общества будет иметь достаточно для удовлетворения своих потребностей и его близкие не будут ни в чём соперничать с ним, то

у него вообще не найдётся никакого повода для столкновения с кем бы то ни было. Чувство зависти – этот неисчерпаемый источник преступлений в современной жизни – находится в тесной связи с нашими понятиями о собственности, а потому при индивидуализме и социализме это чувство умрёт. Замечательно, что в коммунистических общинах чувство зависти совершенно неизвестно.

Теперь спрашивается, что же будет с государством, раз оно не будет управлять? Государство превратится в добровольную ассоциацию, которая будет организовывать труд, производить и раздавать продукты. Государство должно производить полезное, отдельные люди должны производить прекрасное. Употребив слово «труд», не могу не заметить, какое множество бессмыслиц писали и говорили по поводу благородства ручного труда. В ручном труде, безусловно, нет ничего благородного, а многие его отрасли прямо-таки унизительны. Как в интеллектуальном отношении, так и в моральном, для человека унизительно исполнять работу, не доставляющую ему удовольствия; а многие отрасли труда представляют собой очень неприятную работу, и, как таковую, её и следует рассматривать. Восемь часов в сутки подметать грязную улицу в то время, как дует восточный ветер, – отвратительное занятие. Мести с интеллектуальным, нравственным и физическим достоинством, мне кажется, невозможно. Мести с радостью – было бы ужасно. Человек создан для лучшего назначения, нежели копание в грязи. Все работы подобного рода должны выполняться машинами.

И я не сомневаюсь, что так это и будет. До настоящего времени человек был до известной степени рабом машины, и есть нечто трагическое в том, что едва человек избрёл машины, которые стали выполнять его работу, как он начал голодать. Однако это, конечно, лишь результат нашей системы собственности и нашей системы конкуренции. Один человек приобретает машину, производящую работу пятисот человек. Благодаря этому выброшены из строя пятьсот человек, которые, не имея работы, голодают и начинают воровать. Один человек берёт себе весь продукт, изготавляемый машиной, и таким образом получает в пятисот раз более того, что он должен был бы получить, и, вероятно (что гораздо важнее), несравненно более того, что ему действительно необходимо. Будь эта машина достоянием всех, каждый получал бы выгоду от неё. Это было бы огромным преимуществом для общества. Весь неинтеллектуальный труд, весь однообразный, скучный труд, весь труд, сопряжённый с опасностью и обставленный неприятными условиями, должен выполняться машинами. Машины должны

работать за нас в каменноугольных копях и выполнять все санитарные работы, они должны быть кочегарами на пароходах, должны чистить улицы и выполнять поручения в ненастные дни, и вообще делать всё скучное и неприятное. В настоящее время машина конкурирует с человеком. При нормальных условиях жизни машина будет служить человеку. Нет ни малейшего сомнения в том, что такова будущность машины, и подобно тому, как деревья растут в то время, пока помещик спит, так и человечество будет забавляться и наслаждаться культурным досугом, в чём – а отнюдь не в труде – и состоит призвание человека, творить прекрасные предметы или читать прекрасные произведения, или же просто с восторгом и наслаждением созерцать мир в то время, как машины будут производить всю необходимую и неприятную работу. Факт тот, что цивилизация нуждается в рабах. В этом отношении греки были совершенно правы. Но до тех пор, пока безобразную, отвратительную, неинтересную работу не исполняют рабы, культура и созерцание невозможны. Но рабство человека – это нечто несправедливое, непрочное и разворачивающее. Будущее человечества зависит от порабощения машин. Когда образованные люди не будут больше принуждены посещать угнетающий дух Ист-Энд, чтобы там раздавать голодающим скверное какао и ещё более скверные одеяла, у них будет приятный досуг для прекрасных и интересных открытий на радость себе самим и всем другим. В каждом городе, а если понадобится, то и в каждом доме, будет большой запас энергии, которую люди, смотря по надобности, будут обращать в свет, тепло или движение. Это Утопия? Но не стоит и смотреть на карту, раз на ней не обозначена Утопия, ибо это та страна, на берега которой всегда высаживается человечество. А высадившись, оно начинает осматриваться по сторонам и, увидя лучшую страну, снова поднимает паруса. Осуществление утопий есть Прогресс.

Я сказал, что все полезные вещи будут производиться машинами, тогда как всё прекрасное будут создавать индивидуумы. Это не только необходимо, – это единственный способ, благодаря которому возможно получать то или другое. Индивидуум, изготавливающий предметы для потребления других, считающийся с чужими нуждами и желаниями, не может работать с увлечением и, следовательно, не может вложить в свою работу лучшее, что в нём есть. С другой стороны, каждый раз, когда общество, или какая-нибудь влиятельная часть его, или же какое-нибудь правительство пыталось указывать художнику, что он должен делать, искусство или совершенно исчезало, или становилось шаблонным, или же

вырождалось в грубую, низменную форму ремесла.¹² Произведение искусства – это индивидуальный результат индивидуального темперамента. Красота его обусловливается тем, что автор проявил в нём свою индивидуальность, ничуть не считаясь с тем, чего желают другие. И действительно, как только художник начинает считаться с желаниями других и старается идти навстречу их запросам, он перестаёт быть художником и превращается в тупого и смешного ремесленника, в честного или бесчестного торговца. Он уже не имеет больше права требовать, чтобы на него смотрели как на художника. Искусство – самая яркая форма выражения индивидуализма, такую когда-либо знали люди. Я сказал бы даже, что искусство – единственная настоящая форма индивидуализма, такую когда-либо знали люди. В преступлении, которое при известных условиях могло бы тоже показаться проявлением индивидуализма, всегда замешаны другие люди. Оно относится к области действия. Один лишь художник может творить прекрасные произведения, не считаясь с другими, без всякого вмешательства других людей; если же он творит не исключительно ради своего удовольствия, то он отнюдь не художник.

Тут следует отметить, что именно на искусство, эту самую яркую форму выражения индивидуализма, толпа и старается оказать давление; а это столько же безнравственно, сколько смешно, столько же недобросовестно, сколько низко, и толпу нельзя обвинить в этом всецело. Она всегда, во все времена, была дурно воспитана. Она постоянно требует, чтобы искусство было популярным, чтобы оно отвечало её вкусу, – вернее, её безвкусице, – льстило её бессмысленному тщеславию, говорило ей то, о чём ей было говорено уже раньше, показывало то, на что ей давно должно было надоеть смотреть, развлекало её, когда она чувствует тяжесть после слишком обильной пищи; занимало её мысли, когда она томится от своей собственной глупости. А между тем искусство никогда не должно стремиться к популярности, публика же должна стремиться к развитию в себе самой художественного вкуса. В этом большая разница. Скажите учёному, что результаты его опытов и выводы, к которым он придёт, не должны опровергать установившихся вульгарных сведений по данному предмету, или колебать веру в народные предрассудки, или же задевать чувства людей, ничего не понимающих в науке; скажите философу, что он имеет полное право производить исследования в высших сферах мысли, с тем однако условием, чтобы он пришёл к тем же выводам, которых придерживаются люди, которые никогда не мыслили ни в каких

сферах, — и учёный, и философ расхохотались бы на это самым искренним образом. А между тем ещё несколько лет тому назад наука и философия были подчинены грубому контролю толпы, вернее, были во власти полного невежества, или же находились в страхе и трепете перед могуществом духовного или правящего класса. Правда, мы уже в значительной степени освободились от каких-либо посягательств со стороны общества, церкви или правительства вмешиваться в область индивидуализма в сфере спекулятивного мышления, однако попытки вмешиваться в проявление индивидуализма в области фантазии всё ещё продолжаются. Более того, попытки эти принимают агрессивный характер, становятся оскорбительными и грубыми.

В Англии в этом отношении более посчастливилось тем видам искусства, которыми публика не интересуется. В данном случае я подразумеваю поэзию. У нас в Англии могла народиться прекраснейшая поэзия только благодаря тому, что публика не читает её, а следовательно, и не оказывает на неё давления. Публика любит оскорблять поэтов за то, что они индивидуалистичны, но, раз оскорбив, она оставляет их в покое. Что же касается романа и драмы, этих отраслей искусства, к которым публика относится с интересом, то результаты вмешательства толпы в эту область прямо смешны. Ни в одной стране не пишут таких скверных рассказов, таких скучных, пошлых произведений в форме романа, таких глупых, вульгарных пьес, как в Англии. Да иначе и быть не может. Идеал толпы такого свойства, что ни один художник не может примириться с ним. Быть популярным романистом — и слишком легко, и слишком трудно в одно и то же время. Слишком легко — потому, что требования, предъявляемые публикой к фабуле, стилю, психологии, пониманию жизни и пониманию литературы, весьма ограничены и вполне под силу самому посредственному дарованию, самому неразвитому уму. Слишком трудно — потому, что, приспособляясь к подобным требованиям, художник должен писать не ради художественного наслаждения, которое даёт само по себе творчество, а для забавы полуобразованной толпы, он должен подавлять свой индивидуализм, забывать о своей культурности, лишать характера свой стиль и отбросить всё, что в нём есть ценного. Что касается драмы, то с ней дело обстоит несколько лучше: правда, публика, посещающая театры, любит всё, что банально и несложно, но зато она не любит того, что скучно; а фарс и комедия, наиболее популярные формы драматических произведений, несложны и удобопонятны. Публике доставляют удовольствие только те пьесы, которые написаны в форме шутки или фарса, и в произведениях такого рода писателям Англии

предоставляется широкая свобода. Только в высших формах драмы становится чувствительным результат контроля толпы. Чего толпа особенно не любит, так это новшеств. Всякая попытка расширить область искусства ненавистна толпе; а между тем жизненность и прогресс искусства в значительной степени зависят от непрерывного расширения его области. Толпа не любит новшеств, потому что боится их. Новшества представляются толпе особым видом индивидуализма, проявлением со стороны художника самостоятельности, как в выборе самой темы, так и в характере её разработки. И толпа совершенно права. Искусство – это индивидуализм, а индивидуализм – сила, уничтожающая и раздробляющая. В этом-то и заключается огромное значение индивидуализма. Он стремится уничтожить однообразие типа, рабство перед обычаем,тиранию привычки и низведение человека до уровня машины. В искусстве толпа принимает то, что было, потому что не может уже больше изменить этого, а вовсе не потому, что ценит это. Она глотает классиков целиком, но никогда не входит во вкус их. Она терпит их, как нечто неизбежное, и так как она не может исказить их, то она кричит о них. Странно это или нет – это зависит от личной точки зрения, – но подобное признание классиков приносит много вреда. Примером этому может служить восторженное, лишенное всякой критики, отношение к «Библии» и Шекспиру. Что касается «Библии», то я не буду останавливаться на этом пункте, так как иначе тут пришлось бы коснуться воззрений авторитетов церкви.

Что же касается Шекспира, то ясно, что толпа на самом деле не видит ни красот, ни недостатков его пьес. Если бы она видела красоты, то не препятствовала бы дальнейшему развитию драмы, а если бы она видела недостатки, то и в этом случае не препятствовала бы дальнейшему развитию драмы. Дело в том, что толпа пользуется классиками, как средством тормозить прогресс в искусстве. Она низводит классиков на степень авторитетов. Она пользуется ими, как дубинкой, чтобы препятствовать свободному проявлению красоты в новых формах. Писателя часто спрашивают, почему он не пишет, как такой-то, или живописца, почему он не творит как такой-то, совершенно забывая, что если бы тот или другой поступил таким образом, то перестал бы быть художником. Новая форма красоты противна толпе, и, как только она появляется, толпа так теряется и приходит в такое негодование, что всегда пускает в ход два глупых выражения – одно, что произведение искусства совершенно непонятно; другое, что произведение искусства совершенно безнравственно. Мне кажется, она подразумевает под этими словами

вот что. Когда она говорит, что произведение совершенно непонятно, то это означает, что художник сказал или сделал нечто прекрасное и новое; а когда она характеризует произведение как совершенно безнравственное, то это означает, что художник сказал или создал нечто прекрасное и правдивое. Первое относится к форме, второе – к содержанию. Но, повидимому, толпа употребляет эти выражения крайне бессознательно, подобно тому, как чернь пускает в ход находящийся под рукой бульжник. Нет ни одного настоящего поэта или прозаика хотя бы нашего столетия, которому британская публика не выдала бы торжественно диплома на безнравственность. А подобный диплом у нас фактически соответствует официальному избранию в члены Академии во Франции,¹³ так что в Англии, к счастью, нет надобности в подобном учреждении. Правда, публика весьма опрометчиво пользуется этим словом. Остается только ожидать, что она назовёт Вордсворт безнравственным поэтом. Вордсворт был действительно поэтом. А что она признала романиста Чарльза Кингслея безнравственным – это удивительно, ибо проза Кингслея не отличалась высокими качествами. Но благо есть слово, толпа и пользуется им, как умеет. Истинный художник безусловно верит в самого себя, ибо он безусловно выражает самого себя. Но мне кажется, что если бы художник создал такое произведение искусства в Англии, которое сейчас же по своему появлению было бы признано публикой через своего посредника – прессу – за вполне нравственное, то он, художник, совершенно серьёзно мог бы спросить себя, проявил ли он самого себя в своем произведении и, следовательно, вполне ли оно его достойно, не представляет ли собою его произведение чего-то второстепенного, и есть ли в нём хоть какие-нибудь художественные достоинства.

А впрочем, я, быть может, был несправедлив к публике, ограничив её определения такими словами, как «безнравственно», «непонятно», «экзотично» и «нездоро». Есть ещё одно слово, которое она употребляет. Слово это – «вредно». Однако публика употребляет его довольно редко. Значение этого слова так просто, что публика боится пользоваться им. Но она всё-таки время от времени пускает его в ход и разит им кого-нибудь в газетах. Конечно, это довольно смешное слово в применении его к произведению искусства. Ибо какой вред может принести та или иная форма выражения чувства или образа мысли? Вот толпа – та всегда вредна, ибо она никогда ни для чего не находит выражения. Художник же никогда не вреден. Он выражает всё. Он находится вне своего сюжета и, при посредстве его, производит несравнимое художественное

впечатление. Назвать художника вредным только потому, что сюжетами ему служат порок и безнравственность, так же дико, как назвать Шекспира безумным только потому, что он написал «Короля Лира».

В общем, в Англии художник даже кое-что выигрывает, благодаря нападкам на него. Его индивидуальность выражается интенсивнее. Он становится более самим собою. Нападки же на него, конечно, очень грубы, очень дерзки и очень недостойны. Но художник и не ждёт пощады от вульгарной души или приличного отношения со стороны низменного ума. Пошлость и глупость – вот два весьма ярких явления современной жизни. Об этом, конечно, приходится пожалеть. Но оне налицо. Оне даже представляют собой предмет изучения, как и всё прочее. А что касается современных журналистов, то к чести их нужно сказать, что наедине они всегда извиняются перед вами за то, что публично оскорбляли вас.

За последние несколько лет весьма краткий словарь бранных слов по адресу искусства, находящийся в пользовании публики, пополнился ещё двумя прилагательными. Одно из них «нездоровий», другое – «экзотичный». Последнее выражает лишь бессильную злобу преходящего гриба против бессмертной, восхитительной и изысканно-прекрасной орхидеи. Это дань, но дань, не имеющая значения. Тогда как слово «нездоровий» следует подвергнуть анализу. Это очень интересное слово. И, действительно, оно тем более интересно, что люди, употребляющие его, не знают его значения.

Что же оно означает? Что такое само по себе здоровое и что такое нездоровое произведение искусства? Все термины, применяемые к произведению искусства – если только предположить, что их применяют со смыслом, – относятся или к форме, или к содержанию, или же к тому и другому вместе. С точки зрения формы, здоровое произведение – это такое, в форме которого проявила себя красота употреблённого материала – будь это слово или бронза, краска или слоновая кость – лишь бы красота эта служила фактором для получения эстетического впечатления. С точки зрения содержания, здоровое произведение искусства – это такое, выбор содержания которого обусловлен темпераментом художника и прямо из него вытекает. Одним словом, здоровое произведение искусства – это такое, в котором есть и красота формы и сильно выраженная личность. Само собою разумеется, в произведении искусства форма не может быть отделена от содержания – они всегда слиты воедино, но, ради анализа и на мгновение оставляя в стороне цельность

эстетического впечатления, мы можем мысленно отделить их друг от друга. С другой стороны, нездоровое произведение искусства – это такое, форма которого проста, стара и заурядна, а содержание выбрано с определённой целью, но не потому, что это доставило художнику какое-либо удовольствие, а просто потому, что художник рассчитал выгодно продать своё произведение. В действительности, популярный роман, который публика называет здоровым, всегда представляет собою продукт насквозь нездоровий, а роман, который публика называет нездоровым, всегда представляет собою прекрасное и здоровое произведение искусства.

Нужно ли говорить, что я ни одной минуты не сетую на публику и на прессу за то, что они злоупотребляют этими словами. Я не представляю себе, каким образом, при полном отсутствии понимания сущности искусства, они могли бы употреблять их в их истинном значении. Я только указываю на злоупотребление; что же касается происхождения его и скрытого за ним смысла, то объясняется это очень просто. Оно является следствием варварского понимания власти. Оно является следствием природной неспособности общества, развращённого властью, понять и оценить индивидуализм. Одним словом, это следствие того чудовищного и невежественного явления, которое называется «общественным мнением». Хорошо оно или дурно, когда оно контролирует действия, – не знаю, но оно всегда отвратительно и пагубно, когда пытается контролировать мысль или художество.

В самом деле, гораздо больше можно сказать в пользу физической силы общества, нежели в пользу общественного мнения. Первая может быть благородной. Последнее всегда глупо. Часто говорят, что сила не есть доказательство. Это однако всецело зависит от того, что надо доказать. Многие из наиболее важных вопросов последних нескольких столетий, как, например, вопросы об абсолютизме в Англии, или феодализме во Франции, были разрешаемы исключительно при посредстве физической силы. Самые эксцессы революции могут на некоторое время сделать толпу великой и прекрасной. Это был роковой миг, когда толпа открыла, что перо могущественнее булыжника и опаснее, чем осколок кирпича. Она тотчас же принялась искать журналиста, а найдя, она воспитала его и сделала своим усердным и хорошо оплачиваемым слугою. Приходится искренно пожалеть их обоих. В баррикадах есть много благородного и героического. А что есть в передовых статьях? Предрассудок, глупость, ханжество и пустая болтовня, которые,

сливаясь воедино, образуют страшную силу, устанавливают новую власть.

В старые времена существовала пытка. Теперь у нас есть печать. Это, конечно, прогресс. Но всё же печать неблагородна, лжива и безнравственна.¹⁴ Кто-то – кажется Бёрк – назвал печать четвёртым государственным установлением. Это было совершенно верно по отношению к тому времени. Но в настоящее время печать, в сущности, единственное государственное установление. Она поглотила остальные три. Князья светские ничего не говорят, князьям духовным нечего сказать, палате общин тоже нечего сказать, она только и говорит, что об этом. Нами управляют журналисты. В Америке президент управляет страною в течение четырёх лет, журналисты же захватили власть на веки вечные. К счастью, в Америке журналисты довели свою власть до последних пределов грубости. Естественным следствием этого явилось пробуждение духа возмущения. Одних прессы забавляет, в других вызывает чувство отвращения, – смотря по темпераменту. Но как бы то ни было, она не представляет собою больше ту силу, какою была. К ней перестали относиться серьёзно. В Англии журналистика, за исключением нескольких хорошо известных примеров, не дошла ещё до такой крайней грубости, а потому всё ещё является крупным фактором общественной жизни, весьма значительной силой. Тирания, которой она пытается подвергнуть частную жизнь, представляется мне чем-то поразительным. Люди теперь проявляют ненасытное любопытство и желание знать всё, кроме того, что следовало бы знать. Журналистика, прекрасно сознавая это и обладая смёткой настоящего торговца, удовлетворяет запросам толпы. В прежние времена толпа прибивала журналистов за уши к столбам. Это было ужасно. В настоящее время журналисты сами прибили свои уши к замочным скважинам. Это гораздо хуже. Но особенно усугубляет зло то обстоятельство, что наиболее вредными являются не те журналисты, которые забавляют публику и пишут в великосветских газетах. Вред причиняют главным образом журналисты серьёзные, умные и заслуженные, которые торжественно выволакивают на свет Божий какой-нибудь инцидент из частной жизни видного государственного деятеля, лидера политической партии, а следовательно, создателя политической силы и приглашают публику обсудить этот инцидент, оказать влияние, высказать своё мнение, и не только высказать его, но и провести на деле, предписать этому деятелю тот или иной образ действия, предписать известное поведение его партии, его стране – одним словом, приглашают её сделаться смешной, грубой и

зловредной. Частная жизнь мужчины и женщины не должна быть достоянием толпы. Толпе нет до этого никакого дела. Во Франции в этом отношении дело обстоит гораздо лучше. Там не разрешено оглашение подробностей бракоразводного процесса на забаву или на обсуждение толпы. До сведения публики доводится только, что произошёл такой-то развод, который был начат по просьбе той или другой стороны, или же обеих сторон. Во Франции журналистов действительно несколько сдерживают, а художникам предоставляют, по возможности, полную свободу. У нас же предоставляют полную свободу журналистам и совершенно связывают художников. Надо заметить, что английское общественное мнение прилагает все усилия к тому, чтобы стеснять как можно более человека, создающего действительно прекрасные произведения, мешать ему на каждом шагу и во что бы то ни стало подчинять его своему влиянию, побуждая в то же время торговать по мелочам всякой дрянью, внушающей отвращение и действительно возмутительной. Вот почему журналисты у нас важничают более, чем где бы то ни было, и почему у нас такие непристойные газеты. Без преувеличения можно сказать, что это является следствием насилия. Весьма возможно, что есть журналисты, которые находят истинное удовольствие в разглашении всякой грязи путём печати, или которые, под давлением бедности, смотрят на скандалы, как на источник постоянного дохода. Но есть и другие журналисты – я в этом убеждён – люди образованные и культурные, которым действительно противно печатать что-либо подобное, которые сознают, что это дурно, и всё-таки делают это только потому, что нездоровые условия их работы заставляют их поставлять публике то, на что есть спрос, конкурируя с прочими журналистами в том, чтобы, по возможности, удовлетворить огромный аппетит толпы. Это унижительно для всякого образованного человека, и я не сомневаюсь, что многие из них чувствуют угрызения совести.

Однако оставим эту грязную сторону вопроса и вернёмся к контролю толпы над искусством; я подразумеваю общественное мнение, предписывающее художнику форму, которой он должен пользоваться, способ применения её и материал, который он должен обрабатывать. Я уже указывал на то, что в Англии наиболее счастливая участь постигла те отрасли искусства, которыми публика не интересовалась. Однако публика интересуется драмой, и если за последние десять-пятнадцать лет в области драмы мы замечаем некоторый прогресс, то этим она обязана исключительно некоторым художникам с сильно выраженной индивидуальностью, которые

отказались признать своим знаменем безвкусные желания толпы, отказались смотреть на искусство, как на предмет спроса и предложения. Ирвинг, с его прекрасной, ярко выраженной индивидуальностью, с его приёмами, отличавшимися красочностью, с его необычайной мощью не в области простого подражания, а в области воображения и интеллектуального творчества, Ирвинг, – если бы только он задался единственной целью дать публике то, чего она просит, – играл бы в самых пошлых пьесах самым шаблонным образом, пользовался бы шумным успехом и наживал бы громадные суммы денег. Но задача его была другая. Он стремился проявить свою художественную силу, при определённых условиях и в определённой области искусства. Вначале он играл для очень малочисленной публики; теперь он воспитал уже многих. Он развил в публике вкус и темперамент, и публика высоко ценит его художественный успех. Я часто спрашивал себя, понимает ли публика, что успех этот всецело обусловлен тем, что артист, не приняв её знамени, воздвиг своё собственное. Оставаясь под знаменем публики «Лицеум» превратился бы в нечто вроде второстепенного балагана, что и представляют собой в настоящее время некоторые популярные лондонские театры. Понимает публика это или нет, но налицо остаётся тот факт, что у неё до известной степени появился вкус и темперамент и что она способна развивать в себе эти качества. Тут является вопрос: почему же публика не совершенствуется далее? Ведь у неё есть способность к этому. Что же мешает ей?

Повторяю, препятствует этому стремление публики оказывать давление на художника и на произведения искусства. В некоторые театры, как «Лицеум» и «Гаймаркет», публика приходит, повидимому, в надлежащем настроении. В обоих этих театрах есть индивидуальные артисты, которым удалось создать в своей аудитории – ведь в каждом лондонском театре есть своя аудитория – темперамент, который необходим для осуществления искусства. А что такое этот темперамент? Способность к восприятию. Вот и всё.

Если человек подходит к произведению искусства с намерением тем или иным способом оказать на него и на художника давление, то в таком настроении он не может получить никакого художественного впечатления. Произведение искусства должно властвовать над зрителем; зритель же никоим образом не должен властвовать над произведением искусства. Зритель должен быть восприимчив. Он должен быть скрипкой, на которой играет маэстро. И чем полнее зритель может подавить в себе свои наивные мнения,

свои глупые предрассудки, свои бестолковые идеи относительно того, каким должно и каким не должно быть искусство, тем легче ему понять и оценить данное произведение искусства. Это особенно ясно видно по неинтеллигентной публике, по мужчинам и женщинам, посещающим театры в Англии. Но это также справедливо по отношению к так называемым образованным людям. Ибо у образованного человека понятия об искусстве вполне естественно вытекают из того, чем искусство было в прежнее время, тогда как новое произведение искусства прекрасно именно тем, чем искусство никогда не было. И оценивать произведение искусства, применяя к нему идеалы прошлого, – это значит применять к нему как раз те идеалы, отвергнув которые, оно и достигло совершенства. Только такой темперамент, который способен воспринимать при посредстве воображения и при воображаемых условиях, может оценить произведение искусства. И насколько это справедливо по отношению к оценке скульптуры и живописи, настолько же это справедливо, и даже более, по отношению к такому виду искусства, как драма. Ибо ни живопись ни скульптура не находятся во вражде с временем. Оне не считаются с постепенностью. Полное впечатление можно легко получить в один миг. Другое дело литература. Здесь, для получения цельного впечатления, необходим некоторый промежуток времени. Так, в драме первое действие может отличаться большими художественными достоинствами, которые станут ясными зрителю лишь в третьем или четвёртом действии. Так неужели же из-за этого какой-нибудь глупый человек имеет основание выходить из себя, орать, мешать игре и раздражать артиста? Нет. Порядочный человек сидит спокойно и наслаждается чувством удивления, любопытства и недоумения. Он идёт в театр не для того, чтобы проявлять вульгарный нрав. Он идёт в театр, чтобы удовлетворить свой художественный темперамент. Он идёт в театр, чтобы приобрести художественный темперамент. Он не судья произведению искусства. Он один из тех, кого допустили созерцать произведение искусства, и если оно прекрасно, то забыть в созерцании его весь эгоизм, который портит его – эгоизм своего невежества или эгоизм своих знаний. Мне кажется, что по отношению к драме это обстоятельство едва ли в достаточной мере оценено. Я вполне допускаю, что если бы «Макбет» был поставлен впервые перед современной лондонской публикой, то на многих зрителей очень неприятно подействовали бы, во введении к первому действию, ведьмы с их грубыми речами и смешными выражениями. Но по окончании игры становится ясным, что смех ведьм в «Макбете» так же ужасен, как безумный смех в «Короле

Лире», и ёщё ужаснее смеха Яго в «Отелло». Ни один вид искусства не требует от зрителя такой восприимчивости, как драма. Как только зритель делает попытку проявить свою власть, он сейчас же превращается в открытого врага искусства и самого себя. Искусство не подчиняется ему. Страдает же он сам.

То же самое происходит и с романом. Авторитет толпы и признание этого авторитета фатальны. «Эсмонд» Теккерея – прекрасное произведение искусства, потому что он писал его ради своего собственного удовольствия. В других же его романах, в «Пенденнисе», в «Филиппе» и даже в «Ярмарке тщеславия», он иногда слишком считается с публикой и портит своё произведение, прямо подделываясь к симпатиям публики или же просто высмеивая их. Истинный художник не обращает никакого внимания на толпу. Толпа для него не существует. У него нет маковых и медовых пряников, чтобы насытить ими чудовище или усыпить его. Он предоставляет это бульварным романистам. В настоящее время у нас, в Англии, есть несравненный романист – Джордж Мередит. Во Франции есть и лучшие, но ни у кого из них нет такого широкого взгляда на жизнь, такого разностороннего и такого правдивого воображения. В России есть беллетристы, которые гораздо живее проникаются страданием в творчестве. Но Мередит – романист-философ. Изображаемые им люди не просто живут, но живут духовно, живут своими мыслями. На них можно смотреть с целой мириады точек зрения. Они внушительны. Душа и в них, и вокруг них. Они интерпретативны и символичны. А тот, кто создал их, эти удивительные, живые и подвижные образы, создал их ради своего собственного удовольствия, он никогда не спрашивал толпу, чего она хочет, никогда не старался узнать её желаний, никогда не позволял предписывать ему или влиять на него каким бы то ни было способом, но шёл вперёд, расширяя свою личность и творя свои индивидуальные произведения. Вначале никто не шёл к нему. Это было не важно. Потом к нему стали приходить некоторые. Это не изменило его. Теперь к нему пошли многие. Он всё тот же. Он всё тот же несравненный романист.

С декоративными искусствами дело обстоит точно так же. Толпа с каким-то трогательным упорством цеплялась за то, что, по моему, представляло собою прямые традиции Великой Выставки интернациональной вульгарности, – традиции, столь устрашающие, что дома, в которых жили люди, были выстроены как бы специально для слепых. Но вот люди стали производить прекрасные предметы; колористы создали прекрасные краски; фантазия художников начала

изобретать прекрасные узоры, — и значение прекрасных предметов и необходимость в них стали проникать в сознание людей. Толпа крайне возмущалась этим. Она выходила из себя. Она стала говорить глупости. Но никто не слушал её. Никто не считал себя хуже её. Никто не признавал авторитета общественного мнения. Теперь, войдя в современный дом, нельзя не заметить некоторых признаков хорошего вкуса: уже признали отчасти значение красивой обстановки, и есть уже указания, что красота получила известную оценку. И в самом деле, жилые дома в настоящее время в большинстве случаев прелестны. Люди дошли до высокой степени цивилизации. И при этом особенно приятно отметить тот факт, что необыкновенным успехом в украшении домов, в домашней утвари и тому подобном мы, в сущности, обязаны отнюдь не проявлению необыкновенно тонкого вкуса со стороны широкой публики. Мы обязаны этими успехами главным образом мастерам, которые настолько ценили наслаждение творить прекрасное и так глубоко сознавали безобразие и пошлость того, чего ранее требовала толпа, что подчинили её своим вкусам просто измором: для того, чтобы теперь обставить жилище так, как обставляли комнаты ещё несколько лет назад, надо ходить по аукционам, где продаётся скверная мебель из небогатых квартир. Теперь таких вещей более уже не производят. Однако на это могут заметить, что и в настоящее время люди находят известную прелесть в этой отжившей обстановке. Но, к счастью для них, их притязания на авторитет в этой отрасли искусства потерпели полное фиаско.

Очевидно, что всякое давление в области искусства вредно. Спрашивают иногда, какая форма правления наиболее благоприятна для художника. На это может быть только один ответ. Наиболее благоприятная для художника форма правления — отсутствие всякого правления. Власть над ним и над его искусством смешна. Правда, бывали случаи, что и при деспотиях художники творили прекрасные произведения. Однако это не безусловно так. Художники посещали деспотов не как подданные, подвластные тиарии, а как странствующие чудодеи, как обаятельные скитальцы, которых деспоты содержали, баловали, которым они предоставляли полный покой и позволяли творить, В пользу деспота надо сказать, что он, представляя собой индивидуальность, может быть культурен, тогда как толпа, это чудовище, никогда не может быть культурна. Император и король могут нагнуться, чтобы поднять художнику кисть, — демократия же, если нагнётся, то лишь для того, чтобы швырять грязью. А между тем ей не надо даже наклоняться так

низко, как императору. В сущности, для того, чтобы достать грязь, ей вовсе не надо наклоняться. И всё-таки нет никакого основания отделять монархов от толпы: всякая власть одинаково вредна.

Есть три рода деспотов. Есть деспот, тиранящий тело. Есть деспот, тиранящий душу. Есть деспот, тиранящий и тело, и душу. Первый называется монархом. Второй называется папой. Третий называется толпой. Монарх может быть культурен. Многие монархи были культурны. И всё-таки монархи могут быть опасны. Стоит вспомнить Данте на жестоком пиру в Вероне или Тассо в феррарской келье для сумасшедших.¹⁵ Для художников лучше держаться подальше от монархов. Папы могут быть культурны. Многие папы были культурны; таковы были многие дурные папы. Дурные папы любили Красоту почти так же страстно, как хорошие папы ненавидели Мысль. Безнравственности папства человечество обязано многим. Добронравность же пап является ужасным грехом перед человечеством. И хотя Ватикан, утратив силу своих молний, сохранил ещё трескотню своих громов, художникам всё-таки лучше держаться подальше от пап. Один папа, говоря о Челлини, заявил конclave кардиналов, что обычные законы и обычная власть неприменимы к таким людям; другой папа заключил Челлини в темницу. В темнице Челлини заболел от бессильной злобы и начал страдать галлюцинациями, а когда однажды к нему в оконце заглянул золотой луч солнца, он пришёл в такой экстаз, что решил бежать и стал перебираться с башни на башню, но сорвался и, упав с головокружительной высоты, искалечился. Какой-то виноградарь прикрыл его виноградными листьями и в своей тележке отвёз его к человеку, любившему прекрасное и принявшему участие в художнике.¹⁶ Папы опасны. А что же сказать о толпе и о её власти? Но, пожалуй, о толпе и её власти было достаточно сказано. Власть толпы слепа, глуха, страшна, груба, трагична, смешна, значительна и бесстыдна. Художник не может ужиться с толпой. Все деспоты подкупают. Толпа же подкупает и оскотинивает. Кто позволил ей властвовать? Она создана для того, чтобы жить, повиноваться и любить. Кто-то причинил ей великое зло. Она изуродовала себя подражанием, наименее достойным. Она присвоила себе жезл монарха. Что ей делать с этим жезлом? Она присвоила себе тройную тиару папы.¹⁷ Как ей нести её бремя? Она подобна священнику, душа которого ещё не родилась. Пусть все, кто любит Красоту, пожалеют толпу. И, хотя сама толпа и не любит Красоты, пусть она всё-таки пожалеет самоё себя. Кто внушил ей коварство тирании?

Многое можно бы ещё заметить по этому поводу. Можно бы указать на то, как велика была эпоха Возрождения, потому что она не помышляла о разрешении социальных проблем и вообще не занималась такими вопросами, а давала индивидуальностям возможность развиваться свободно, прекрасно и естественно, почему и создала великих индивидуальных художников и великих индивидуальных людей. Можно бы указать на то, как Людовик XIV, создав современное государство, уничтожил индивидуального художника и вызвал к жизни произведения искусства, чудовищные по своему однообразию и внушающие презрение своим слепым подражанием шаблону, как он уничтожил во всей Франции проявление той прекрасной свободы, которая создала новые традиции в красоте и новые формы её, равные античным. Но прошлое не имеет значения. Настоящее не имеет значения. Мы должны считаться лишь с будущим. Ибо прошлое – это то, чем мы не должны были быть. Настоящее – это то, чем мы не должны быть. Будущее же – это художники.

Конечно, на это могут возразить, что схема, подобная приведённой здесь, непрактична и противоречит природе человека. Это совершенно верно. Она непрактична и противоречит природе человека. Поэтому-то её и трудно осуществить, поэтому-то она и предлагается. Ибо что такое практическая схема? Практичная схема – это такая схема, которая или уже существует, или может быть проведена в жизнь при существующих условиях. Но ведь против существующих-то условий и восстают; и всякая схема, которая признавала бы эти условия, ложна и глупа. Раз будут устраниены эти условия, изменится и природа человека. Единственно, что нам доподлинно известно о природе человека, это то, что она изменчива. Изменчивость её – единственная наша опора. Гибнут те системы, которые опираются на неподвижность человеческой природы, а не на её рост и развитие. Ошибка Людовика XIV заключалась в том, что он считал природу человека неизменной. Результатом его ошибки была французская революция. Это был восхитительный результат. Все результаты ошибок правительства восхитительны.

Надо также отметить, что индивидуализм является к человеку отнюдь не с назойливым нытьём о долге, под которым просто подразумевается: «делай то, чего хотят другие, в силу того, что они этого хотят», и отнюдь не с отвратительным нытьём о самопожертвовании, представляющим собой лишь пережиток самоистязания у дикарей. Действительно, он является к человеку без всяких требований. Он естественно и неизбежно сам собою возникает

в человеке. Это тот пункт, к которому стремится всё развитие. Это дифференциация, которой достигает всякий организм. Это то совершенство, которое свойственно каждой форме жизни и через посредство которого каждая форма жизни оживотворяется. Таким образом, индивидуализм не оказывает давления на человека. Напротив, он учит человека не признавать над собой никакого насилия. Он не пытается заставить человека быть хорошим. Он знает, что люди хороши, когда их оставляют в покое. Человек разовьёт индивидуализм в самом себе. В настоящее время человек именно так развивает в себе индивидуализм. Спрашивать, существим ли индивидуализм, это то же самое, что спрашивать, существима ли эволюция. Эволюция – это закон жизни, и для эволюции нет иного направления, как в сторону индивидуализма. Там, где эта тенденция не выражена, налицо искусственное задержание роста, или болезнь, или смерть.

Притом индивидуализм будет естественен и бескорыстен. Было уже указано, что одним из результатов крайней тирании власти явились то, что слова совершенно утратили своё простое и подлинное значение, и их употребляют в обратном смысле. Что справедливо по отношению к искусству, то справедливо и по отношению к жизни. Теперь про человека, который одевается так, как ему хочется, говорят, что он «ломается». Однако, поступая так, он поступает вполне естественно. Наоборот, неестественно, когда человек одевается согласно со вкусами своего соседа, суждения которого, являясь взглядами большинства, по всей вероятности, крайне глупы. Или же человека, поставившего главной целью своей жизни саморазвитие, называют эгоистом только потому, что он живёт так, как на его взгляд надо жить, чтобы легче всего полностью проявить свою личность. В том, что живёшь так, как хочешь, нет эгоизма; эгоистично же других заставлять жить по-своему. Отсутствие эгоизма выражается в том, что человек предоставляет другим жить так, как им хочется, не вступая с ними из-за этого в пререкания. Эгоизм всегда стремится создать вокруг себя полное однообразие типа. Человек же, в котором отсутствует эгоизм, считает бесконечное разнообразие типов явлением в высшей степени приятным; он допускает это, свыкается с этим, наслаждается этим. Думать о самом себе – не эгоистично. Человек, не думающий о самом себе, ни о чём не думает. Грубо, эгоистично, когда человек требует от другого, чтобы тот думал совершенно так же, как он сам, и чтобы у него были те же суждения. С какой стати требует он этого? Если другой способен думать, то он, надо полагать, думает иначе. Если же другой

вообще не способен думать, то было бы чудовищно требовать от него каких бы то ни было суждений. Красную розу нельзя назвать эгоистичной только за то, что она хочет быть красной. Но она была бы крайне эгоистична, если бы потребовала, чтобы все цветы в саду были красными и чтобы все они были розами. При индивидуализме люди будут вполне естественны и в них будет совершенно отсутствовать эгоизм; они познают истинный смысл слов и будут употреблять их в их свободном и прекрасном значении. И люди не будут эгоистичны, какими они являются в настоящее время. Ибо эгоисты – это люди, предъявляющие требования к другим, а индивидуализм этого не пожелает. Это не доставит ему удовольствия. Когда человек проведёт в жизнь индивидуалистическое начало, он осуществит также и чувство симпатии, которое будет проявлять свободно и добровольно. До настоящего времени человек едва ли культивировал чувство симпатии. Он знает лишь симпатию, смешанную со страданием, а такое проявление симпатии не есть высшая форма её. Всякая симпатия прекрасна, но симпатия, смешанная со страданием, наименее прекрасное проявление этого чувства. Такая симпатия уже окрашена эгоизмом. Она может сделаться болезненной. В ней есть известная доля страха за нашу личную безопасность. Мы боимся, что сами сделаемся прокажёнными или ослепнём и никто не позаботится о нас. Такое чувство до смешного узко, слишком узко. Человек должен любить жизнь во всей её полноте и сочувствовать не только горю и болезням, но также и радости бытия, красоте, силе, здоровью, свободе. Конечно, чувство симпатии в его широком значении достигается труднее. Такая симпатия требует полного отсутствия эгоизма. Всякий способен сочувствовать страданиям друга, но для того, чтобы сочувствовать успехам друга, необходимо обладать в высшей степени благородной натурой – для этого необходим истинный индивидуализм. При современной конкуренции, доведённой до крайности, и борьбе из-за места такое сочувствие, разумеется, встречается очень редко, потому что оно также совершенно подавлено безнравственным идеалом однообразия типа и однообразия правила, господствующим повсюду и, быть может, наиболее зловредным в Англии.

Симпатия, смешанная со страданием, конечно, всегда будет существовать. Это один из главных инстинктов человека. Животные индивидуальные, то есть высшие, также обладают этим инстинктом. Не следует однако забывать, что, тогда как симпатия, смешанная с радостью, увеличивает сумму радости на земле, симпатия, смешанная со страданием, отнюдь не уменьшает суммы страданий. Она может

помочь человеку легче перенести невзгоду, но невзгода остаётся налицо. Сочувствие к чахоточному не исцеляет его от болезни, – это дело науки. И когда социализм разрешит проблему бедности, а наука разрешит проблему болезни, арена сентиментальности сузится, а чувство симпатии станет широким, здоровым и добровольным. Человек будет радоваться, глядя на счастливую жизнь других.

Ибо индивидуализм будущего будет развиваться при посредстве радости. Христос не пытался переустроить общество, а потому тот индивидуализм, который он проповедывал людям, может быть осуществлён лишь путём страданий или в пустыне. Идеалы, приписываемые нами Христу, это идеалы того, кто совершенно покинул свет или кто безусловно противится общественному строю. Но человек общественен по природе. Даже Фиваида была заселена в конце концов.¹⁸ И хотя монах проявляет свою личность, но он часто проявляет лишь оскудевшую личность. С другой стороны, ужасная истина, что страдание есть путь к самосовершенствованию, действует на людей необыкновенно чарующе. Ограниченные проповедники и узкие мыслители с кафедр и трибун часто громят людей за их любовь к радостям жизни и льют слёзы по этому поводу; но в мировой истории редко встречается идеал радости и красоты. Гораздо чаще человечество преклоняется перед идеалом страдания. Средние Века с их святыми и мучениками, с их любовью к самоистязаниям, с их дикой страстью к самобичеванию, к нанесению себе ран ножом, Средние Века – это эпоха истинного христианства, и средневековый Христос – истинный Христос. Когда над миром засияла эпоха Возрождения, принеся с собой новые идеалы красоты жизни и радости бытия, люди перестали понимать Христа. Об этом свидетельствует и искусство. Художники эпохи Возрождения изображали Христа маленьким мальчиком, играющим с другим мальчиком во дворце или в саду, или лежащим на спине на коленях у матери и улыбающимся ей; изображали они его также с цветком или яркой птицей; или в виде благородной, стройной фигуры, величественно шествующей через мир; или же в виде удивительного существа, в каком-то экстазе возрождающегося от смерти к жизни. Даже изображая его распятым, они писали его прекрасным Богом, на которого злые люди наложили печать страдания. Вообще же он интересовал их очень мало. Зато им доставляло громадное удовольствие изображать мужчин и женщин, которые им нравились, и показывать прелести нашей милой земли. Они писали много религиозных картин – по правде сказать, они писали их слишком много, – и однообразие типа и мотива в них утомительно и принесло

вред искусству. Таков был результат влияния толпы на искусство, а это заслуживает глубокого сожаления. Однако душа художника отсутствовала в такого рода творчестве. Рафаэль был великим художником, когда писал портрет папы, но когда он писал своих мадонн и младенцев Иисусов, он вовсе не был великим художником.¹⁹ У Христа не было ничего общего с Возрождением, и эпоха эта была прекрасна именно потому, что принесла с собой новые идеалы; изображение же истинного Христа мы должны искать в средневековом искусстве. Тут он немощен и неблаголепен; он лишён красоты, ибо красота – забава; он не одет в яркие одежды, ибо это тоже забава; это нищий с дивной душой, это прокажённый с божественным духом; он не нуждается ни в собственности, ни в здоровье, – это Бог, достигший совершенства путём страданий.

Эволюция человека совершается медленно. Несправедливость людская велика. Необходимо было выдвинуть страдание, как средство к самоусовершенствованию. И в настоящее время ещё проповедь Христа необходима в некоторых местах на земле. Никто из живущих в современной России не мог бы достичь совершенства иным путём, как только путём страданий. Некоторые русские художники проявили себя в искусстве творчеством средневекового характера, потому что доминирующая нота в нём – совершенствование человека путём страданий. А для нехудожников, для тех, кто не знает иной жизни, кроме действительной, страдание – единственный путь к совершенству. Русский, живущий счастливо при существующей системе правления в России, должен думать, что у человека или вовсе нет души, или, если таковая у него есть, она не стоит того, чтобы её развивать.²⁰ Нигилист, который отрицает всякую власть, потому что знает, что власть дурна, и который приветствует всякое страдание, потому что путём страдания человек совершенствуется – истинный христианин.

И всё-таки Христос не восставал против власти. Он признавал власть римского императора и платил подати. Он мирился с властью иудейской церкви и не стал бы прибегать к насилию для борьбы с нею. У него, как я уже говорил, не было намерения перестроить общество. Между тем в настоящее время люди возымели это намерение. Они хотят уничтожить бедность и те страдания, которые она влечёт за собой. Они хотят уничтожить чувство жалости и те страдания, которые оно влечёт за собой. Они полагаются на социализм и науку как на средства к достижению этого. Цель их – индивидуализм, выражаящийся в счастье. Такой индивидуализм будет шире, полнее, прекраснее какого-либо иного индивидуализма.

Жалость не есть предельная форма совершенства. Это чувство лишь временно и является протестом. Оно вытекает из ложных, нездоровых, несправедливых окружающих условий. Когда ложь, болезнь и несправедливость будут уничтожены, чувству жалости не будет больше места. Оно исполнит своё дело. Это было великое дело, но оно уже почти завершено. Сфера применения его с каждым днём уменьшается.

И человек добьётся этого. Ибо человек стремится не к страданию или удовольствию, а просто к жизни. Он стремится жить интенсивно, полно, совершенно. Когда ему можно будет достичь этого, не притесняя других и не испытывая на себе никакого гнёта, и когда все виды его деятельности будут ему по душе, он станет могучее, здоровее, культурнее, он станет более самим собою. Радость – это проба, выбиваемая природой, это знак её одобрения. Когда человек счастлив, он в гармонии с самим собой и с окружающим. Новый индивидуализм, для которого волей или неволей работает социализм, будет совершенной гармонией. Он будет тем, к чему стремились греки, но что они могли осуществить вполне лишь в области мышления, потому что у них были рабы, и они их кормили; он будет тем, к чему стремилась эпоха Возрождения, но что она могла осуществить вполне лишь в области искусства, потому что у неё были рабы, и она морила их голодом. Он будет совершенен, и при его посредстве человек достигнет совершенства. Новый индивидуализм – это новый эллинизм.

1912г.

Oscar Wilde

THE SOUL OF MAN

The chief advantage that would result from the establishment of Socialism is, undoubtedly, the fact that Socialism would relieve us from that sordid necessity of living for others which, in the present condition of things, presses so hardly upon almost everybody. In fact, scarcely any one at all escapes.

Now and then, in the course of the century, a great man of science, like Darwin; a great poet, like Keats; a fine critical spirit like M.Renan; a supreme artist like Flaubert, has been able to isolate himself, to keep himself out of reach of the clamorous claims of others, to stand, "under the shelter of the wall," as Plato puts it, and so to realize the perfection of what was in him, to his own incomparable gain, and to the incomparable and lasting gain of the whole world. These, however, are exceptions. The majority of people spoil their lives by an unhealthy and exaggerated altruism – are forced, indeed, so to spoil them. They find themselves surrounded by hideous poverty, by hideous ugliness, by hideous starvation. It is inevitable that they should be strongly moved by all this. The emotions of man are stirred more quickly than man's intelligence; and, as I pointed out some time ago in an article on the function of criticism, it is much more easy to have sympathy with suffering than it is to have sympathy with thought. Accordingly, with admirable, though misdirected intentions, they very seriously and very sentimentally set themselves to the task of remedying the evils that they see. But their remedies do not cure the disease: they merely prolong it. Indeed, their remedies are part of the disease.

They try to solve the problem of poverty, for instance, by keeping the poor alive; or, in the case of a very advanced school, by amusing the poor.

But this is not a solution: it is an aggravation of the difficulty. The proper aim is to try and reconstruct society on such a basis that poverty will be impossible. And the altruistic virtues have really prevented the carrying out of this aim. Just as the worst slave-owners were those who were kind to their slaves, and so prevented the horror of the system being realized by those who suffered from it, and understood by those who contemplated it, so, in the present state of things in England, the people who do most harm are the people who try to do most good; and at last we have had the spectacle of men who have really studied the problem and know the life – educated men who live in the East End – coming forward and imploring the community to restrain its altruistic impulses of charity, benevolence, and the like. They do so on the ground that such charity degrades and demoralizes. They are perfectly right. Charity creates a multitude of sins.

There is also this to be said. It is immoral to use private property in order to alleviate the horrible evils that result from the institution of private property. It is both immoral and unfair.

Under Socialism all this will, of course, be altered. There will be no people living in fetid dens and fetid rags, and bringing up unhealthy, hunger-pinched children in the midst of impossible and absolutely repulsive surroundings. The security of society will not depend, as it does now, on the state of the weather. If a frost comes we shall not have a hundred thousand men out of work, tramping about the streets in a state of disgusting misery, or whining to their neighbours for alms, or crowding round the doors of loathsome shelters to try and secure a hunch of bread and a night's unclean lodging. Each member of the society will share in the general prosperity and happiness of the society, and if a frost comes no one will practically be anything the worse.

Upon the other hand, Socialism itself will be of value simply because it will lead to Individualism.

Socialism, Communism, or whatever one chooses to call it, by converting private property into public wealth, and substituting co-operation for competition, will restore society to its proper condition of a thoroughly healthy organism, and ensure the material well-being of each member of the community. It will, in fact, give Life its proper basis and its proper environment. But, for the full development of Life to its highest mode of perfection, something more is needed. What is needed is Individualism. If the Socialism is Authoritarian; if there are Governments armed with economic power as they are now with political power; if, in a word, we are to have Industrial Tyrannies, then the last state of man will be worse than the first. At present, in consequence of the existence of private property, a great many people are enabled to develop a certain very limited amount of Individualism. They are either under no necessity to work for their living, or are enabled to choose the sphere of activity that is really congenial to them, and gives them pleasure. These are the poets, the philosophers, the men of science, the men of culture – in a word, the real men, the men who have realized themselves, and in whom all Humanity gains a partial realization. Upon the other hand, there are a great many people who, having no private property of their own, and being always on the brink of sheer starvation, are compelled to do the work of beasts of burden, to do work that is quite uncongenial to them, and to which they are forced by the peremptory, unreasonable, degrading Tyranny of want. These are the poor; and amongst them there is no grace of manner, or charm of speech, or civilization, or culture, or refinement in pleasures, or joy of life. From their collective force Humanity gains

much in material prosperity. But it is only the material result that it gains, and the man who is poor is in himself absolutely of no importance. He is merely the infinitesimal atom of a force that, so far from regarding him, crushes him: indeed, prefers him crushed, as in that case he is far more obedient.

Of course, it might be said that the Individualism generated under conditions of private property is not always, or even as a rule, of a fine or wonderful type, and that the poor, if they have not culture and charm, have still many virtues. Both these statements would be quite true. The possession of private property is very often extremely demoralizing, and that is, of course, one of the reasons why Socialism wants to get rid of the institution. In fact, property is really a nuisance. Some years ago people went about the country saying that property has duties. They said it so often and so tediously that, at last, the Church has begun to say it. One hears it now from every pulpit. It is perfectly true. Property not merely has duties, but has so many duties that its possession to any large extent is a bore. It involves endless claims upon one, endless attention to business, endless bother. If property had simply pleasures, we could stand it; but its duties make it unbearable. In the interest of the rich we must get rid of it. The virtues of the poor may be readily admitted, and are much to be regretted. We are often told that the poor are grateful for charity. Some of them are, no doubt, but the best amongst the poor are never grateful. They are ungrateful, discontented, disobedient, and rebellious. They are quite right to be so. Charity they feel to be a ridiculously inadequate mode of partial restitution, or a sentimental dole, usually accompanied by some impertinent attempt on the part of the sentimentalist to tyrannize over their private lives. Why should they be grateful for the crumbs that fall from the rich man's table? They should be seated at the board, and are beginning to know it. As for being discontented, a man who would not be discontented with such surroundings and such a low mode of life would be a perfect brute. Disobedience, in the eyes of any one who has read history, is man's original virtue. It is through disobedience that progress has been made, through disobedience and through rebellion. Sometimes the poor are praised for being thrifty. But to recommend thrift to the poor is both grotesque and insulting. It is like advising a man who is starving to eat less. For a town or country labourer to practise thrift would be absolutely immoral. Man should not be ready to show that he can live like a badly fed animal. He should decline to live like that, and should either steal or go on the rates, which is considered by many to be a form of stealing. As for begging, it is safer to beg than to take, but it is finer to take than to beg. No: a poor man who is ungrateful, unthrifty,

discontented, and rebellious, is probably a real personality, and has much in him. He is at any rate a healthy protest. As for the virtuous poor, one can pity them, of course, but one cannot possibly admire them. They have made private terms with the enemy, and sold their birthright for very bad pottage. They must also be extraordinarily stupid. I can quite understand a man accepting laws that protect private property, and admit of its accumulation, as long as he himself is able under those conditions to realize some form of beautiful and intellectual life. But it is almost incredible to me how a man whose life is marred and made hideous by such laws can possibly acquiesce in their continuance.

However, the explanation is not really difficult to find. It is simply this. Misery and poverty are so absolutely degrading, and exercise such a paralysing effect over the nature of men, that no class is ever really conscious of its own suffering. They have to be told of it by other people, and they often entirely disbelieve them. What is said by great employers of labour against agitators is unquestionably true. Agitators are a set of interfering, meddling people, who come down to some perfectly contented class of the community, and sow the seeds of discontent amongst them. That is the reason why agitators are so absolutely necessary. Without them, in our incomplete state, there would be no advance towards civilization. Slavery was put down in America, not in consequence of any action on the part of the slaves, or even any express desire on their part that they should be free. It was put down entirely through the grossly illegal conduct of certain agitators in Boston and elsewhere, who were not slaves themselves, nor owners of slaves, nor had anything to do with the question really. It was, undoubtedly, the Abolitionists who set the torch alight, who began the whole thing. And it is curious to note that from the slaves themselves they received, not merely very little assistance, but hardly any sympathy even; and when at the close of the war the slaves found themselves free, found themselves indeed so absolutely free that they were free to starve, many of them bitterly regretted the new state of things. To the thinker, the most tragic fact in the whole of the French Revolution is not that Marie Antoinette was killed for being a queen, but that the starved peasant of the Vendée voluntarily went out to die for the hideous cause of feudalism.

It is clear, then, that no Authoritarian Socialism will do. For while under the present system a very large number of people can lead lives of a certain amount of freedom and expression and happiness, under an industrial-barrack system, or a system of economic tyranny, nobody would be able to have any such freedom at all. It is to be regretted that a portion of our community should be practically in slavery, but to propose

to solve the problem by enslaving the entire community is childish. Every man must be left quite free to choose his own work. No form of compulsion must be exercised over him. If there is, his work will not be good for him, will not be good in itself, and will not be good for others. And by work I simply mean activity of any kind.

I hardly think that any Socialist, nowadays, would seriously propose that an inspector should call every morning at each house to see that each citizen rose up and did manual labour for eight hours. Humanity has got beyond that stage, and reserves such a form of life for the people whom, in a very arbitrary manner, it chooses to call criminals. But I confess that many of the socialistic views that I have come across seem to me to be tainted with ideas of authority, if not of actual compulsion. Of course, authority and compulsion are out of the question. All association must be quite voluntary. It is only in voluntary associations that man is fine.

But it may be asked how Individualism, which is now more or less dependent on the existence of private property for its development, will benefit by the abolition of such private property. The answer is very simple. It is true that, under existing conditions, a few men who have had private means of their own, such as Byron, Shelley, Browning, Victor Hugo, Baudelaire, and others, have been able to realize their personality, more or less completely. Not one of these men ever did a single day's work for hire. They were relieved from poverty. They had an immense advantage. The question is whether it would be for the good of Individualism that such an advantage should be taken away. Let us suppose that it is taken away. What happens then to Individualism? How will it benefit?

It will benefit in this way. Under the new conditions Individualism will be far freer, far finer, and far more intensified than it is now. I am not talking of the great imaginatively realized Individualism of such poets as I have mentioned, but of the great actual Individualism latent and potential in mankind generally. For the recognition of private property has really harmed Individualism, and obscured it, by confusing a man with what he possesses. It has led Individualism entirely astray. It has made gain, not growth, its aim. So that man thought that the important thing was to have, and did not know that the important thing is to be. The true perfection of man lies, not in what man has, but in what man is. Private property has crushed true Individualism, and set up an Individualism that is false. It has debarred one part of the community from being individual by starving them. It has debarred the other part of the community from being individual by putting them on the wrong road,

and encumbering them. Indeed, so completely has man's personality been absorbed by his possessions that the English law has always treated offences against a man's property with far more severity than offences against his person, and property is still the test of complete citizenship. The industry necessary for the making of money is also very demoralizing. In a community like ours, where property confers immense distinction, social position, honour, respect, titles, and other pleasant things of the kind, man, being naturally ambitious, makes it his aim to accumulate this property, and goes on wearily and tediously accumulating it long after he has got far more than he wants, or can use, or enjoy, or perhaps even know of. Man will kill himself by overwork in order to secure property, and really, considering the enormous advantages that property brings, one is hardly surprised. One's regret is that society should be constructed on such a basis that man has been forced into a groove in which he cannot freely develop what is wonderful, and fascinating, and delightful in him – in which, in fact, he misses the true pleasure and joy of living. He is also, under existing conditions, very insecure. An enormously wealthy merchant may be – often is – at every moment of his life at the mercy of things that are not under his control. If the wind blows an extra point or so, or the weather suddenly changes, or some trivial thing happens, his ship may go down, his speculations may go wrong, and he finds himself a poor man, with his social position quite gone. Now, nothing should he able to harm a man except himself. Nothing should be able to rob a man at all. What a man really has, is what is in him. What is outside of him should be a matter of no importance.

With the abolition of private property, then, we shall have true, beautiful, healthy Individualism. Nobody will waste his life in accumulating things, and the symbols for things. One will live. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.

It is a question whether we have ever seen the full expression of a personality, except on the imaginative plane of art. In action, we never have. Cæsar, says Mommsen, was the complete and perfect man. But how tragically insecure was Cæsar! Wherever there is a man who exercises authority, there is a man who resists authority. Cæsar was very perfect, but his perfection travelled by too dangerous a road. Marcus Aurelius was the perfect man, says Renan. Yes; the great emperor was a perfect man. But how intolerable were the endless claims upon him! He staggered under the burden of the empire. He was conscious how inadequate one man was to bear the weight of that Titan and too vast orb. What I mean by a perfect man is one who develops under perfect conditions; one who

is not wounded, or worried, or maimed, or in danger. Most personalities have been obliged to be rebels. Half their strength has been wasted in friction. Byron's personality, for instance, was terribly wasted in its battle with the stupidity and hypocrisy and Philistinism of the English. Such battles do not always intensify strength; they often exaggerate weakness. Byron was never able to give us what he might have given us. Shelley escaped better. Like Byron, he got out of England as soon as possible. But he was not so well known. If the English had realized what a great poet he really was, they would have fallen on him with tooth and nail, and made his life as unbearable to him as they possibly could. But he was not a remarkable figure in society, and consequently he escaped, to a certain degree. Still, even in Shelley the note of rebellion is sometimes too strong. The note of the perfect personality is not rebellion, but peace.

It will be a marvellous thing – the true personality of man – when we see it. It will grow naturally and simply, flowerlike, or as a tree grows. It will not be at discord. It will never argue or dispute. It will not prove things. It will know everything. And yet it will not busy itself about knowledge. It will have wisdom. Its value will not be measured by material things. It will have nothing. And yet it will have everything, and whatever one takes from it, it will still have, so rich will it be. It will not be always meddling with others, or asking them to be like itself. It will love them because they will be different. And yet while it will not meddle with others, it will help all, as a beautiful thing helps us, by being what it is. The personality of man will be very wonderful. It will be as wonderful as the personality of a child.

In its development it will be assisted by Christianity, if men desire that; but if men do not desire that, it will develop none the less surely. For it will not worry itself about the past, nor care whether things happened or did not happen. Nor will it admit any laws but its own laws; nor any authority but its own authority. Yet it will love those who sought to intensify it, and speak often of them. And of these Christ was one.

"Know thyself" was written over the portal of the antique world. Over the portal of the new world, "Be thyself" shall be written. And the message of Christ to man was simply "Be thyself." That is the secret of Christ.

When Jesus talks about the poor he simply means personalities, just as when he talks about the rich he simply means people who have not developed their personalities. Jesus moved in a community that allowed the accumulation of private property just as ours does, and the gospel that he preached was, not that in such a community it is an advantage for a man to live on scanty, unwholesome food, to wear ragged, unwholesome

clothes, to sleep in horrid, unwholesome dwellings, and a disadvantage for a man to live under healthy, pleasant, and decent conditions. Such a view would have been wrong there and then, and would, of course, be still more wrong now and in England; for as man moves northward the material necessities of life become of more vital importance, and our society is infinitely more complex, and displays far greater extremes of luxury and pauperism than any society of the antique world. What Jesus meant was this. He said to man, "You have a wonderful personality. Develop it. Be yourself. Don't imagine that your perfection lies in accumulating or possessing external things. Your affection is inside of you. If only you could realize that, you would not want to be rich. Ordinary riches can be stolen from a man. Real riches cannot. In the treasury-house of your soul, there are infinitely precious things, that may not be taken from you. And so, try to so shape your life that external things will not harm you. And try also to get rid of personal property. It involves sordid preoccupation, endless industry, continual wrong. Personal property hinders Individualism at every step." It is to be noted that Jesus never says that impoverished people are necessarily good, or wealthy people necessarily bad. That would not have been true. Wealthy people are, as a class, better than impoverished people, more moral, more intellectual, more well-behaved. There is only one class in the community that thinks more about money than the rich, and that is the poor. The poor can think of nothing else. That is the misery of being poor. What Jesus does say, is that man reaches his perfection, not through what he has, not even through what he does, but entirely through what he is. And so the wealthy young man who comes to Jesus is represented as a thoroughly good citizen, who has broken none of the laws of his state, none of the commandments of his religion. He is quite respectable, in the ordinary sense of that extraordinary word. Jesus says to him, "You should give up private property. It hinders you from realizing your perfection. It is a drag upon you. It is a burden. Your personality does not need it. It is within you, and not outside of you, that you will find what you really are, and what you really want." To his own friends he says the same thing. He tells them to be themselves, and not to be always worrying about other things. What do other things matter? Man is complete in himself. When they go into the world, the world will disagree with them. That is inevitable. The world hates Individualism. But that is not to trouble them. They are to be calm and self-centred. If a man takes their cloak, they are to give him their coat, just to show that material things are of no importance. If people abuse them, they are not to answer back. What does it signify? The things people say of a man do not alter a man. He is what

he is. Public opinion is of no value whatsoever. Even if people employ actual violence, they are not to be violent in turn. That would be to fall to the same low level. After all, even in prison, a man can be quite free. His soul can be free. His personality can be untroubled. He can be at peace. And, above all things, they are not to interfere with other people or judge them in any way. Personality is a very mysterious thing. A man cannot always be estimated by what he does. He may keep the law, and yet be worthless. He may break the law, and yet be fine. He may be bad, without ever doing anything bad. He may commit a sin against society, and yet realize through that sin his true perfection.

There was a woman who was taken in adultery. We are not told the history of her love, but that love must have been very great; for Jesus said that her sins were forgiven her, not because she repented, but because her love was so intense and wonderful. Later on, a short time before his death, as he sat at a feast, the woman came in and poured costly perfumes on his hair. His friends tried to interfere with her, and said that it was extravagance, and that the money that the perfume cost should have been expended on charitable relief of people in want, or something of that kind. Jesus did not accept that view. He pointed out that the material needs of Man were great and very permanent, but that the spiritual needs of Man were greater still, and that in one divine moment, and by selecting its own mode of expression, a personality might make itself perfect. The world worships the woman, even now, as a saint.

Yes; there are suggestive things in Individualism. Socialism annihilates family life, for instance. With the abolition of private property, marriage in its present form must disappear. This is part of the programme. Individualism accepts this and makes it fine. It converts the abolition of legal restraint into a form of freedom that will help the full development of personality, and make the love of man and woman more wonderful, more beautiful, and more ennobling. Jesus knew this. He rejected the claims of family life, although they existed in his day and community in a very marked form. "Who is my mother? Who are my brothers?" he said, when he was told that they wished to speak to him. When one of his followers asked leave to go and bury his father, "Let the dead bury the dead," was his terrible answer. He would allow no claim whatsoever to be made on personality.

And so he who would lead a Christlike life is he who is perfectly and absolutely himself. He may be a great poet, or a great man of science; or a young student at a University, or one who watches sheep upon a moor; or a maker of dramas, like Shakespeare, or a thinker about God, like Spinoza; or a child who plays in a garden, or a fisherman who throws

his net into the sea. It does not matter what he is, as long as he realizes the perfection of the soul that is within him. All imitation in morals and in life is wrong. Through the streets of Jerusalem at the present day crawls one who is mad and carries a wooden cross on his shoulders. He is a symbol of the lives that are marred by imitation. Father Damien was Christlike when he went out to live with the lepers, because in such service he realized fully what was best in him. But he was not more Christlike than Wagner, when he realized his soul in music; or than Shelley, when he realized his soul in song. There is no one type for man. There are as many perfections as there are imperfect men. And while to the claims of charity a man may yield and yet be free, to the claims of conformity no man may yield and remain free at all.

Individualism, then, is what through Socialism we are to attain. As a natural result the State must give up all idea of government. It must give it up because, as a wise man once said many centuries before Christ, there is such a thing as leaving mankind alone; there is no such thing as governing mankind. All modes of government are failures. Despotism is unjust to everybody, including the despot, who was probably made for better things. Oligarchies are unjust to the many, and ochlocracies are unjust to the few. High hopes were once formed of democracy, but democracy means simply the bludgeoning of the people by the people for the people. It has been found out. I must say that it was high time, for all authority is quite degrading. It degrades those who exercise it, and degrades those over whom it is exercised. When it is violently, grossly, and cruelly used, it produces a good effect, by creating, or at any rate bringing out, the spirit of revolt and Individualism that is to kill it. When it is used with a certain amount of kindness, and accompanied by prizes and rewards, it is dreadfully demoralizing. People, in that case, are less conscious of the horrible pressure that is being put on them, and so go through their lives in a sort of coarse comfort, like petted animals, without ever realizing that they are probably thinking other people's thoughts, living by other people's standards, wearing practically what one may call other people's second-hand clothes, and never being themselves for a single moment. "He who would be free," says a fine thinker, "must not conform." And authority, by bribing people to conform, produces a very gross kind of over-fed barbarism amongst us.

With authority, punishment will pass away. This will be a great gain – a gain, in fact, of incalculable value. As one reads history, not in the expurgated editions written for schoolboys and passmen, but in the original authorities of each time, one is absolutely sickened, not by the crimes that the wicked have committed, but by the punishments that the

good have inflicted; and a community is infinitely more brutalized by the habitual employment of punishment, than it is by the occurrence of crime. It obviously follows that the more punishment is inflicted the more crime is produced, and most modern legislation has clearly recognized this, and has made it its task to diminish punishment as far as it thinks it can. Wherever it has really diminished it, the results have always been extremely good. The less punishment, the less crime. When there is no punishment at all, crime will either cease to exist, or, if it occurs, will be treated by physicians as a very distressing form of dementia, to be cured by care and kindness. For what are called criminals nowadays are not criminals at all. Starvation, and not sin, is the parent of modern crime. That indeed is the reason why our criminals are, as a class, so absolutely uninteresting from any psychological point of view. They are not marvellous Macbeths and terrible Vautrins. They are merely what ordinary respectable, commonplace people would be if they had not got enough to eat. When private property is abolished there will be no necessity for crime, no demand for it; it will cease to exist. Of course, all crimes are not crimes against property, though such are the crimes that the English law, valuing what a man has more than what a man is, punishes with the harshest and most horrible severity (if we except the crime of murder, and regard death as worse than penal servitude, a point on which our criminals, I believe, disagree). But though a crime may not be against property, it may spring from the misery and rage and depression produced by our wrong system of property-holding, and so, when that system is abolished, will disappear. When each member of the community has sufficient for his wants, and is not interfered with by his neighbour, it will not be an object of any interest to him to interfere with any one else. Jealousy, which is an extraordinary source of crime in modern life, is an emotion closely bound up with our conceptions of property, and under Socialism and Individualism will die out. It is remarkable that in communistic tribes jealousy is entirely unknown.

Now as the State is not to govern, it may be asked what the State is to do. The State is to be a voluntary association that will organize labour, and be the manufacturer and distributor of necessary commodities. The State is to make what is useful. The individual is to make what is beautiful. And as I have mentioned the word labour, I cannot help saying that a great deal of nonsense is being written and talked nowadays about the dignity of manual labour. There is nothing necessarily dignified about manual labour at all, and most of it is absolutely degrading. It is mentally and morally injurious to man to do anything in which he does not find pleasure, and many forms of labour are quite pleasureless activities, and

should be regarded as such. To sweep a slushy crossing for eight hours on a day when the east wind is blowing is a disgusting occupation. To sweep it with mental, moral, or physical dignity seems to me to be impossible. To sweep it with joy would be appalling. Man is made for something better than disturbing dirt. All work of that kind should be done by a machine.

And I have no doubt that it will be so. Up to the present, man has been, to a certain extent, the slave of machinery, and there is something tragic in the fact that as soon as man had invented a machine to do his work he began to starve. This, however, is, of course, the result of our property system and our system of competition. One man owns a machine which does the work of five hundred men. Five hundred men are, in consequence, thrown out of employment, and, having no work to do, become hungry and take to thieving. The one man secures the produce of the machine and keeps it, and has five hundred times as much as he should have, and probably, which is of much more importance, a great deal more than he really wants. Were that machine the property of all, everybody would benefit by it. It would be an immense advantage to the community. All unintellectual labour, all monotonous, dull labour, all labour that deals with dreadful things, and involves unpleasant conditions, must be done by machinery. Machinery must work for us in coal trifles, and do all sanitary services, and be the stoker of steamers, and clean the streets, and run messages on wet days, and do anything that is tedious or distressing. At present machinery competes against man. Under proper conditions machinery will serve man. There is no doubt at all that this is the future of machinery; and just as trees grow while the country gentleman is asleep, so while Humanity will be amusing itself, or enjoying cultivated leisure which, and not labour, is the aim of man – or making beautiful things, or reading beautiful things, or simply contemplating the world with admiration and delight, machinery will be doing all the necessary and unpleasant work. The fact is, that civilization requires slaves. The Greeks were quite right there. Unless there are slaves to do the ugly, horrible, uninteresting work, culture and contemplation become almost impossible. Human slavery is wrong, insecure, and demoralizing. On mechanical slavery, on the slavery of the machine, the future of the world depends. And when scientific men are no longer called upon to go down to a depressing East End and distribute bad cocoa and worse blankets to starving people, they will have delightful leisure in which to devise wonderful and marvellous things for their own joy and the joy of every one else. There will be great storages of force for every city, and for every house if required, and this force man will convert into

heat, light, or motion, according to his needs. Is this Utopian? A map of the world that does not include Utopia is not worth even glancing at, for it leaves out the one country at which Humanity is always landing. And when Humanity lands there, it looks out, and, seeing a better country, sets sail. Progress is the realization of Utopias.

Now, I have said that the community by means of organization of machinery will supply the useful things, and that the beautiful things will be made by the individual. This is not merely necessary, but it is the only possible way by which we can get either the one or the other. An individual who has to make things for the use of others, and with reference to their wants and their wishes, does not work with interest, and consequently cannot put into his work what is best in him. Upon the other hand, whenever a community or a powerful section of a community, or a government of any kind, attempts to dictate to the artist what he is to do, Art either entirely vanishes, or becomes stereotyped, or degenerates into a low and ignoble form of craft. A work of art is the unique result of a unique temperament. Its beauty comes from the fact that the author is what he is. It has nothing to do with the fact that other people want what they want. Indeed, the moment that an artist takes notice of what other people want, and tries to supply the demand, he ceases to be an artist, and becomes a dull or an amusing craftsman, an honest or a dishonest tradesman. He has no further claim to be considered as an artist. Art is the most intense mode of Individualism that the world has known. I am inclined to say that it is the only real mode of Individualism that the world has known. Crime, which, under certain conditions, may seem to have created Individualism, must take cognizance of other people and interfere with them. It belongs to the sphere of action. But alone, without any reference to his neighbours, without any interference, the artist can fashion a beautiful thing; and if he does not do it solely for his own pleasure, he is not an artist at all.

And it is to be noted that it is the fact that Art is this intense form of Individualism that makes the public try to exercise over it an authority that is as immoral as it is ridiculous, and as corrupting as it is contemptible. It is not quite their fault. The public has always, and in every age, been badly brought up. They are continually asking Art to be popular, to please their want of taste, to flatter their absurd vanity, to tell them what they have been told before, to show them what they ought to be tired of seeing, to amuse them when they feel heavy after eating too much, and to distract their thoughts when they are wearied of their own stupidity. Now Art should never try to be popular. The public should try to make itself artistic. There is a very wide difference. If a man of science

were told that the results of his experiments, and the conclusions that he arrived at, should be of such a character that they would not upset the received popular notions on the subject, or disturb popular prejudice, or hurt the sensibilities of people who knew nothing about science; if a philosopher were told that he had a perfect right to speculate in the highest spheres of thought, provided that he arrived at the same conclusions as were held by those who had never thought in any sphere at all – well, nowadays the man of science and the philosopher would be considerably amused. Yet it is really a very few years since both philosophy and science were subjected to brutal popular control, to authority in fact – the authority of either the general ignorance of the community, or the terror and greed for power of an ecclesiastical or governmental class. Of course, we have to a very great extent got rid of any attempt on the part of the community, or the Church, or the Government, to interfere with the individualism of speculative thought, but the attempt to interfere with the individualism of imaginative art still lingers. In fact, it does more than linger; it is aggressive, offensive, and brutalizing.

In England, the arts that have escaped best are the arts in which the public take no interest. Poetry is an instance of what I mean. We have been able to have fine poetry in England because the public do not read it, and consequently do not influence it. The public like to insult poets because they are individual, but once they have insulted them, they leave them alone. In the case of the novel and the drama, arts in which the public do take an interest, the result of the exercise of popular authority has been absolutely ridiculous. No country produces such badly written fiction, such tedious, common work in the novel form, such silly, vulgar plays as England. It must necessarily be so. The popular standard is of such a character that no artist can get to it. It is at once too easy and too difficult to be a popular novelist. It is too easy, because the requirements of the public as far as plot, style, psychology, treatment of life, and treatment of literature are concerned are within the reach of the very meanest capacity and the most uncultivated mind. It is too difficult, because to meet such requirements the artist would have to do violence to his temperament, would have to write not for the artistic joy of writing, but for the amusement of half-educated people, and so would have to suppress his individualism, forget his culture, annihilate his style, and surrender everything that is valuable in him. In the case of the drama, things are a little better: the theatre-going public like the obvious, it is true, but they do not like the tedious; and burlesque and farcical comedy, the two most popular forms, are distinct forms of art. Delightful work

may be produced under burlesque and farcical conditions, and in work of this kind the artist in England is allowed very great freedom. It is when one comes to the higher forms of the drama that the result of popular control is seen. The one thing that the public dislike is novelty. Any attempt to extend the subject-matter of art is extremely distasteful to the public; and yet the vitality and progress of art depend in a large measure on the continual extension of subject-matter. The public dislike novelty because they are afraid of it. It represents to them a mode of Individualism, an assertion on the part of the artist that he selects his own subject, and treats it as he chooses. The public are quite right in their attitude. Art is Individualism, and Individualism is a disturbing and disintegrating force. Therein lies its immense value. For what it seeks to disturb is monotony of type, slavery of custom, tyranny of habit, and the reduction of man to the level of a machine. In Art, the public accept what has been, because they cannot alter it, not because they appreciate it. They swallow their classics whole, and never taste them. They endure them as the inevitable, and as they cannot mar them, they mouth about them. Strangely enough, or not strangely, according to one's own views, this acceptance of the classics does a great deal of harm. The uncritical admiration of the Bible and Shakespeare in England is an instance of what I mean. With regard to the Bible, considerations of ecclesiastical authority enter into the matter, so that I need not dwell upon the point.

But in the case of Shakespeare it is quite obvious that the public really see neither the beauties nor the defects of his plays. If they saw the beauties, they would not object to the development of the drama; and if they saw the defects, they would not object to the development of the drama either. The fact is, the public make use of the classics of a country as a means of checking the progress of Art. They degrade the classics into authorities. They use them as bludgeons for preventing the free expression of Beauty in new forms. They are always asking a writer why he does not write like somebody else, or a painter why he does not paint like somebody else, quite oblivious of the fact that if either of them did anything of the kind he would cease to be an artist. A fresh mode of Beauty is absolutely distasteful to them, and whenever it appears they get so angry and bewildered that they always use two stupid expressions — one is that the work of art is grossly unintelligible; the other, that the work of art is grossly immoral. What they mean by these words seems to me to be this. When they say a work is grossly unintelligible, they mean that the artist has said or made a beautiful thing that is new; when they describe a work as grossly immoral, they mean that the artist has said or made a beautiful thing that is true. The former expression has reference

to style; the latter to subject-matter. But they probably use the words very vaguely, as an ordinary mob will use ready-made paving-stones. There is not a single real poet or prose-writer of this century, for instance, on whom the British public have not solemnly conferred diplomas of immorality, and these diplomas practically take the place, with us, of what in France is the formal recognition of an Academy of Letters, and fortunately make the establishment of such an institution quite unnecessary in England. Of course, the public are very reckless in their use of the word. That they should have called Wordsworth an immoral poet, was only to be expected. Wordsworth was a poet. But that they should have called Charles Kingsley an immoral novelist is extraordinary. Kingsley's prose was not of a very fine quality. Still, there is the word, and they use it as best they can. An artist is, of course, not disturbed by it. The true artist is a man who believes absolutely in himself, because he is absolutely himself. But I can fancy that if an artist produced a work of art in England that immediately on its appearance was recognized by the public, through their medium, which is the public Press, as a work that was quite intelligible and highly moral, he would begin seriously to question whether in its creation he had really been himself at all, and consequently whether the work was not quite unworthy of him, and either of a thoroughly second-rate order, or of no artistic value whatsoever.

Perhaps, however, I have wronged the public in limiting them to such words as "immoral," "unintelligible," "exotic," and "unhealthy." There is one other word that they use. That word is "morbid." They do not use it often. The meaning of the word is so simple that they are afraid of using it. Still, they use it sometimes, and, now and then, one comes across it in popular newspapers. It is, of course, a ridiculous word to apply to a work of art. For what is morbidity but a mood of emotion or a mode of thought that one cannot express? The public are all morbid, because the public can never find expression for anything. The artist is never morbid. He expresses everything. He stands outside his subject, and through its medium produces incomparable and artistic effects. To call an artist morbid because he deals with morbidity as his subject-matter is as silly as if one called Shakespeare mad because he wrote King Lear.

On the whole, an artist in England gains something by being attacked. His individuality is intensified. He becomes more completely himself. Of course, the attacks are very gross, very impudent, and very contemptible. But then no artist expects grace from the vulgar mind, or style from the suburban intellect. Vulgarity and stupidity are two very vivid facts in modern life. One regrets them, naturally. But there they are. They are subjects for study, like everything else. And it is only fair to

state, with regard to modern journalists, that they always apologize to one in private for what they have written against one in public.

Within the last few years two other adjectives, it may be mentioned, have been added to the very limited vocabulary of art-abuse that is at the disposal of the public. One is the word "unhealthy," the other is the word "exotic." The latter merely expresses the rage of the momentary mushroom against the immortal, entrancing, and exquisitely lovely orchid. It is a tribute, but a tribute of no importance. The word "unhealthy," however, admits of analysis. It is a rather interesting word. In fact, it is so interesting that the people who use it do not know what it means.

What does it mean? What is a healthy or an unhealthy work of art? All terms that one applies to a work of art, provided that one applies them rationally, have reference to either its style or its subject, or to both together. From the point of view of style, a healthy work of art is one whose style recognizes the beauty of the material it employs, be that material one of words or of bronze, of colour or of ivory, and uses that beauty as a factor in producing the æsthetic effect. From the point of view of subject, a healthy work of art is one the choice of whose subject is conditioned by the temperament of the artist, and comes directly out of it. In fine, a healthy work of art is one that has both perfection and personality. Of course, form and substance cannot be separated in a work of art; they are always one. But for purposes of analysis, and setting the wholeness of æsthetic impression aside for a moment, we can intellectually so separate them. An unhealthy work of art, on the other hand, is a work whose style is obvious, old-fashioned, and common, and whose subject is deliberately chosen, not because the artist has any pleasure in it, but because he thinks that the public will pay him for it. In fact, the popular novel that the public call healthy is always a thoroughly unhealthy production; and what the public call an unhealthy novel is always a beautiful and healthy work of art.

I need hardly say that I am not, for a single moment, complaining that the public and the public Press misuse these words. I do not see how, with their lack of comprehension of what Art is, they could possibly use them in the proper sense. I am merely pointing out the misuse; and as for the origin of the misuse and the meaning that lies behind it all, the explanation is very simple. It comes from the barbarous conception of authority. It comes from the natural inability of a community corrupted by authority to understand or appreciate Individualism. In a word, it comes from that monstrous and ignorant thing that is called Public Opinion,

which, bad and well-meaning as it is when it tries to control action, is infamous and of evil meaning when it tries to control Thought or Art.

Indeed, there is much more to be said in favour of the physical force of the public than there is in favour of the public's opinion. The former may be fine. The latter must be foolish. It is often said that force is no argument. That, however, entirely depends on what one wants to prove. Many of the most important problems of the last few centuries, such as the continuance of personal government in England, or of feudalism in France, have been solved entirely by means of physical force. The very violence of a revolution may make the public grand and splendid for a moment. It was a fatal day when the public discovered that the pen is mightier than the paving-stone, and can be made as offensive as the brickbat. They at once sought for the journalist, found him, developed him, and made him their industrious and well-paid servant. It is greatly to be regretted, for both their sakes. Behind the barricade there may be much that is noble and heroic. But what is there behind the leading-article but prejudice, stupidity, cant, and twaddle? And when these four are joined together they make a terrible force, and constitute the new authority.

In old days men had the rack. Now they have the Press. That is an improvement certainly. But still it is very bad, and wrong, and demoralizing. Somebody – was it Burke? – called journalism the fourth estate. That was true at the time, no doubt. But at the present moment it really is the only estate. It has eaten up the other three. The Lords Temporal say nothing, the Lords Spiritual have nothing to say, and the House of Commons has nothing to say and says it. We are dominated by Journalism. In America the President reigns for four years, and Journalism governs for ever and ever. Fortunately, in America, Journalism has carried its authority to the grossest and most brutal extreme. As a natural consequence it has begun to create a spirit of revolt. People are amused by it, or disgusted by it, according to their temperaments. But it is no longer the real force it was. It is not seriously treated. In England, Journalism, except in a few well-known instances, not having been carried to such excesses of brutality, is still a great factor, a really remarkable power. The tyranny that it proposes to exercise over people's private lives seems to me to be quite extraordinary. The fact is that the public have an insatiable curiosity to know everything, except what is worth knowing. Journalism, conscious of this, and having tradesmanlike habits, supplies their demands. In centuries before ours the public nailed the ears of journalists to the pump. That was quite hideous. In this century journalists have nailed their own ears to the keyhole. That

is much worse. And what aggravates the mischief is that the journalists who are most to blame are not the amusing journalists who write for what are called Society papers. The harm is done by the serious, thoughtful, earnest journalists, who solemnly, as they are doing at present, will drag before the eyes of the public some incident in the private life of a great statesman, of a man who is a leader of political thought as he is a creator of political force, and invite the public to discuss the incident, to exercise authority in the matter, to give their views: and not merely to give their views, but to carry them into action, to dictate to the man upon all other points, to dictate to his party, to dictate to his country; in fact, to make themselves ridiculous, offensive, and harmful. The private lives of men and women should not be told to the public. The public have nothing to do with them at all.

In France they manage these things better. There they do not allow the details of the trials that take place in the divorce courts to be published for the amusement or criticism of the public. All that the public are allowed to know is that the divorce has taken place and was granted on petition of one or other or both of the married parties concerned. In France, in fact, they limit the journalist, and allow the artist almost perfect freedom. Here we allow absolute freedom to the journalist, and entirely limit the artist. English public opinion, that is to say, tries to constrain and impede and warp the man who makes things that are beautiful in effect, and compels the journalist to retail things that are ugly, or disgusting, or revolting in fact, so that we have the most serious journalists in the world and the most indecent newspapers. It is no exaggeration to talk of compulsion. There are possibly some journalists who take a real pleasure in publishing horrible things, or who, being poor, look to scandals as forming a sort of permanent basis for an income. But there are other journalists, I feel certain, men of education and cultivation, who really dislike publishing these things, who know that it is wrong to do so, and only do it because the unhealthy conditions under which their occupation is carried on, oblige them to supply the public with what the public wants, and to compete with other journalists in making that supply as full and satisfying to the gross popular appetite as possible. It is a very degrading position for any body of educated men to be placed in, and I have no doubt that most of them feel it acutely.

However, let us leave what is really a very sordid side of the subject, and return to the question of popular control in the matter of Art, by which I mean Public Opinion dictating to the artist the form which he is to use, the mode in which he is to use it, and the materials with which he is to work. I have pointed out that the arts which had escaped best in

England are the arts in which the public have not been interested. They are, however, interested in the drama, and as a certain advance has been made in the drama within the last ten or fifteen years, it is important to point out that this advance is entirely due to a few individual artists refusing to accept the popular want of taste as their standard, and refusing to regard Art as a mere matter of demand and supply. With his marvellous and vivid personality, with a style that has really a true colour-element in it, with his extraordinary power, not over mere mimicry but over imaginative and intellectual creation, Mr. Irving, had his sole object been to give the public what they wanted, could have produced the commonest plays in the commonest manner, and made as much success and money as a man could possibly desire. But his object was not that. His object was to realize his own perfection as an artist, under certain conditions and in certain forms of Art. At first he appealed to the few: now he has educated the many. He has created in the public both taste and temperament. The public appreciate his artistic success immensely. I often wonder, however, whether the public understand that that success is entirely due to the fact that he did not accept their standard, but realized his own. With their standard the Lyceum would have been a sort of second-rate booth, as some of the popular theatres in London are at present. Whether they understand it or not, the fact however remains, that taste and temperament have, to a certain extent, been created in the public, and that the public is capable of developing these qualities. The problem then is, why do not the public become more civilized? They have the capacity. What stops them?

The thing that stops them, it must be said again, is their desire to exercise authority over the artists and over works of art. To certain theatres, such as the Lyceum and the Haymarket, the public seem to come in a proper mood. In both of these theatres there have been individual artists, who have succeeded in creating in their audiences – and every theatre in London has its own audience – the temperament to which Art appeals. And what is that temperament? It is the temperament of receptivity. That is all.

If a man approaches a work of art with any desire to exercise authority over it and the artist, he approaches it in such a spirit that he cannot receive any artistic impression from it at all. The work of art is to dominate the spectator: the spectator is not to dominate the work of art. The spectator is to be receptive. He is to be the violin on which the master is to play. And the more completely he can suppress his own silly views, his own foolish prejudices, his own absurd ideas of what Art should be, or should not be, the more likely he is to understand and appreciate the work

of art in question. This is, of course, quite obvious in the case of the vulgar theatre-going public of English men and women. But it is equally true of what are called educated people. For an educated person's ideas of Art are drawn naturally from what Art has been, whereas the new work of art is beautiful by being what Art has never been; and to measure it by the standard of the past is to measure it by a standard on the rejection of which its real perfection depends. A temperament capable of receiving, through an imaginative medium, and under imaginative conditions, new and beautiful impressions, is the only temperament that can appreciate a work of art. And true as this is in a case of the appreciation of sculpture and painting, it is still more true of the appreciation of such arts as the drama. For a picture and a statue are not at war with Time. They take no account of its succession. In one moment their unity may be apprehended. In the case of literature it is different. Time must be traversed before the unity of effect is realized. And so, in the drama, there may occur in the first act of the play something whose real artistic value may not be evident to the spectator till the third or fourth act is reached. Is the silly fellow to get angry and call out, and disturb the play, and annoy the artists? No. The honest man is to sit quietly, and know the delightful emotions of wonder, curiosity, and suspense. He is not to go to the play to lose a vulgar temper. He is to go to the play to realize an artistic temperament. He is to go to the play to gain an artistic temperament. He is not the arbiter of the work of art. He is one who is admitted to contemplate the work of art, and, if the work be fine, to forget in its contemplation all the egotism that mars him — the egotism of his ignorance, or the egotism of his information. The point about the drama is hardly, I think, sufficiently recognized. I can quite understand that were Macbeth produced for the first time before a modern London audience, many of the people present would strongly and vigorously object to the introduction of the witches in the first act, with their grotesque phrases and their ridiculous words. But when the play is over one realizes that the laughter of the witches in Macbeth is as terrible as the laughter of madness in Lear, more terrible than the laughter of Iago in the tragedy of the Moor. No spectator of art needs a more perfect mood of receptivity than the spectator of a play. The moment he seeks to exercise authority he becomes the avowed enemy of Art, and of himself. Art does not mind. It is he who suffers.

With the novel it is the same thing. Popular authority and the recognition of popular authority are fatal. Thackeray's Esmond is a beautiful work of art because he wrote it to please himself. In his other novels, in Pendennis, in Philip, in Vanity Fair even, at times, he is too

conscious of the public, and spoils his work by appealing directly to the sympathies of the public, or by directly mocking at them. A true artist takes no notice whatever of the public. The public are to him non-existent. He has no poppyed or honeyed cakes through which to give the monster sleep or sustenance. He leaves that to the popular novelist. One incomparable novelist we have now in England, Mr. George Meredith. There are better artists in France, but France has no one whose view of life is so large, so varied, so imaginatively true. There are tellers of stories in Russia who have a more vivid sense of what pain in fiction may be. But to him belongs philosophy in fiction. His people not merely live, but they live in thought. One can see them from myriad points of view. They are suggestive. There is soul in them and around them. They are interpretative and symbolic. And he who made them, those wonderful, quickly moving figures, made them for his own pleasure, and has never asked the public what they wanted, has never cared to know what they wanted, has never allowed the public to dictate to him or influence him in any way, but has gone on intensifying his own personality, and producing his own individual work. At first none came to him. That did not matter. Then the few came to him. That did not change him. The many have come now. He is still the same. He is an incomparable novelist.

With the decorative arts it is not different. The public clung with really pathetic tenacity to what I believe were the direct traditions of the Great Exhibition of international vulgarity, traditions that were so appalling that the houses in which people lived were only fit for blind people to live in. Beautiful things began to be made, beautiful colours came from the dyer's hand, beautiful patterns from the artist's brain, and the use of beautiful things and their value and importance were set forth. The public were really very indignant. They lost their temper. They said silly things. No one minded. No one was a whit the worse. No one accepted the authority of public opinion. And now it is almost impossible to enter any modern house without seeing some recognition of good taste, some recognition of the value of lovely surroundings, some sign of appreciation of beauty. In fact, people's houses are, as a rule, quite charming nowadays. People have been to a very great extent civilized. It is only fair to state, however, that the extraordinary success of the revolution in house-decoration and furniture and the like has not really been due to the majority of the public developing a very fine taste in such matters. It has been chiefly due to the fact that the craftsmen of things so appreciated the pleasure of making what was beautiful, and woke to such a vivid consciousness of the hideousness and vulgarity of what the public had previously wanted, that they simply starved the public out. It would

be quite impossible at the present moment to furnish a room as rooms were furnished a few years ago, without going for everything to an auction of second-hand furniture from some third-rate lodging-house. The things are no longer made. However they may object to it, people must nowadays have something charming in their surroundings. Fortunately for them, their assumption of authority in these art-matters came to entire grief.

It is evident, then, that all authority in such things is bad. People sometimes inquire what form of government is most suitable for an artist to live under. To this question there is only one answer. The form of government that is most suitable to the artist is no government at all. Authority over him and his art is ridiculous. It has been stated that under despotisms artists have produced lovely work. This is not quite so. Artists have visited despots, not as subjects to be tyrannized over, but as wandering wonder-makers, as fascinating vagrant personalities, to be entertained and charmed and suffered to be at peace, and allowed to create. There is this to be said in favour of the despot, that he, being an individual, may have culture, while the mob, being a monster, has none. One who is an Emperor and King may stoop down to pick up a brush for a painter, but when the democracy stoops down it is merely to throw mud. And yet the democracy have not so far to stoop as the emperor. In fact, when they want to throw mud they have not to stoop at all. But there is no necessity to separate the monarch from the mob; all authority is equally bad.

There are three kinds of despots. There is the despot who tyrannizes over the body. There is the despot who tyrannizes over the soul. There is the despot who tyrannizes over the soul and body alike. The first is called the Prince. The second is called the Pope. The third is called the People. The Prince may be cultivated. Many Princes have been. Yet in the Prince there is danger. One thinks of Dante at the bitter feast in Verona, of Tasso in Ferrara's madman's cell. It is better for the artist not to live with Princes. The Pope may be cultivated. Many Popes have been; the bad Popes have been. The bad Popes loved Beauty, almost as passionately, nay, with as much passion as the good Popes hated Thought. To the wickedness of the Papacy humanity owes much. The goodness of the Papacy owes a terrible debt to humanity. Yet, though the Vatican has kept the rhetoric of its thunders, and lost the rod of its lightning, it is better for the artist not to live with Popes. It was a Pope who said of Cellini to a conclave of Cardinals that common laws and common authority were not made for men such as he; but it was a Pope who thrust Cellini into prison, and kept him there till he sickened with

rage, and created unreal visions for himself, and saw the gilded sun enter his room, and grew so enamoured of it that he sought to escape, and crept out from tower to tower, and falling through dizzy air at dawn, maimed himself, and was by a vine-dresser covered with vine leaves, and carried in a cart to one who, loving beautiful things, had care of him. There is danger in Popes. And as for the People, what of them and their authority? Perhaps of them and their authority one has spoken enough. Their authority is a thing blind, deaf, hideous, grotesque, tragic, amusing, serious, and obscene. It is impossible for the artist to live with the People. All despots bribe. The People bribe and brutalize. Who told them to exercise authority? They were made to live, to listen, and to love. Some one has done them a great wrong. They have marred themselves by imitation of their superiors. They have taken the sceptre of the Prince. How should they use it? They have taken the triple tiara of the Pope. How should they carry its burden? They are as a clown whose heart is broken. They are as a priest whose soul is not yet born. Let all who love Beauty pity them. Though they themselves love not Beauty, yet let them pity themselves. who taught them the trick of tyranny?

There are many other things that one might point out. One might point out how the Renaissance was great, because it sought to solve no social problem, and busied itself not about such things, but suffered the individual to develop freely, beautifully, and naturally, and so had great and individual artists, and great and individual men. One might point out how Louis XIV, by creating the modern state, destroyed the individualism of the artist, and made things monstrous in their monotony of repetition, and contemptible in their conformity to rule, and destroyed throughout all France all those fine freedoms of expression that had made tradition new in beauty, and new modes one with antique form. But the past is of no importance. The present is of no importance. It is with the future that we have to deal. For the past is what man should not have been. The present is what man ought not to be. The future is what artists are.

It will, of course, be said that such a scheme as is set forth here is quite unpractical, and goes against human nature. This is perfectly true. It is unpractical, and it goes against human nature. This is why it is worth carrying out, and that is why one proposes it. For what is a practical scheme? A practical scheme is either a scheme that is already in existence, or a scheme that could be carried out under existing conditions. But it is exactly the existing conditions that one objects to; and any scheme that could accept these conditions is wrong and foolish. The conditions will be done away with, and human nature will change. The only thing that one really knows about human nature is that it changes.

Change is the one quality we can predicate of it. The systems that fail are those that rely on the permanency of human nature, and not on its growth and development. The error of Louis XIV was that he thought human nature would always be the same. The result of his error was the French Revolution. It was an admirable result. All the results of the mistakes of governments are quite admirable.

It is to be noted that Individualism does not come to the man with any sickly cant about duty, which merely means doing what other people want because they want it; or any hideous cant about self-sacrifice, which is merely a survival of savage mutilation. In fact, it does not come to a man with any claims upon him at all. It comes naturally and inevitably out of man. It is the point to which all development tends. It is the differentiation to which all organisms grow. It is the perfection that is inherent in every mode of life, and towards which every mode of life quickens. And so Individualism exercises no compulsion over man. On the contrary, it says to man that he should suffer no compulsion to be exercised over him. It does not try to force people to be good. It knows that people are good when they are let alone. Man will develop Individualism out of himself. Man is now so developing Individualism. To ask whether Individualism is practical is like asking whether Evolution is practical. Evolution is the law of life, and there is no evolution except towards Individualism. Where this tendency is not expressed, it is a case of artificially arrested growth, or of disease, or of death.

Individualism will also be unselfish and unaffected. It has been pointed out that one of the results of the extraordinary tyranny of authority is that words are absolutely distorted from their proper and simple meaning, and are used to express the obverse of their right signification. What is true about Art is true about Life. A man is called affected, nowadays, if he dresses as he likes to dress. But in doing that he is acting in a perfectly natural manner. Affectation, in such matters, consists in dressing according to the views of one's neighbour, whose views, as they are the views of the majority, will probably be extremely stupid. Or a man is called selfish if he lives in the manner that seems to him most suitable for the full realization of his own personality; if, in fact, the primary aim of his life is self-development. But this is the way in which every one should live. Selfishness is not living as one wishes to live, it is asking others to live as one wishes to live. And unselfishness is letting other people's lives alone, not interfering with them. Selfishness always aims at creating around it an absolute uniformity of type. Unselfishness recognizes infinite variety of type as a delightful thing,

accepts it, acquiesces in it, enjoys it. It is not selfish to think for oneself. A man who does not think for himself does not think at all. It is grossly selfish to require of one's neighbour that he should think in the same way, and hold the same opinions. Why should he? If he can think, he will probably think differently. If he cannot think, it is monstrous to require thought of any kind from him. A red rose is not selfish because it wants to be a red rose. It would be horribly selfish if it wanted all the other flowers in the garden to be both red and roses. Under Individualism people will be quite natural and absolutely unselfish, and will know the meanings of the words, and realize them in their free, beautiful lives. Nor will men be egotistic as they are now. For the egotist is he who makes claims upon others, and the Individualist will not desire to do that. It will not give him pleasure. When man has realized Individualism, he will also realize sympathy and exercise it freely and spontaneously. Up to the present man has hardly cultivated sympathy at all. He has merely sympathy with pain, and sympathy with pain is not the highest form of sympathy. All sympathy is fine, but sympathy with suffering is the least fine mode. It is tainted with egotism. It is apt to become morbid. There is in it a certain element of terror for our own safety.. We become afraid that we ourselves might be as the leper or as the blind, and that no man would have care of us. It is curiously limiting, too. One should sympathize with the entirety of life, not with life's sores and maladies merely, but with life's joy and beauty and energy and health and freedom. The wider sympathy is, of course, the more difficult. It requires more unselfishness. Anybody can sympathize with the sufferings of a friend, but it requires a very fine nature – it requires, in fact, the nature of a true Individualist – to sympathize with a friend's success.

In the modern stress of competition and struggle for place, such sympathy is naturally rare, and is also very much stifled by the immoral ideal of uniformity of type and conformity to rule which is so prevalent everywhere, and is perhaps most obnoxious in England.

Sympathy with pain there will, of course, always be. It is one of the first instincts of man. The animals which are individual, the higher animals, that is to say, share it with us. But it must be remembered that while sympathy with joy intensifies the sum of joy in the world, sympathy with pain does not really diminish the amount of pain. It may make man better able to endure evil, but the evil remains. Sympathy with consumption does not cure consumption; that is what Science does. And when Socialism has solved the problem of poverty, and Science solved the problem of disease, the area of the sentimentalists will be lessened, and

the sympathy of man will be large, healthy, and spontaneous. Man will have joy in the contemplation of the joyous life of others.

For it is through joy that the Individualism of the future will develop itself. Christ made no attempt to reconstruct society, and consequently the Individualism that he preached to man could be realized only through pain or in solitude. The Ideals that we owe to Christ are the ideals of the man who abandons society entirely, or of the man who resists society absolutely. But man is naturally social. Even the Thebaid became peopled at last. And though the cenobite realizes his personality, it is often an impoverished personality that he so realizes. Upon the other hand, the terrible truth that pain is a mode through which man may realize himself exercises a wonderful fascination over the world. Shallow speakers and shallow thinkers in pulpits and on platforms often talk about the world's worship of pleasure, and whine against it. But it is rarely in the world's history that its ideal has been one of joy and beauty. The worship of pain has far more often dominated the world. Mediævalism, with its saints and martyrs, its love of self-torture, its wild passion for wounding itself, its gashing with knives, and its whipping with rods – Mediævalism is real Christianity, and the mediæval Christ is the real Christ. When the Renaissance dawned upon the world, and brought with it the new ideals of the beauty of life and the joy of living, men could not understand Christ. Even Art shows us that. The painters of the Renaissance drew Christ as a little boy playing with another boy in a palace or a garden, or lying back in his mother's arms, smiling at her, or at a flower, or at a bright bird; or as a noble, stately figure moving nobly through the world; or as a wonderful figure rising in a sort of ecstasy from death to life. Even when they drew him crucified they drew him as a beautiful God on whom evil men had inflicted suffering. But he did not preoccupy them much. What delighted them was to paint the men and women whom they admired, and to show the loveliness of this lovely earth. They painted many religious pictures – in fact, they painted far too many, and the monotony of type and motive is wearisome, and was bad for art. It was the result of the authority of the public in art-matters, and is to be deplored. But their soul was not in the subject. Raphael was a great artist when he painted his portrait of the Pope. When he painted his Madonnas and infant Christs, he was not a great artist at all. Christ had no message for the Renaissance, which was wonderful because it brought an ideal at variance with his, and to find the presentation of the real Christ we must go to mediæval art. There he is one maimed and marred; one who is not comely to look on, because Beauty is a joy; one who is not in fair raiment, because that may be a joy also: he is a beggar who has a

marvellous soul; he is a leper whose soul is divine; he needs neither property nor health; he is a God realizing his perfection through pain.

The evolution of man is slow. The injustice of men is great. It was necessary that pain should be put forward as a mode of self-realization. Even now, in some places in the world, the message of Christ is necessary. No one who lived in modern Russia could possibly realize his perfection except by pain. A few Russian artists have realized themselves in Art; in a fiction that is mediæval in character, because its dominant note is the realization of men through suffering. But for those who are not artists, and to whom there is no mode of life but the actual life of fact, pain is the only door to perfection. A Russian who lives happily under the present system of government in Russia must either believe that man has no soul, or that, if he has, it is not worth developing. A Nihilist who rejects all authority because he knows authority to be evil, and welcomes all pain, because through that he realizes his personality, is a real Christian. To him the Christian ideal is a true thing.

And yet, Christ did not revolt against authority. He accepted the imperial authority of the Roman Empire and paid tribute. He endured the ecclesiastical authority of the Jewish Church, and would not repel its violence by any violence of his own. He had, as I said before, no scheme for the reconstruction of society. But the modern world has schemes. It proposes to do away with poverty and the suffering that it entails. It desires to get rid of pain, and the suffering that pain entails. It trusts to Socialism and to Science as its methods. What it aims at is an Individualism expressing itself through joy. This Individualism will be larger, fuller, lovelier than any Individualism has ever been. Pain is not the ultimate mode of perfection. It is merely provisional and a protest. It has reference to wrong, unhealthy, unjust surroundings. When the wrong, and the disease, and the injustice are removed, it will have no further place. It was a great work, but it is almost over. Its sphere lessens every day.

Nor will man miss it. For what man has sought for is, indeed, neither pain nor pleasure, but simply Life. Man has sought to live intensely, fully, perfectly. When he can do so without exercising restraint on others, or suffering it ever, and his activities are all pleasurable to him, he will be saner, healthier, more civilized, more himself. Pleasure is Nature's test, her sign of approval. When man is happy, he is in harmony with himself and his environment. The new Individualism, for whose service Socialism, whether it wills it or not, is working, will be perfect harmony. It will be what the Greeks sought for, but could not, except in Thought, realize completely, because they had slaves, and fed them; it

will be what the Renaissance sought for, but could not realize completely except in Art, because they had slaves, and starved them. It will be complete, and through it each man will attain to his perfection. The new Individualism is the new Hellenism.

1891

Oscar Wilde

L' ÂME DE L' HOMME

(traduit par Paul Grosfils)

L'avantage principal qui résulterait de l'accomplissement du socialisme serait incontestablement de nous libérer de la misérable nécessité de vivre pour les autres, qui dans l'état actuel, exerce presque sur chacun de nous, une si dure contrainte. En réalité, peu y échappent.

De temps à autre, dans le cours du siècle, un grand savant comme Darwin, un grand poète comme Keats, un bel esprit critique comme Renan, un artiste hors-ligne comme Flaubert, a pu s'isoler, se garer des exigences criardes d'autrui, vivre sous «l'abri du mur», comme dit Platon, et ainsi réaliser à son propre et incomparable avantage, et à l'incomparable et durable avantage du monde entier, la perfection de ce qui lui était propre. Ce sont là pourtant exceptions. La plus grande partie des gens gâtent leur vie par un altruisme malsain et exagéré – sont en quelque sorte forcés de la gâter. Ils sont entourés de hideuses pauvretés, de hideuses laideurs, de hideuses famines. Il est inévitable qu'ils en soient fortement émus. L'émotion chez l'homme se soulève plus vite que l'intelligence, et comme je l'ai dit il y a quelque temps dans une étude sur la fonction de la critique, il est bien plus facile d'avoir de la sympathie pour la souffrance, que pour la pensée. En vertu d'intentions admirables, bien que dévoyées, ils prennent très sérieusement et très sentimentalement à tache de remédier aux maux qu'ils rencontrent. Mais leurs remèdes ne guérissent pas le mal, ils l'étendent. Leurs remèdes, en effet, font partie de la maladie.

Par exemple, ils croient résoudre le problème du paupérisme, soit en entretenant la pauvreté, soit, d'après un système plus avancé, en en distrayant le pauvre.

Ce n'est pas là une solution. C'est accroître la difficulté. Le vrai but à poursuivre est la reconstitution de la société sur une telle base, que la pauvreté soit impossible. Les vertus altruistes ont réellement défendu l'approche de ce but. De même que les plus néfastes propriétaires d'esclaves furent ceux qui en leur montrant de la bienveillance empêchaient ainsi la répulsion de ceux qui souffraient le plus de ce système, et le rendait admissible par ceux qui le réprouvaient, de même, dans le présent état des choses en Angleterre, ceux qui font le plus de mal sont ceux qui s'efforcent le plus au bien; et c'est ainsi que nous avons vu des hommes ayant réellement étudié la question et connu la vie – les hommes cultivés qui vivent dans l'East-End – se mettre en avant, et supplier la société de restreindre ses impulsions altruistes de charité et de bienveillance. Ils le font sous prétexte qu'une telle charité dégrade et démoralise. Ils ont parfaitement raison, la charité crée une infinité de crimes.

Il faut également dire ceci. Il est immoral d'utiliser la propriété privée afin d'alléger les horribles maux qui résultent de sa propre institution. C'est à la fois, immoral et malhonnête.

Avec le socialisme, tout cela sera naturellement changé. On ne verra plus des hommes vivant dans de fétides repaires sous de fétides haillons, mettant au jour des enfants malsains, affamés, dans un milieu impossible et répugnant. La sécurité sociale ne dépendra plus comme à présent, de l'état du temps. Par la gelée nous n'auront plus cent mille sans-travail vagabondant par les rues, immondes de misère, implorant l'aumône du voisin, ou se ruant en masses aux portes de refuges dégoûtants, pour mendier une croûte de pain et une nuit de logis malpropre. Chaque membre de la société participera à la prospérité générale et au bonheur public, et si la gelée survient, aucun, plus qu'un autre, n'en subira les conséquences.

D'un autre côté, le socialisme n'a de valeur que pour autant qu'il mène à l'individualisme.

Le socialisme, le communisme, comment qu'on l'appelle, rétablira la société dans les propres conditions d'un organisme parfaitement ordonné, et assurera le bien être matériel de chacun en convertissant la propriété privée en fortune publique et en substituant la coopération à la compétition. Il restituera à la vie, ses propres bases et ses propres milieux. Mais, pour amener l'entier développement de la vie, elle-même, à son plus haut degré de perfection, quelque chose de plus est nécessaire. C'est l'individualisme. Si le socialisme est autoritaire; s'il préconise des gouvernements armés de pouvoirs économiques tels qu'à présent ils le sont de pouvoirs politiques; si en un mot, nous devons arriver à un régime de tyrannie industrielle, cet état de l'homme sera pire que le précédent. Les conditions actuelles de la propriété facilitent chez un grand nombre, un certain développement d'individualisme. Ils vivent, soit sans aucune nécessité de travail, soit avec la faculté de choisir la sphère d'activité qui leur est propre et qui leur plaît. Ce sont les poètes, les philosophes, les savants, les hommes cultivés – en un mot, les hommes réels, les hommes qui se sont accomplis et dont toute l'humanité profite. D'un autre côté, le manque de propriété privée et la crainte d'un dénuement complet contraignent bien des gens à un travail de bêtes de somme qui leur est tout à fait impropre, mais auquel ils sont astreints par la péremptoire, l'immodérée et dégradante tyrannie du besoin. Ceux-là, ce sont les pauvres, et chez eux on ne rencontre ni grâce de manières, ni charme de paroles, ni civilisation, ni culture, ni plaisirs raffinés, ni joie de vivre. De leur force collective, l'humanité gagne beaucoup en matérielle prospérité. Mais c'est seulement un résultat matériel qu'elle atteint et l'homme qui

est pauvre, n'est absolument d'aucune importance. Il est l'atome infinitésimal d'une force qui loin de l'épargner l'écrase, qui le préfère même écrasé, pour l'avoir ensuite plus obéissant.

Certes, on pourrait dire que l'individualisme engendré sous le règne de la propriété privée, n'est pas fatallement merveilleux ou extraordinaire, et que le pauvre s'il n'a ni culture, ni charme, a toutefois bien des vertus. Ces deux aperçus seraient tout à fait justes. La propriété privée est le plus souvent extrêmement démoralisante; c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le socialisme veut se débarrasser d'elle. En pratique, la propriété est vraiment nuisible. Il y a quelques années, des gens s'en allaient par le pays professant que la propriété a des devoirs. Ils le dirent si souvent et si obstinément, que l'Eglise finit par le répéter. On le proclame à présent du haut de chaque chaire. C'est parfaitement juste. Non seulement la propriété a des devoirs, mais elle a tant de devoirs, que son extension est une corvée. Elle implique des revendications sans fin, une attention continue aux affaires et des soucis infinis. Si la propriété n'avait que des plaisirs, nous pourrions la supporter; mais ses devoirs la rendent insupportable. Dans l'intérêt du riche, nous devons nous en débarrasser. Les vertus du pauvre peuvent certes être admises, mais elles sont regrettables. On nous dit souvent que les pauvres sont reconnaissants. Quelques-uns des pauvres, sans doute, le sont, mais les meilleurs d'entre eux ne sont jamais reconnaissants. Ils sont ingrats, mécontents, désobéissants et rebelles. Ils ont parfaitement le droit d'être ainsi. Ils sentent que la charité est une sorte de restitution ridicule, déplacée et insuffisante, une largesse sentimentale accompagnée le plus souvent, de quelque impertinente tentative tyrannique et spéciale, de la part du donateur. Pourquoi seraient ils reconnaissants des miettes qui tombent de la table du riche? Il conviendrait qu'ils fussent eux-mêmes à la table, et ils commencent à s'en rendre compte. Quant à être mécontent, un homme qui ne le serait pas de tels milieux, et d'une aussi misérable façon de vivre, serait une brute parfaite. La désobéissance pour quiconque a lu l'histoire, est la vertu originale de l'homme. C'est par la désobéissance que le progrès s'est accompli, par la désobéissance et par la rébellion. On loue parfois le pauvre parce qu'il est économique. Cependant, recommander l'économie au pauvre, est également grotesque et insultant. C'est comme si on conseillait à un homme qui meurt de faim, de manger moins. Pour un travailleur de la ville, ou des campagnes, pratiquer l'économie serait absolument immoral. L'homme ne doit pas être prêt à montrer qu'il peut vivre mal nourri, comme un animal. Il doit refuser de vivre ainsi, et voler ou vivre de la taxe des pauvres, ce que beaucoup considèrent comme une autre forme de vol. Il est plus sûr de mendier que

de prendre, mais il est plus beau de prendre que de mendier. Non; un pauvre homme qui est ingrat, prodigue, mécontent et révolté, peut être une personnalité intéressante. Il est en tous cas, une saine protestation. Quant au pauvre vertueux, on peut naturellement le plaindre, mais il est impossible de l'admirer. Il a négocié avec l'ennemi et a vendu son droit de naissance pour de la mauvaise soupe. Il doit aussi être extraordinairement stupide. Je puis parfaitement comprendre un homme qui accepte les lois protectrices de la propriété et de son accumulation, aussi longtemps qu'il est lui-même capable dans ces conditions de réaliser une vie noble et intellectuelle. Mais je ne puis croire qu'il soit possible à un homme dont la vie est entravée et horrifiée par de telles lois, d'acquiescer à leur maintien.

De toute manière, l'explication n'est pas difficile. Elle se réduit à ceci. La misère et la pauvreté sont si absolument dégradantes et exercent un tel effet paralysant sur la nature des hommes, qu'une classe n'est jamais consciente de ses propres souffrances. Cette révélation doit lui venir d'autrui, et même souvent elle la récuse. L'opinion que les grands entrepreneurs de travaux ont sur les agitateurs est sans aucun doute exacte. Les agitateurs forment une coterie qui se mêle à une classe sociale satisfaites pour y semer le levain du mécontentement. C'est la raison pour laquelle ils sont si absolument nécessaires. Sans eux, dans notre état incomplet, il n'y aurait aucune marche vers la civilisation. L'esclavage ne fut pas aboli en Amérique grâce à une action commune des esclaves, ou même par suite de leur désir formel. Son abolition fut la suite de l'illégale et grossière conduite de certains agitateurs de Boston, qui n'étaient ni esclaves, ni possesseurs d'esclaves et qui n'avaient aucun rapport avec la question. Ce furent les abolitionnistes qui mirent le feu aux poudres. Il est curieux de noter que des esclaves mêmes, ils ne reçurent que fort peu d'assistance et encore moins de sympathie; aussi, quand à la fin du conflit ceux-ci se trouvèrent si absolument libres qu'ils étaient libres de mourir de faim, beaucoup d'entre eux regrettèrent amèrement le nouvel état de choses. Pour celui qui pense, le fait le plus tragique de toute la révolution française n'est pas que Marie-Antoinette, reine, fut guillotinée, mais que le paysan affamé de Vendée voulut mourir pour la cause hideuse de la féodalité.

Il est clair qu'aucun socialisme autoritaire ne réussira. Si à présent un grand nombre de personnes parviennent à mener une vie encore relativement libre, expansive et heureuse, sous un système de caserne industrielle ou de tyrannie économique personne n'en serait capable. Il est regrettable qu'une partie de notre société soit pratiquement esclave, mais proposer de résoudre le problème par l'asservissement de la société

entière est enfantin. Tout homme doit être libre de choisir son travail. Aucune forme de contrainte ne doit s'exercer sur lui. S'il y en a, son travail ne sera pas bon par soi-même, et ne sera profitable ni à lui ni aux autres. Et par travail, j'entends simplement l'activité quelle qu'elle soit.

Je crois difficilement qu'aucun socialiste d'aujourd'hui propose sérieusement qu'un inspecteur visite tous les matins chaque citoyen pour bien s'assurer qu'il se lève et poursuit durant huit heures son travail quotidien. L'humanité a dépassé ce stade, et réserve une telle forme de vie pour ceux qu'arbitrairement elle nomme des criminels. Mais je confesse que beaucoup des vues socialistes que j'ai rencontrées me semblent teintées d'autoritarisme, si pas de réelle contrainte. Naturellement, l'autorité et la contrainte sont de trop. Toute association doit être volontaire. Seules les associations volontaires ont élevé l'homme.

Mais on pourrait demander de quelle façon l'individualisme dont le développement actuel dépend plus ou moins de l'existence de la propriété privée bénéficiera de l'abolition de celle-ci. La réponse est fort simple. Il est vrai que dans les conditions existantes quelques grands hommes, tels que Byron, Shelley, Browning, Victor Hugo, Beaudelaire et d'autres ont pu par des moyens privés réaliser leur personnalité plus ou moins complètement. Aucun d'eux ne fit jamais un seul jour de travail salarié. Ils furent dispensés de la pauvreté. Ils eurent un immense avantage. La question est de savoir s'il serait profitable à l'individualisme, qu'un tel avantage disparut. Supposons en la perte. Qu'arrivera-t-il de l'individualisme? De quelle façon en bénéficiera-t-il?

Voici la façon dont il bénéficiera. Sous les nouvelles règles, l'individualisme sera bien plus libre, bien plus beau et bien plus intense qu'il ne l'est à présent. Je ne parle pas du grand individualisme fictif des poètes tels que ceux que j'ai mentionnés, mais du grand individualisme actuellement latent et potentiel dans l'espèce humaine en général. Car la reconnaissance de la propriété privée a réellement nui à l'individualisme; elle l'a obscurci en confondant un homme avec ce qu'il possède. Elle a laissé l'individualisme complètement de côté. Elle a plutôt qu'un accroissement, tenté un bénéfice. De telle sorte que l'homme arriva à penser que l'important était de posséder, non d'exister. La perfection humaine ne consiste pas en ce que l'homme a, mais en ce qu'il est. La propriété privée a écrasé l'individualisme réel, et élevé, un individualisme fallacieux. En l'affamant elle a empêché une partie de la société de s'individualiser. Elle en a empêché l'autre, en la menant pour sa perte, sur une route fausse et encombrée. En effet, la personnalité de l'homme a été si complètement absorbée par l'idée de possession, que la loi anglaise

a toujours traité plus durement l'offense contre la propriété que celle contre la personne, et la propriété privée demeure encore l'apanage bourgeois. L'industrie nécessaire à l'enrichissement, est également démoralisante. Dans une société telle que la nôtre où la propriété confère d'immenses distinctions, une position sociale, des honneurs, du respect, des titres et d'autres marques plaisantes de même aloi, l'homme naturellement ambitieux prend pour but l'accumulation de cette propriété et le poursuit lentement, obstinément, longtemps encore après qu'il en a réuni plus qu'il n'en désirait, plus qu'il n'en peut utiliser, plus que ce dont il peut jouir et même parfois, plus qu'il n'en peut connaître. L'homme mourra d'épuisement en protégeant la propriété, et réellement, considérant les énormes avantages que celle-ci lui procure, on en est difficilement surpris. On regrette seulement que sur cette base sociale, l'homme ait été acculé dans une impasse où il n'aït pu développer librement ce qui est magnifique, fascinant et délicieux en lui, où il perd le vrai plaisir et la joie de la vie. Il est d'ailleurs dans l'état actuel très menacé. Un marchand immensément riche peut être, — souvent est — à chaque instant de son existence à la merci de choses qui ne sont pas sous son contrôle. Un souffle contraire du vent, un soudain changement de temps, ou le moindre des incidents peut faire sombrer son bateau, ruiner sa situation sociale, l'appauvrir complètement. Or rien ne devrait affecter un homme sinon lui-même. Rien ne devrait ruiner un homme. Ce qu'un homme possède, c'est ce qui est en lui. Ce qui lui est extérieur n'est daucune importance.

Par l'abolition de la propriété privée naîtra un individualisme réel, embelli, sanctifié. Personne ne gaspillera sa vie en accumulant des biens et des symboles de biens. Chacun vivra. Vivre est la chose la plus rare dans le monde. La plupart des hommes existe, et c'est tout.

Il resterait à savoir si nous avons déjà vu l'entièrre expression d'une personnalité autre part que dans l'imaginatif monde de l'art. En action nous n'en avons jamais connu. César, a dit Mommsen, était l'homme complet et parfait. Mais combien tragiquement menacé était César! Là où un homme exerce l'autorité, un autre homme y résiste. César était parfait, mais sa perfection reposait sur une base dangereuse. Marc Aurèle était l'homme parfait, a dit Renan. Certes, le grand empereur était un homme parfait. Mais combien furent intolérables les exigences infinies qu'on émettait à son égard. Il chancela sous le fardeau de l'empire. Il comprit combien il était surhumain de supporter le poids de ce vaste Titan. Ce que j'entends par un homme parfait, c'est un homme qui se développe dans de parfaites conditions; qui n'est ni blessé, ni frappé, ni estropié, ni menacé. La plupart des personnalités furent

nécessairement rebelles. La moitié de leur force se perdit par frottement. La personnalité de Byron, par exemple, se dissipia terriblement en luttes contre la stupidité, l'hypocrisie et le philistinisme des Anglais. De telles luttes n'intensifient pas toujours; souvent elles affaiblissent. Byron ne fut jamais capable de nous donner ce qu'il aurait pu nous donner. Shelley s'en tira mieux. Comme Byron, il s'en fut d'Angleterre aussitôt que possible. Mais il n'était pas aussi connu. Si les Anglais avaient su quel grand poète il était, ils seraient tombés sur lui à coup de bec et d'ongles et ils auraient rendu sa vie aussi insupportable que possible. Mais il n'était pas une remarquable figure dans la société, et en conséquence il échappa jusqu'à un certain point. En Shelly, toutefois, la note révolutionnaire est encore trop forte. La caractéristique de la véritable personnalité n'est pas la rébellion, mais la paix.

Elle sera merveilleuse – la vraie personnalité de l'homme – quand nous la rencontrons. Elle croîtra naturellement et simplement comme une fleur, comme un arbre. Elle ne suscitera aucune discorde. Elle ne discutera jamais. Elle ne prouvera rien. Elle saura toute chose. Elle ne s'encombrera point de science. Elle aura la sagesse. Sa valeur ne se mesurera point par les choses matérielles. Elle ne possédera rien. Et cependant elle possédera toute chose, quoiqu'on lui prenne; elle possédera toujours tant elle sera riche. Elle ne se mêlera pas aux autres, et ne leur demandera point de lui ressembler. Elle les aimera, car elle leur sera différente. Et ne s'occupant pas des autres, elle les aidera, comme une belle chose peut nous aider en étant ce qu'elle est. La personnalité de l'homme sera magnifique. Elle sera aussi magnifique que la personnalité de l'enfant.

Au gré de l'homme, son développement sera facilité par le christianisme, mais sans celui-ci, elle ne se développera pas moins. Car elle ne se tracassera point du passé, ni se souciera de savoir si des choses se sont ou ne se sont point produites. Elle n'admettra non plus aucune des lois autres que les siennes, ni aucune autorité autre que sa propre autorité. Toutefois elle aimera ceux qui cherchent à l'intensifier et ceux qui parlent souvent d'elle. Et de ceux ci, le Christ était.

Au fronton du portail du monde antique on lisait: «Connais-toi toi-même». A celui du monde nouveau on lirait: «Sois toi-même». Le message du Christ à l'homme fut simplement: «Sois toi-même». C'est là le secret du Christ.

Quand Jésus parle du pauvre, c'est de personnalité qu'il veut parler; de même lorsqu'il parle du riche, c'est de gens qui n'ont pas développé leur personnalité. Jésus a vécu dans un monde qui permettait l'accumulation de la propriété privée, exactement de même que le nôtre,

et l'évangile qu'il a prêché ne proclamait pas que dans une telle société il était avantageux pour un homme de se nourrir modiquement d'insalubres nourritures, de courir en guenilles, d'habiter d'horribles et malsaines demeures, et désavantageux de vivre sainement, décentment, et plaisamment. Un tel point de vue eut été mauvais alors, et serait d'ailleurs plus mauvais encore dans l'Angleterre actuelle; car plus on remonte vers le nord, plus les nécessités matérielles s'affirment vitales, et notre société est infiniment plus complexe et va davantage aux extrêmes du luxe et du paupérisme que n'importe quelle société antique. Jésus pensait ceci. Il dit à l'homme: «Tu as une admirable personnalité. Développe-la. Sois toi-même. Ne crois point que ta perfection réside dans l'accumulation et la possession des choses extérieures. Ta perfection est en toi. Réalise seulement ton refus d'être riche. Les richesses ordinaires peuvent être volées par n'importe qui, mais les richesses réelles ne le peuvent être jamais. Dans la trésorerie de ton âme, il est une infinité de choses précieuses que l'on ne peut t'enlever. Forme ta vie de façon que les choses extérieures ne te heurtent jamais. Et essaye ainsi de te libérer de toute propriété personnelle. Elle requiert de misérables préoccupations, d'innombrables duperies, de continues méchancetés. La propriété personnelle s'oppose à chaque pas à l'individualisme.» Il faut noter que Jésus n'a jamais dit que les pauvres soient nécessairement bons, ou les riches nécessairement mauvais. C'eût été faux. Les gens riches sont, en tant que classe, meilleurs que les pauvres, plus moraux, plus intellectuels, plus cultivés. Il n'y a dans la société qu'une seule classe qui fasse plus de cas de l'argent que le riche, c'est la classe pauvre. Le pauvre ne peut penser à autre chose. Voilà la misère d'être pauvre. Jésus a dit que l'homme n'atteint point sa perfection par ce qu'il a, ou même par ce qu'il fait, mais entièrement par ce qu'il est. C'est pourquoi le jeune homme riche qui vint à Jésus, est représenté comme un bon citoyen qui n'a violé aucune loi de son Etat, aucun des commandements de sa religion. Il est respectable, dans le sens ordinaire de ce mot extraordinaire. Jésus lui dit: «Tu dois abandonner la propriété privée. Elle t'empêche d'accomplir ta perfection. Elle t'entrave. C'est un fardeau. Ta personnalité n'en a que faire. C'est en toi, et non en dehors de toi, que tu trouveras ce que réellement tu es et ce que réellement tu veux.» A ses disciples, il a dit de même. Il leur a dit d'être eux-mêmes, et ne pas se préoccuper continuellement d'autre chose. Qu'importent les autres choses? L'homme est complet en lui-même. Quand ils iront à l'univers, l'univers les repoussera. C'est inévitable. Le monde hait l'individualisme. Mais cela ne pourra les troubler. Qu'ils soient calmes et concentrés. Si un homme prend leur manteau, ils lui donneront leur robe, simplement pour lui

montrer que les choses matérielles sont sans importance. Si des gens les outragent, ils ne répondront pas. Et pourquoi? Parce que les choses que les gens disent d'un homme ne le transforment pas. Il est ce qu'il est. L'opinion publique quelle qu'elle soit, n'a aucune valeur. Fut-ce contre la violence ceux-là ne s'insurgeront pas. Ce serait tomber au même niveau abaissé. Après tout, même en prison, un homme peut être entièrement libre. Son âme peut être libre. Sa personnalité peut être sereine. Il peut être en paix. Et ces hommes par-dessus tout, ne s'interposeront jamais, et ne jugeront les autres en aucune façon. La personnalité est une chose fort mystérieuse. Un homme ne peut pas toujours être apprécié pour ses actes. Il peut suivre la loi et être sans valeur. Il peut violer la loi, sans perdre de son mérite. Il peut être mauvais sans jamais faire quelque mauvaise chose. Il peut commettre un crime contre la société, et pourtant réaliser par ce crime, sa véritable perfection.

Une femme fut surprise en adultère. On ne nous a point dit l'histoire de son amour, mais cet amour a dû être bien grand, car Jésus dit que ses crimes lui seront pardonnés, non pas parce qu'elle repentait, mais parce que son amour fut si magnifique et si intense. Plus tard, quelque temps avant sa mort, alors qu'il assistait à une fête, la femme vint à lui et répandit de rares parfums sur ses cheveux. Ses disciples intervinrent, disant que c'était une extravagance, et que l'argent que coûtaient ces parfums eût pu être charitalement dépensé. Jésus les en blâma. Il enseigna que les besoins matériels de l'homme étaient grands et permanents, mais que ses besoins spirituels étaient plus grands encore, et que, dans un moment divin, en choisissant son mode personnel d'expression, une personnalité pouvait se rendre parfaite. Même à présent, encore, le monde honore la femme comme une sainte.

Certes il y a de suggestives choses dans l'individualisme. Le socialisme, par exemple, annihile la vie de famille. Par l'abolition de la propriété privée la forme présente du mariage doit disparaître. C'est là une partie du programme. L'individualisme l'accepte et l'embellit. Il convertit l'abolition des restrictions légales en une forme de liberté qui facilitera le développement complet de la personnalité, et rendra l'amour de l'homme et de la femme plus admirable, plus noble, et plus élevé. Jésus le comprit. Il abolit les exigences de la vie familiale, bien qu'elles eussent de son temps et dans sa communauté, une place fort importante. «Qui est ma mère? – Qui sont mes frères?» – dit-il quand on lui annonça leur visite. Lorsqu'un de ses disciples lui demanda la permission de le quitter afin d'enterrer son père, «Laisse les morts ensevelir leurs morts» fut sa terrible réponse. Il n'admettait aucune restriction de la personnalité.

Ainsi, celui qui remplirait sa vie comme le Christ, serait parfaitement et absolument lui-même. Il pourrait être un grand poète, ou un grand savant; un jeune étudiant ou un pâtre qui garde les moutons dans la lande; un dramaturge comme Shakespeare ou un penseur comme Spinoza; un enfant qui joue dans un jardin ou un pêcheur qui jette son filet dans l'océan. Qu'importe ce qu'il est, aussi longtemps qu'il réalise la perfection de l'âme qui est en lui. Toute imitation dans la morale comme dans la vie est une erreur. Un fou qui porte une croix de bois sur l'épaule, se traîne aujourd'hui dans les rues de Jérusalem. Il est le symbole des vies corrompues par l'imitation. Le père Damien fut comme le Christ, lorsqu'il s'expatria pour vivre parmi les lépreux, car par une telle action, il réalisa pleinement ce qu'il avait de meilleur en lui. Mais il n'était pas plus chrétien que Wagner, réalisant son âme en musique, ou Shelley, en poésie. Il n'existe pas de prototype de l'homme. Il existe autant de perfections qu'il y a de gens imparfaits. Et alors que celui qui se soumettrait aux revendications de la charité pourrait encore être libre, celui qui consentirait aux exigences de la conformité ne serait plus indépendant.

L'individualisme reste donc ce qu'au travers du socialisme nous devons atteindre. Naturellement, l'Etat doit abandonner toute idée de gouvernement. Il doit l'abandonner, car tel qu'un sage l'a dit quelques siècles avant le Christ, il faut laisser l'humanité à ses propres forces et non la gouverner. Toute forme de gouvernement fait faillite. Le despotisme est injuste pour chacun, même pour le despote qui était probablement capable de meilleures choses. L'oligarchie est injuste pour la masse, et l'ochlocratie est injuste pour le petit nombre. De beaux espoirs furent fondés sur la démocratie; mais la démocratie signifie simplement abrutissement du peuple par le peuple, en faveur du peuple. C'est là, chose reconnue. Je dois dire qu'il en est bien temps, car toute autorité est pleinement dégradante. Elle dégrade ceux qui l'exercent et ceux sur qui elle est exercée. Quand elle est appliquée avec violence, rudesse et cruauté, elle produit un effet salutaire, en créant ou en favorisant l'esprit de révolte et d'individualisme qui l'anéantira. Mais appliquée avec bienveillance, et accompagnée de récompenses et de louanges, elle est terriblement démoralisante. Dans ce dernier cas, les gens sont moins conscients de l'horrible pression qu'on pratique sur eux, et ainsi traversent la vie en une sorte d'épais confort, tels que des animaux gâtés, sans jamais se rendre compte qu'ils pensent probablement ce que d'autres personnes pensent, vivent ce que d'autres vivent, portent ce que pratiquement on pourrait appeler des vêtements de seconde main, et ne se sentent jamais eux-mêmes. «Celui qui voudrait être libre» a dit

un beau penseur, «ne doit pas se conformer aux autres.» Et l'autorité, en corrompant le peuple jusqu'à la conformité, produit parmi nous, une espèce grossière de barbarie repue.

Avec l'autorité, la punition disparaîtra. Ce sera un grand bien, un bien d'incalculable valeur. Quand on parcourt l'histoire, non pas dans les éditions expurgées, affectées aux écoliers et aux amateurs, mais en se référant aux sources, on n'est pas éccœuré des crimes que les méchants ont commis, mais bien des punitions que les bons ont infligées; et une société est infiniment plus maltraitée par l'application habituelle de la punition, qu'elle ne l'est par le crime. Il s'ensuit évidemment, que plus il y a de punitions, plus il se produit de crimes, c'est pourquoi, presque toutes les législations modernes, l'ayant clairement reconnu, ont pris à tâche de restreindre les punitions autant que possible. Là où on peut les restreindre, les résultats furent extrêmement profitables. Le moins de punitions, le moins de crimes. Quand il n'y aura plus de punitions, ou bien le crime cessera d'exister, ou bien s'il se présente, des médecins le traiteront comme une cruelle forme de la folie qu'on guérit par l'attention et par la gentillesse. Car ceux qu'on appelle de nos jours des criminels, ne le sont pas du tout. La faim, non le péché est le père du crime moderne. C'est la raison pour laquelle nos criminels sont, en tant que classe, si absolument inintéressants à tout point de vue psychologique. Ils ne sont ni de merveilleux Macbeths, ni de terribles Vautrins. Ils sont plutôt ce que d'ordinaires, respectables et banales personnes seraient si elles n'avaient pas eu assez à manger. Quand la propriété privée sera abolie, le crime ne sera plus d'aucune nécessité; il cessera d'exister. Naturellement, tous les crimes ne menacent pas la propriété, quoique tels soient les crimes que la loi anglaise, appréciant ce qu'un homme possède plus que ce qu'un homme est, punit avec le plus de rigueur, en exceptant toutefois le meurtre et en considérant la mort pire que les travaux forcés à perpétuité, point au sujet duquel, je crois, nos criminalistes ne sont pas d'accord avec elle. Mais un crime non dirigé contre la propriété peut pourtant résulter de la misère, de la rage et de la dépression produites par notre mauvais système économique; il disparaîtra donc à l'abolition de ce système lui-même. Lorsque chaque membre de la société suffira à ses besoins sans être dérangé par ses voisins, il n'aura aucun intérêt à se mêler des affaires des autres. La jalousie qui est une extraordinaire source de crimes, dans la vie moderne, et qui est un sentiment dérivé de notre conception de la propriété, disparaîtra avec le socialisme et l'individualisme. Il est remarquable que parmi les tribus communistes, la jalousie soit inconnue.

Or si l'Etat ne gouverne plus, on peut se demander à quoi il servira. Il sera une association volontaire, organisatrice du travail et distributrice de commodités. L'Etat fera tout ce qui est utile. L'individu fera tout ce qui est beau. Et puisque je parle de labeur, je ne puis m'empêcher de dire que d'énormes non-sens sont proférés et écrits de nos jours sur le travail manuel. Il n'y a rien de noble en soi dans le travail manuel, et même le plus grand nombre de ses applications sont absolument dégradantes. Il est mentalement et moralement honteux pour l'homme, de faire quoique ce soit où il ne trouve pas de plaisir; bien des formes du labeur sont tout à fait désagréables et doivent être regardées comme telles. Tracer en balayant un chemin dans la boue, huit heures par jour, quand le vent souffle de l'est, est une occupation dégoûtante. Balayer avec dignité morale mentale et physique me semble impossible. Balayer avec joie serait effrayant. L'homme est fait pour autre chose que déranger de la saleté. Tout travail de ce genre devrait être fait par une machine.

Je ne doute pas qu'on y arrive. Jusqu'à présent, l'homme fut presque l'esclave de la mécanique, et il y a quelque chose de tragique, en ce qu'aussitôt qu'il inventa une machine pour faire son ouvrage, il connut la faim. C'est toutefois le résultat naturel de notre système de propriété et de concurrence. Un homme possède une machine qui accomplit le travail de cinq cents ouvriers. Cinq cents ouvriers sont abandonnés sans travail, affamés et sont naturellement entraînés au vol. L'homme unique qui s'assure le bénéfice de la machine le conserve, et possède cinq cents fois autant qu'il aurait possédé, et ce qui est bien plus important, probablement beaucoup plus qu'il n'a besoin. Si cette machine était à tous, chacun pourrait en bénéficier. Ce serait d'un immense avantage social. Tout travail intellectuel, tout labeur monotone, et abominable qui implique des conditions déplorables, doit être fait à la machine. C'est à elle seule de travailler pour nous dans les mines, de remplir les services sanitaires, chauffer les navires, nettoyer les rues, porter les messages aux jours pluvieux, et faire tout ce qui est pénible et désagréable. A présent, la mécanique fait concurrence à l'homme. Dans des conditions rationnelles, la mécanique servira l'homme. Tel est sans aucun doute, l'avenir des machines, et ainsi que les arbres poussent pendant que l'agronome s'endort, pendant que l'humanité jouira, et bénéficiera de plaisirs intelligents, — qui sont, au contraire du labeur, le but de l'homme — en faisant et lisant de belles choses, ou simplement en contemplant le monde avec délice et admiration, les machines accompliront les travaux nécessaires et désagréables. La réalité est, que la civilisation requiert des esclaves. Les Grecs, en ceci, sont absolument justifiés. S'il n'y avait pas

d'esclaves pour le travail horrible et inintéressant, la culture et la contemplation seraient impossibles. L'esclavage humain est mauvais, dangereux et démoralisant. C'est de l'esclavage mécanique de la machine que le monde futur dépend. Et quand les savants ne seront plus réquisitionnés pour visiter un déprimant East-End, pour distribuer au peuple affamé de mauvais cacao et de pires couvertures, ils auront le délicieux loisir de deviser de belles et fascinantes choses pour leur propre joie et la joie générale. De grandes réserves d'énergie resteront à la disposition de chaque cité, de chaque maison, et l'homme les convertira en chaleur, en lumière selon ses besoins. Est-ce là une utopie? Une carte du monde qui ne comprendrait pas Utopie, ne serait pas digne d'un regard, car elle excepterait la contrée où l'humanité a toujours débarqué. Et quand elle y débarque, elle cherche autre part et remet à la voile vers une meilleure contrée. Le progrès est la réalisation des utopies.

J'ai dit cependant, que par une organisation mécanique la société fournira les choses utiles et que les belles choses seront produites par les individus. Ceci n'est pas seulement nécessaire, c'est l'unique manière par laquelle nous obtiendrons les unes et les autres. Un individu qui doit produire pour l'utilité des autres, selon leurs besoins et leurs désirs ne travaille pas avec intérêt et ne peut, par conséquent, mettre dans son travail ce qu'il a de meilleur en lui. D'un autre côté, chaque fois qu'une société, qu'une puissante fraction sociale, ou qu'un gouvernement de n'importe quelle forme dicte son œuvre à l'artiste, l'art se perd entièrement, se stéréotype, ou dégénère en une basse et ignoble forme de métier. Une œuvre d'art est le résultat spécial d'un tempérament unique. Ses facultés s'affirment parce que l'auteur est ce qu'il est. Elle ne s'inquiète aucunement des autres. Dès que l'artiste considère ce que les autres désirent, et s'efforce de répondre à leur demande, il cesse d'être un artiste et devient un obscur ou ridicule artisan, un honnête ou malhonnête commerçant. Il n'a plus de droit à être considéré comme un artiste. L'art est le mode d'individualisme le plus intense que le monde ait connu. J'incline à dire qu'il en est le seul réel. Le crime, qui dans certaines conditions peut sembler créateur d'individualisme, doit nécessairement se préoccuper d'autrui. Il appartient à la sphère de l'action. Mais seul, sans s'en référer à ses voisins, sans aucune intervention, l'artiste peut modeler une belle chose; et s'il ne le fait pas solitairement pour son plaisir personnel, il n'est pas un artiste.

Il faut noter également que l'art, intense forme d'individualisme, pousse le public à exercer sur lui un contrôle autoritaire aussi immoral que ridicule et aussi corrupteur que méprisable. Ce n'est point de sa faute. Le public a toujours et de tous temps été mal éduqué. Il a continuellement

demandé à l'art d'être populaire, de satisfaire son goût, de flatter ses absurdes vanités, de redire des choses trop connues, de montrer des choses trop vues, d'amuser aux heures lourdes de la digestion, et de distraire les pensées lorsqu'elles se lassent de leur propre stérilité. Or l'art ne doit jamais chercher la popularité. Le public doit essayer de se rendre lui-même artistique. Il y a là une énorme différence. Si on disait au savant que les résultats de ses expériences ne bouleverseront pas les notions courantes, ne dérangeront pas les préjugés populaires, ni ne heurteront la sensibilité des gens qui ne connaissent rien à leur sujet; si on disait au philosophe que ses spéculations les plus hautes ne se justifient que parce qu'elles aboutissent à des conclusions identiques à celles de ceux qui n'ont jamais pensé, certes, de nos jours, le savant et le philosophe s'en amuseraient considérablement. Il y a pourtant fort peu d'années, la philosophie et la science étaient également soumises au brutal pouvoir populaire, à l'autorité de l'ignorance générale des gens, ou au terrible besoin de puissance d'une classe ecclésiastique ou dirigeante. Il est vrai que nous avons pu, dans une très grande mesure, nous débarrasser de toute tentative d'intervention de la part de la société, de l'église ou du gouvernement, dans l'expression originale de la pensée spéculative, mais l'effort pour porter atteinte à l'individualisme imaginatif de l'art subsiste encore. En réalité, cette tentative fait mieux que subsister; elle est offensive, agressive et brutale.

En Angleterre, les arts qui y ont le mieux échappé sont ceux pour lesquels le public n'a aucun intérêt. La poésie en est un exemple. Nous avons eu de la belle poésie en Angleterre, parce que le public ne l'a point lue et en conséquence ne l'a point influencée. Le public aime à outrager le poète, car celui-ci est un individuel, mais une fois qu'il l'a insulté, il le laisse en paix. Quant au roman et au drame, arts dans lesquels le public trouve plus d'intérêt, le résultat du pouvoir populaire a été absolument ridicule. Aucun pays ne produit de si mauvais romans, de si fastidieuses nouvelles, de si imbéciles et vulgaires pièces de théâtre que l'Angleterre. Il doit fatallement en être ainsi. Le critérium populaire est tel qu'aucun artiste ne peut y arriver. Il est à la fois trop facile et trop difficile d'être un romancier populaire. C'est trop facile, car les exigences du public quant au scénario, au style, à la psychologie, à l'observation des mœurs, à la littérature, sont à la portée de la moindre capacité et de la pensée la moins cultivée. C'est trop difficile, car pour satisfaire à toutes ces exigences, l'artiste doit faire violence à son tempérament et écrire non pas pour le plaisir artistique, mais pour l'amusement d'un peuple à demi éduqué, ce qui l'amène à contenir son individualisme, à oublier sa culture, à annihiler son style et à abandonner tout ce qui a quelque valeur en lui.

Pour le drame, les conditions sont un peu meilleures. Le public du théâtre aime ce qui est banal, c'est vrai; mais il n'aime pas ce qui est ennuyeux, et le vaudeville et la farce, les deux formes du théâtre populaire sont d'un art spécial. Des œuvres charmantes peuvent être produites dans des conditions burlesques, et dans les travaux de ce genre, l'artiste en Angleterre peut se permettre de grandes libertés. C'est aux plus hautes sphères du drame, que le contrôle populaire s'observe. La seule chose que le public n'aime point, c'est la nouveauté. Pour lui, tout essai d'extension du sujet en matière d'art est désastreux; et cependant, le progrès et la vitalité de l'art dépendent pour une grande partie, de l'extension incessante des sujets. Le public réprouve la nouveauté, parce qu'il s'en effraie. Elle représente pour lui une manière d'individualisme; l'assertion de la part de l'artiste, qu'il choisit son propre sujet et le traite à sa façon. Le public a parfaitement le droit de prendre cette attitude. L'art est l'individualisme et l'individualisme est une force qui trouble et qui divise. Mais en lui, gît une immense valeur. Car ce qu'il cherche à détruire, est la monotonie du type, l'esclavage de la coutume, la tyrannie de l'habitude, et l'abaissement de l'homme au niveau d'une machine. En art, le public accepte le passé, non point parce qu'il l'apprécie, mais parce qu'il ne peut l'altérer. Il avale ses classiques et ne les goûte jamais. Il les endure comme une chose inévitable, et comme il ne peut les corrompre, il les préconise. Etrange ou non, cette exaltation des classiques fait beaucoup de tort. L'admiration intégrale de la Bible et de Shakespeare en Angleterre en est un exemple. Concernant la Bible trop de considérations d'autorité ecclésiastique entrent en ligne de compte, de sorte que je n'aurai pas à en parler.

Mais dans le cas de Shakespeare, il est clair que le public ne découvre ni les beautés ni les fautes de ses pièces. S'il en voyait les beautés, il ne critiquerait pas le développement du drame; s'il en voyait les fautes, il ne le critiquerait non plus. En réalité le public apprécie les progrès de l'art à la mesure de ses classiques. Il dégrade ceux-ci en les convertissant en autorités. Il les utilise comme assommoir pour empêcher la libre expression de la beauté sous de nouvelles formes. Il demande toujours à l'écrivain ou au peintre, pourquoi il n'écrit ou ne peint pas comme quelqu'un d'autre, en oubliant que si l'un d'eux faisait quelque chose de pareil, il cesserait d'être un artiste. Une forme nouvelle de la beauté lui est absolument antipathique, et quand elle apparaît, il entre dans une telle colère, qu'il profère toujours de stupides paroles – tantôt que l'œuvre d'art est grossièrement inintelligible, tantôt qu'elle est grossièrement immorale. Ce qu'il entend par là, de toute évidence, signifie ceci: s'il traite l'œuvre de grossièrement inintelligible, c'est que

l'artiste a fait et pensé une belle chose qui est neuve; s'il la décrit grossièrement immorale, c'est que l'artiste a dit ou rendu une belle chose qui est vraie. La première expression se rapporte au style; la seconde au sujet. Mais il fait usage de ces termes comme une ordinaire canaille, emploie des pavés. Il n'est pas un seul poète ou prosateur de ce siècle auquel le public anglais n'ait solennellement décerné un brevet d'immoralité, et ces brevets remplacent pratiquement chez nous, les jugements cérémonieux de l'Académie en France, ce qui rend heureusement en Angleterre, une telle institution parfaitement inutile. Naturellement, le public est peu soucieux de l'emploi exact de ces mots. Il était écrit qu'il traiterait Wordsworth de poète immoral. Wordsworth était un poète. Cependant qu'il ait appelé Charles Kingsley un romancier immoral, est extraordinaire, car la prose de Kingsley n'était pas belle. Mais qu'importe, le mot existe et lui semble le plus juste. Certes, aucun artiste ne s'en émeut. Le vrai artiste est un homme qui croit entièrement en lui, car il est absolument lui-même. Mais en imaginant qu'un artiste produise une œuvre d'art en Angleterre et que celle-ci à son apparition soit reconnue par le public, c'est-à-dire par la presse, son médium, comme une œuvre parfaitement intelligible et hautement morale, il s'agirait de savoir si l'auteur a réellement été lui-même et si son travail n'est point indigne de lui, de second ordre, ou artistiquement mauvais.

Peut-être cependant ai-je médit du public, en limitant sa critique à des mots tels que «immoral» «inintelligible» «exotique» et «malsain». Il est un autre mot qu'il emploie, c'est: «morbide». Il ne l'emploie pas souvent. La signification du mot est si simple qu'il craint de l'employer. Cependant il s'en sert parfois, et, de-ci de-là, on le rencontre dans les journaux populaires. C'est naturellement un mot ridicule à appliquer à une œuvre d'art. Car, qu'est-ce que la morbidesse, sinon un mode d'émotion ou de pensée que l'on ne peut exprimer? Le public entier est morbide, car il ne peut jamais découvrir d'expression pour quoique se soit. L'artiste n'est jamais morbide. Il exprime toute chose. Il reste en dehors de son sujet, et, à travers son médium, produit d'incomparables et d'artistiques effets. Dire d'un artiste qu'il est morbide, parce qu'il use de morbidesse dans ses sujets, est aussi ridicule que si on disait que Shakespeare était fou, parce qu'il écrivit le *Roi Lear*.

En un mot, en Angleterre, un artiste gagne à être attaqué. Son individualité s'intensifie. Il se réalise plus complètement. Certes, les attaques sont très grossières, très impertinentes, très méprisantes. Mais aucun artiste n'attend de grâce de la pensée vulgaire, et du style des cerveaux suburbains. La vulgarité et la stupidité sont naturelles dans la vie moderne. On le regrette, bien entendu. Mais elles sont. Elles forment

matière à une étude comme toute autre chose. Seulement il est intéressant de remarquer, concernant les journalistes modernes, qu'ils s'excusent toujours en privé, auprès de ceux dont ils ont médit en public.

Dans ces dernières années, deux nouveaux adjectifs ont augmenté le vocabulaire restreint du public. L'un est le mot «malsain», l'autre, «exotique». Ce dernier exprime quelque chose comme la rage du champignon momentané, contre l'immortelle, ravissante et exquise orchidée. C'est un tribut sans importance. Le mot «malsain» lui, mérite une analyse. C'est plutôt un mot intéressant. En réalité, il est si intéressant que les gens qui l'utilisent ne savent eux-mêmes ce qu'il veut dire.

Que signifie-t-il? Quelle différence y a-t-il entre une œuvre saine et une œuvre malsaine? Tous les termes qu'on peut appliquer à une œuvre d'art, pourvu qu'ils s'emploient rationnellement ont trait soit au sujet, soit au style, soit à tous les deux. Au point de vue du style, une saine œuvre d'art révèle la beauté de ses matériaux, que ce soient des mots, du bronze de la couleur ou de l'ivoire, et utilise cette beauté comme facteur esthétique. Au point de vue du sujet, une saine œuvre d'art est celle dont le sujet choisi est conditionné par le tempérament de l'artiste et relève directement de lui-même. Enfin, une saine œuvre d'art est celle qui a, en même temps, de la perfection, et de la personnalité. Naturellement, la forme et la substance sont inséparables, elles sont toujours indivisibles. Mais pour l'analyse, en écartant momentanément l'impression esthétique intégrale, il nous est loisible de les séparer. D'un autre côté, une œuvre d'art est malsaine quand son style est trivial, commun, de vieille mode et quand le sujet est délibérément choisi, non point pour le plaisir de l'artiste, mais seulement pour le bénéfice matériel qu'il peut lui rapporter. En réalité, le roman populaire que le public apprécie, est toujours une production malsaine, et ce que le public appelle un roman malsain, est toujours une œuvre belle, saine et artistique.

Il me semble inutile de dire que je ne me plains nullement de cet emploi erroné des mots critiques par le public et la presse. Je ne vois pas comment, avec leur fausse conception de l'art, ceux-ci pourraient faire autrement. Je note seulement leur fausse application; quant à l'origine et à la signification de celle-ci, l'explication est fort simple. Elle provient de l'étrange conception de l'autorité. Elle provient de cette inaptitude naturelle pour une société corrompue par son autorité, de comprendre, ou d'apprécier l'individualisme. En un mot, elle provient de cette chose monstrueuse et ignorante, qu'on nomme l'opinion publique, et qui, mauvaise ou indulgente lorsqu'elle s'efforce de contrôler l'action, est infâme et néfaste, quand elle contrôle la pensée et l'art.

Certes il y a bien plus à dire en faveur de la puissance physique du public, qu'en faveur de ses opinions. La première peut être belle, la dernière doit être vaine. On a souvent dit que la force n'était pas un argument. Cela dépend entièrement de ce qu'on veut prouver. Beaucoup des plus importants problèmes de ces derniers siècles, tels que le maintien de la monarchie absolue en Angleterre ou de la féodalité en France, ont été entièrement résolus par l'intervention de la force physique. La violence d'une révolution peut rendre le public momentanément grandiose. Le jour où le public découvrit que la plume est plus puissante que le pavé, et, peut-être aussi offensive qu'un morceau de brique, fut fatal. Il découvrit de suite le journaliste, le développa, et en fit un serviteur industriels et bien rétribué. De chaque côté, ce fut chose regrettable. Il peut y avoir beaucoup de noblesse et d'héroïsme derrière une barricade. Mais derrière l'article de fond, y a-t-il autre chose que nuisance, stupidité, hypocrisie et bavardage? Et quand ces quatre qualités s'assemblent, elles forment une terrible force et constituent la nouvelle autorité.

Dans le passé, les hommes établirent la torture. A présent ils ont la presse. C'est là certainement une amélioration. Mais quand même, elle est mauvaise, fausse et démoralisante. Quelqu'un, — était-ce Burke? — appela le journalisme, le quatrième état. C'était juste en son temps. Mais à présent, c'est réellement le seul état. Il a dévoré les trois autres. La noblesse hérititaire et séculaire ne dit rien, les hauts dignitaires ecclésiastiques n'ont rien à dire, et la Maison des Communes n'a rien à dire et le proclame. Nous sommes dominés par le journalisme. En Amérique, le président règne quatre ans, et le journalisme gouverne toujours et pour toujours. Heureusement, le journalisme d'Amérique a conduit son autorité aux extrêmes les plus grossiers et les plus brutaux. En conséquence, il a créé un esprit de révolte. Les gens s'en amusent ou s'en dégoûtent, selon les tempéraments. Mais il ne représente plus cette force réelle qu'il était. Il n'est plus pris au sérieux. En Angleterre, le journalisme n'ayant été que très exceptionnellement mené à de tels excès, reste encore un grand facteur, une remarquable puissance. La tyrannie qu'il se propose d'exercer sur la vie privée des gens, me semble tout à fait extraordinaire. En réalité, le public nourrit une inlassable curiosité de tout ce qui est vain. Conscient de cela, le journalisme ayant des allures de commerçant, satisfait aux demandes. Aux siècles passés, le populaire clouait par les oreilles, les gazettiers au pilori. C'était tout à fait hideux. A présent les journalistes ont cloué leurs oreilles aux trous des serrures. C'est pire. Ce qui aggrave encore le dommage, c'est que les journalistes qui sont les plus blâmables, ne sont pas les amuseurs qui écrivent pour les

journaux mondains. Le tort est causé par de sérieux et profonds journalistes, qui solennellement draguent, pour le public, certains incidents de la vie privée d'un grand homme d'Etat, d'un conducteur d'intelligences ou de forces politiques; invitent les gens à les discuter; à jouer un rôle; à donner sur eux leur opinion, et encore à les résoudre en acte; à dicter à l'intéressé sa conduite; à imposer celle-ci à son parti et à sa contrée; en fait, à se rendre ridicules, offensifs et malfaisants. Les vies privées ne doivent pas être livrées au public. Le public n'a rien à y voir.

En France, les choses se présentent mieux. Le détail des jugements de la cour des divorces n'est pas livré aux plaisanteries et aux sarcasmes. Tout ce qu'on en publie, c'est que le divorce est agréé sur la demande de l'une ou l'autre, ou des deux parties. En France, on limite le journaliste, et on libère l'artiste. Ici, on libère entièrement le journaliste, et on entrave l'artiste. L'opinion publique en Angleterre s'efforce de contraindre, d'empêcher et de tourmenter l'homme qui fait des choses qui sont belles, et amener le journaliste à débiter des choses qui sont laides, immondes et révoltantes, de façon qu'en ayant les plus sérieux journalistes du monde, nous avons les journaux les plus indécents. On n'exagère pas en parlant de contrainte. Il y a certes des journalistes qui prennent plaisir à publier d'horribles choses, ou qui, étant pauvres, considèrent le scandale comme une source de permanent revenu. Mais il y en a d'autres, j'en suis certain, des hommes d'éducation et de culture, qui réellement désapprouvent ces expédients, qui savent combien c'est mauvais de faire ces choses, et qui les font parce que les conditions malsaines de leur métier les obligent à livrer au public ce qu'il demande et à rivaliser avec d'autres journalistes, en rendant leur rubrique aussi fournie et aussi satisfaisante que possible pour le grossier appétit populaire. Pour un homme éduqué, c'est là une obligation dégradante, et je ne doute point que beaucoup d'entre eux ne le sentent avec acuité.

Mais quittons cette misérable partie du sujet, et retournons à la question du contrôle populaire en matière d'art, c'est-à-dire, l'opinion publique dictant à l'artiste la forme qu'il doit produire, la manière par laquelle il doit y arriver, et les matériaux avec lesquels il doit travailler. J'ai déjà dit que les arts qui en Angleterre y ont le plus échappé, sont ceux auxquels le public ne s'est pas intéressé. Il s'est cependant intéressé au drame, et, comme un certain progrès s'y est produit durant ces derniers dix ou quinze ans, il est important de signaler que ce progrès est entièrement dû à quelques artistes individuels qui ont réprouvé le goût du populaire et refusé de voir dans les choses d'art, une application de la loi de l'offre et de la demande. Avec sa merveilleuse et vivace personnalité, un style qui renferme en lui sa seule valeur, et une extraordinaire

puissance, non seulement par la mimique, mais par la création imaginative et intellectuelle, M.Irving aurait pu, en répondant aux demandes du public, produire les pièces les plus populaires de la façon la plus commune, et en faire autant de succès et d'argent que possible. Mais tel ne fut point son objet. Son but était la réalisation de sa propre perfection, comme artiste, dans certaines conditions et formes d'art. Dès l'abord, il s'adressa au petit nombre; à présent il a éduqué la masse. Il a créé le goût et le tempérament du public. Le public apprécie immensément ses succès artistiques. Je me demande souvent, si le public s'est rendu compte que ce succès est entièrement dû à ce qu l'artiste n'accepta aucun enseignement, mais réalisa son propre point de vue. S'il ne l'avait fait, le *Lycéum* eut été une sorte de baraque de second rang, tel que le sont certains des théâtres populaires londoniens d'à présent. Qu'il l'ait compris ou non, il n'en reste pas moins avéré que le goût et le tempérament se sont, d'une certaine façon, éveillés dans le public, et que celui-ci se trouve capable de développer ces qualités. Mais alors, pourquoi le public ne se civilise-t-il pas? Il en a la faculté. Qu'est-ce qui l'arrête?

Ce qui l'arrête, on doit le répéter, c'est son désir d'exercer un contrôle sur l'artiste et sur l'œuvre d'art. Pour certains théâtres, tels que le *Lycéum* et le *Haymarket*, le public s'est amélioré. Dans chacun d'eux, il y eut des artistes individuels qui réussirent à créer dans leurs auditoires, – et chaque théâtre à Londres a son propre auditoire – la qualité requise par leur art. Et quelle est cette qualité? C'est la réceptivité. Rien que cela.

Si un homme s'approche d'une œuvre d'art, avec le désir d'exercer son contrôle sur elle, et sur l'artiste qui l'a conçue, il s'en approche, dans un tel esprit qu'il ne peut en retirer aucune impression artistique. L'œuvre d'art est faite pour dominer le spectateur; celui-ci ne domine pas l'œuvre d'art. Le spectateur doit être réceptif. Il est le violon sur lequel le maître doit jouer. Et, plus il supprimera ses vues niaises, ses préventions ridicules, ses idées absurdes sur ce que l'art doit ou ne doit pas être, plus il comprendra et appréciera l'œuvre en question. Ceci est évident dans le cas d'un public vulgaire de théâtre anglais. Mais c'est également vrai de ceux qu'on nomme les gens cultivés. Car les idées artistiques chez une personne éduquée sont tirées naturellement de ce que l'art a été, tandis que l'œuvre d'art nouvelle est belle d'être ce que l'art n'a jamais été; l'apprécier à la mesure du passé, c'est la juger à un point de vue du rejet duquel, sa réelle perfection dépend. Un tempérament capable de recevoir, par un moyen imaginatif et dans des conditions imaginatives, des impressions neuves et belles, est le seul tempérament capable de comprendre une œuvre d'art. Et si cela est vrai pour les appréciations de la peinture et de la sculpture, c'est encore plus évident

pour un art tel que le drame. Car une peinture ou une sculpture n'entre pas en lutte avec le temps. Elle ne tient aucun compte de la succession de celui-ci. Son unité se prévoit instantanément. En littérature c'est différent. Le temps s'enfuit avant que l'unité de l'effet ne se réalise. C'est ainsi que dans le drame il peut se produire au premier acte, quelque fait, dont la valeur artistique ne s'affirme, pour le spectateur, qu'au cours des troisième ou quatrième. Le nigaud doit-il s'impatienter, crier, déranger la pièce et troubler les artistes? Non. L'homme honnête, qui s'assied tranquille, connaît les délicieuses émotions d'admiration, de curiosité et d'incertitude. Il ne va pas au théâtre pour perdre un tempérament vulgaire. Il y va pour réaliser un tempérament artistique. Il y va pour gagner un tempérament artistique. Il ne juge pas l'œuvre d'art. Il est admis à la contempler, et, si l'œuvre est belle, à oublier dans sa contemplation, l'égoïsme qui le trouble, – l'égoïsme de son ignorance ou celui de son savoir. Ce point de vue, concernant le drame n'est point suffisamment reconnu. Je suis certain que si *Macheth* était représenté pour la première fois aujourd'hui, devant un public londonien, bien des spectateurs protesteraient bruyamment et violemment contre le prélude des sorcières, leurs phrases grotesques et leurs mots ridicules. Ce n'est que lorsque la pièce est finie, qu'on reconnaît que le rire des sorcières de *Macbeth* est aussi terrible que celui de la folie de Lear, et plus terrible que le rire d'Iago dans la tragédie du Maure. D'aucun amateur d'art, il n'est exigé plus de réceptivité que du spectateur d'une pièce. Dès qu'il cherche à exercer un contrôle, il devient l'ennemi avoué de l'art et de lui-même. L'art s'en moque. Le spectateur seul en souffre.

Pour le roman c'est la même chose. L'autorité populaire et sa prise en considération sont fatales. *L'Esmond* de Thackeray est une belle œuvre d'art, parce que celui-ci l'écrivit pour se plaire à lui-même. Dans ses autres romans, *Pendennis*, *Philip* et même *Vanity Fair*, l'auteur gâte son œuvre en se montrant trop attentif au public, en raillant celui-ci, ou, à certains passages, en faisant directement appel à ses sympathies. Un véritable artiste, quoiqu'il fasse, ne s'inquiète jamais du public. Pour lui, celui-ci est inexistant. Il n'a point de gâteaux de pavot ou de miel, pour donner au monstre sommeil ou nourriture. Il abandonne cela au romancier populaire. Nous avons à présent en Angleterre un incomparable écrivain; c'est M. George Meredith. Il y a certes de meilleurs artistes en France, mais aucun d'eux ne possède un sens de la vie aussi large, aussi varié, aussi imaginativement exact. Il y a, en Russie, des conteurs qui adaptent plus parfaitement au roman, le sens de la pitié. Mais la philosophie de la fiction nous vient de Meredith. Non seulement ses personnages vivent, mais ils vivent en pensée. On peut les envisager

d'une infinité de points de vue. Ils sont suggestifs. Il y a de l'âme en eux et autour d'eux. Ils sont interprétatifs et symboliques. Et celui qui les imagina, ces intenses et vivantes figures, les fit pour son propre plaisir; il n'emprunta jamais aux goûts du public, ne s'informa jamais de ses exigences et ne lui permit jamais d'influencer ou de lui dicter son art, mais intensifia sa personnalité propre et poursuivit son œuvre individuellement. Dès l'abord, nul ne vint à lui. Peu importait. Puis, quelques-uns vinrent à lui. Cela ne le fit point changer. A présent, la foule est venue. Il reste toujours le même. Il est un incomparable romancier.

Dans les arts décoratifs, ce n'est point différent. Le public s'attachait avec une ténacité vraiment pathétique, à ce que, je crois furent les traditions directes de la grande Exposition de vulgarité internationale, traditions si misérables, que les maisons d'habitation n'étaient décorées que pour donner asile à des aveugles. On commença à faire de belles choses; les belles nuances sortirent des mains du teinturier; les belles formes, du cerveau de l'artiste, et leur usage, leur valeur et leur importance furent reconnus. Le public s'indigna. Il perdit son sang-froid. Il proféra des choses stupides. Nul ne s'en émut. Elles ne firent de mal à personne. Nul n'accepta l'autorité de l'opinion publique. Et à présent, il est presque impossible de pénétrer dans une maison moderne, sans rencontrer certaines traces de bon goût, certaine reconnaissance de la nécessité des entourages aimables, certains signes d'une appréciation de la beauté. Réellement, les maisons sont aujourd'hui, en règle générale, tout à fait charmantes. Les gens se sont considérablement civilisés. Il est pourtant honnête d'établir que l'extraordinaire succès de cette révolution dans la décoration, l'ameublement et ce qui s'en suit, ne résulte certainement pas du goût développé par la majorité du public. Il est dû, principalement, à ce que les artisans eux-mêmes apprécierent le plaisir de faire de belles choses, et arrivèrent à une telle conscience de la laideur et de la vulgarité de ce que le public précédemment demandait, que simplement, il en privèrent le marché. Il serait à présent tout à fait impossible de meubler une chambre de la façon dont on l'ornait il y a quelques années, sans avoir recours aux ventes publiques des ameublements d'occasion, d'hôtels de troisième ordre. Ces choses ne se fabriquent plus. Même contre leur gré, les gens doivent aujourd'hui posséder quelque chose de charmant autour d'eux. Leur autorité en ces matières, fut, heureusement pour eux, absolument inefficace. Il est d'ailleurs évident que toute autorité en de tels domaines est mauvaise. On cherche parfois à savoir quelle forme de gouvernement serait le plus propice à l'artiste. A cette question, il n'y a qu'une réponse. La solution

la plus favorable à l'artiste est qu'il n'y ait pas du tout de gouvernement. L'autorité en art est ridicule. On a dit qu'à l'ombre du despotisme, des artistes ont produit de belles œuvres. Cela n'est pas absolument exact. Des artistes ont rendu visite aux despotes, non en esclaves, mais comme d'errants faiseurs de merveilles, comme de fascinants et personnels vagabonds, qui cherchaient un accueil aimable, la paix, et le loisir de créer. Il faut dire en faveur du despote, qu'il peut, étant un individuel, avoir quelque culture, alors que la foule, étant un monstre, n'en a pas. Celui qui est empereur et roi, pourra, en s'abaissant, ramasser la brosse d'un peintre, mais quand la foule se baisse, ce n'est que pour jeter de la boue. D'ailleurs la démocratie n'a pas à se courber aussi bas qu'un empereur. En réalité, quand elle veut jeter de la boue, elle n'a pas à se baisser du tout. Mais il n'y a aucune nécessité à séparer le monarque de la populace; toute autorité est également mauvaise.

Il y a trois sortes de despotes. Il y a le despote qui tyrannise le corps; celui qui tyrannise l'âme, et celui qui tyrannise l'âme et le corps. Le premier s'appelle le prince. Le second, le pape. Le troisième, c'est le peuple. Le premier peut être intelligent. Bien des princes l'ont été. Pourtant le prince est dangereux. On pense au Dante de l'amère fête de Vérone, au Tasse du cabanon de Ferrare. Il est meilleur pour l'artiste de ne point vivre avec le prince. Le pape peut être intelligent. Bien des papes l'ont été; les mauvais papes surtout. Les mauvais papes ont aimé la beauté aussi passionnément, ou plutôt, avec autant de passion que les bons en ont apporté à haïr la pensée. L'humanité est en dette envers la méchanceté papale. La bonté papale est en dette envers l'humanité. Et quoique le Vatican ait conservé la rhétorique de ses foudres tout en perdant l'éclat de ses lumières, il est meilleur pour l'artiste de ne point vivre avec les papes. C'est un pape qui disait au conclave en parlant de Cellini, que les lois communes et les contrôles usuels n'étaient pas faits pour de tels hommes; mais ce fut un pape, de même, qui l'emprisonna, le retint enfermé jusqu'à ce que, malade de rage, et de visions irréelles, il s'éprit du grand soleil doré de ses folies, s'enfuit, grimpa de tours en clochetons et, glissant dans l'espace vertigineux, s'estropia, fut couvert de feuilles par un vigneron puis conduit dans une charrette à quelqu'un qui aimait les belles choses, et qui le soigna. Les papes sont dangereux. Quant au peuple et son autorité? Peut-être en a-t-on trop parlé. L'autorité du peuple est aveugle, sourde, hideuse, grotesque, tragique, amusante, sérieuse et obscène. Il est impossible pour l'artiste de vivre avec le peuple. Tous les despotes corrompent. Le peuple corrompt et brutalise. Qui donc lui a dit d'exercer sa puissance? Il est fait pour vivre, pour écouter et pour aimer. Quelqu'un lui causa un grand mal. Il s'est corrompu en imitant ses supérieurs. Il a

pris le sceptre du prince. Comment pourrait-il s'en servir? Il a pris la triple tiare du pape. Comment pourrait-il en supporter le fardeau? Il est comme un clown qui aurait eu le cœur brisé. Il est comme un prêtre dont l'âme ne serait point née. Que tous ceux qui aiment la beauté le plaignent, et quoiqu'il ne l'aime pas, cette beauté, laissons le pourtant se plaindre lui-même. Qui donc lui enseigna les ruses de la tyrannie?

Il est bien d'autres choses desquelles on peut parler. On peut dire combien la Renaissance fut grande, parce qu'elle ne chercha à résoudre aucun problème social, et ne s'occupa point de tels sujets, mais parce qu'elle laissa l'individu se développer librement, largement, naturellement, et eut, de cette façon, de grands artistes et de grands hommes personnels. On peut dire combien Louis XIV, en créant l'Etat moderne, détruisit l'individualisme de la pensée, rendit les choses monstrueuses dans leur monotonie, méprisables dans leur conformité et annihila, par toute la France, cette belle liberté d'expression qui avait tiré des traditions une nouvelle beauté, et des formes antiques une nouvelle mode. Mais le passé est sans importance. Le présent est sans importance. C'est avec le futur que nous avons à compter. Car le passé est ce que l'homme n'aurait pas dû être. Le présent, ce que l'homme ne devrait pas être. Le futur, est ce que sont les artistes.

On objectera certainement, que le programme tel qu'il se présente ici, est impraticable et anti-humain. C'est exact. Il est impraticable et va contre la nature humaine. C'est pourquoi il vaut la peine d'être expérimenté, et pourquoi on le propose. Car, qu'est-ce qu'un projet pratique? Un projet pratique, c'est celui dont la réalisation existe, ou bien, celui qui peut s'accomplir dans des conditions déjà existantes. Or c'est justement ces conditions existantes qu'on critique, et tout programme qui les admet est mauvais et insensé. Ces conditions disparaîtront et la nature humaine changera. La seule chose que vraiment on connaît de la nature humaine, c'est qu'elle se transforme. Le changement est le seul état dans lequel on peut la prévoir. Les systèmes qui font faillite sont ceux qui reposent sur la permanence de la nature humaine et point sur sa croissance et son développement. L'erreur de Louis XIV fut de penser que la nature humaine sera toujours identique. Le résultat de cette erreur fut la Révolution Française. Ce fut un résultat admirable. Tout ce qui résulte de fautes gouvernementales est admirable.

Il faut remarquer, de même, que l'individualisme ne se présente pas à l'homme en ce qui concerne le devoir, avec une hypocrite exagération, qui simplement signifierait que l'on doit faire ce dont d'autres ont besoin, parce qu'ils en ont besoin; ou avec un rigorisme hideux, concernant le sacrifice de soi-même, qui représente uniquement

la survie de la mutilation chez les sauvages. En réalité, il se présente à l'homme, sans aucune revendication envers lui-même. Il s'impose naturellement et inévitablement en dehors de toute considération humaine. Il est le but de tout développement. Il est la différentiation à laquelle tend tout organisme. Il est la perfection particulière à toute forme de la vie et vers laquelle toute forme de vie se précipite. C'est pourquoi, l'individualisme n'exerce aucune contrainte sur l'homme. Il lui enseigne, au contraire, à rejeter toute contrainte. Il ne force personne à être bon. Il sait que les gens sont bons quand on les laissent en paix. C'est de lui-même, que l'homme développera l'individualisme. C'est ainsi qu'il le développe à présent. Aussi, chercher à savoir si l'individualisme est praticable, c'est comme si on demandait si l'évolution l'est de même. L'évolution est la loi de la vie, et elle ne se produit que vers l'individualisme. Là où cette tendance ne s'exprime point, est un arrêt artificiel, un cas de maladie ou de mort.

L'individualisme sera simple et désintéressé. On a vu qu'un des résultats de l'extraordinaire tyrannie de l'autorité est que certains mots ont été faussés de leur signification propre et ont pris un sens totalement opposé. Ce qui est vrai de l'art est vrai de la vie. On dit actuellement d'un homme, qu'il a de l'affection, quand il s'habille selon ses goûts. Mais, ce faisant, il fait preuve d'un naturel parfait. L'affection, dans ce cas-là, consiste à s'habiller selon les vues de son voisin, qui, étant celle de la majorité, sont probablement extrêmement stupides. Ou bien, on dit d'un homme qu'il est égoïste, lorsqu'il vit de la façon la plus conforme à l'entier développement de sa propre personnalité; lorsqu'il en fait le but principal de sa vie. Telle est pourtant, la façon par laquelle chacun devrait vivre. On n'est pas égoïste de vivre comme on l'aime, mais bien, de contraindre les autres à vivre de la même façon. Le désintéressement n'intervient pas dans la vie d'autrui. L'égoïsme cherche toujours à créer autour de lui un type d'uniformité absolue. L'individualisme reconnaît une variété infinie de types, l'accepte, y acquiesce, y applaudit et s'en réjouit. Il n'est pas égoïste de penser pour soi. Un homme qui ne pense pour lui-même, ne pense pas du tout. Il est grossièrement égoïste de demander au voisin d'avoir les mêmes pensées et les mêmes opinions. Pourquoi les aurait-il ? S'il sait penser, il le fera probablement de façon différente. S'il ne sait, il est monstrueux d'exiger de sa part une pensée d'aucune sorte. Une rose rouge n'est pas égoïste parce qu'elle a voulu être rose rouge. Elle le serait horriblement, si elle attendait des autres fleurs du jardin, d'être des roses et d'être rouges. Avec l'individualisme les gens seront entièrement naturels et absolument désintéressés; ils sauront la signification des mots et les réaliseront dans le cours de leurs vies, libres

et belles. L'homme d'alors ne sera plus égoïste. Car l'égoïste est celui qui se réclame des autres, chose que l'individualisme réprouvera. Cela ne lui procurerait d'ailleurs aucune satisfaction. Quand l'homme aura réalisé son individualisme, il réalisera de même, la sympathie, et l'exercera librement, spontanément. Jusqu'à présent l'homme a rarement cultivé la sympathie. Il professe plutôt de la sympathie pour la douleur, et celle-là, n'en est pas la forme la plus élevée. Toute sympathie est belle, mais celle qui s'adresse à la souffrance l'est le moins. Elle est teintée d'égoïsme. Elle est apte à devenir morbide. Elle renferme une certaine terreur pour notre propre sécurité. Nous nous effrayons de ce que nous-mêmes pourrions ressembler au lépreux, à laveugle, et vivre sans soutien. Cette sympathie est également, curieusement limitée. On devrait sympathiser avec l'entièreté de la vie et non pas, seulement, avec ses blessures, ses maladies, mais avec ses joies, ses beautés, ses énergies, son indépendance et sa santé. La plus large sympathie est naturellement le sentiment le plus difficile. Elle requiert le plus de désintéressement. Chacun peut consoler les souffrances d'un ami, mais il faut une forte nature – celle, en effet, d'un vrai individualiste – pour sympathiser avec ses succès. Dans l'encombrement moderne des concurrences et des luttes, de telles sympathies sont rares; elles sont surtout étouffées par l'idéal immoral de l'uniformité du type, de la conformité à la règle, qui prévalent partout, et peut-être le plus en Angleterre.

On trouvera toujours de la sympathie pour la douleur. Elle est un des premiers instincts de l'homme. Les animaux individualistes, c'est-à-dire les plus élevés, la partagent avec nous. Mais on doit se souvenir que si la sympathie pour la joie intensifie la somme de plaisir dans le monde, celle pour la douleur ne diminue point la somme de peine. Elle peut fortifier contre le mal, mais celui-ci demeure. La sympathie pour la phthisie ne guérit point celle-ci; c'est la science qui le fait. Aussi dès que le socialisme aura résolu le problème de la pauvreté, et la science, celui de la maladie, le domaine du sentimentalisme diminuera et les sympathies humaines seront larges, saines et spontanées. L'homme jouira de la contemplation de la vie heureuse de ses semblables.

Car c'est par l'allégresse que l'individualisme futur se développera. Le Christ ne fit aucune tentative pour reconstruire la société, et, par conséquent, l'individualisme qu'il prêcha à l'homme ne put se réaliser que par la peine ou par la solitude. L'idéal que nous devons au Christ, est celui de l'homme qui entièrement, abandonne ses semblables ou bien qui absolument leur résiste. Mais l'homme est naturellement sociable. La Thébaïde elle-même, finit par se peupler. Et quoique le cénobite réalise sa personnalité, celle-ci est souvent très appauvrie. D'un

autre côté, cette vérité terrible, que la souffrance est une manière par laquelle l'homme peut se réaliser lui-même, exerce une fascination merveilleuse sur le monde. D'insipides prêcheurs et de pauvres penseurs, se plaignent souvent de ce que les hommes glorifient le plaisir. Et pourtant l'histoire du monde relate qu'il exulta rarement un idéal de joie et de beauté. La célébration de la souffrance a beaucoup plus souvent dominé le monde. Le Moyen-Age, avec ses saints, ses martyrs, ses tortures volontaires, ses blessures, ses balafres, ses flagellations, — le Moyen-Age est le vrai christianisme, et le Christ médiéval est le Christ réel. Lorsque la Renaissance se leva sur le monde, et avec elle, l'idéal nouveau de la beauté et de la joie de vivre, les hommes ne comprirent plus le Christ. L'art lui-même le démontre. Les peintres de la Renaissance représentent le Christ comme un petit enfant qui joue avec un autre dans un palais ou un jardin; qui repose dans les bras de sa mère, lui sourit, sourit à une fleur ou à un bel oiseau; ou bien, encore, ils le représentent par une noble et majestueuse figure, qui se meut à travers le monde, et merveilleusement s'élève en extase de la mort à la vie. Même crucifié, ils l'ont peint beau comme un dieu auquel de méchants hommes infligèrent la souffrance. Mais le Christ les préoccupa fort peu. Ce qui leur plaisait, était de peindre ces hommes et ces femmes qu'ils admiraient, et de montrer la beauté de la terre aimable. Ils firent beaucoup de peintures religieuses, — en réalité, beaucoup trop, car la monotonie du type et du sujet est ennuyeuse et néfaste à l'art. Ce fut le résultat déplorable de l'autorité du public en matière d'art. Mais l'âme des peintres n'était pas dans leurs sujets. Raphaël, lorsqu'il peignit le pape, était, un grand peintre. Quand il peignit ses madones et ses enfant-Jésus, il n'était plus du tout un grand artiste. Le Christ n'eut aucun message pour la Renaissance qui était merveilleuse en elle-même, parce qu'elle apportait un idéal différent du sien, aussi, devons-nous en référer à l'art du Moyen-Age, pour découvrir le Christ réel. Nous l'y trouverons estropié et corrompu; il sera disgracieux, parce que la beauté est une joie; il sera mal vêtu; il sera un lépreux dont l'âme est divine; il ne voudra ni fortune ni biens; il sera dieu et réalisera sa propre perfection à travers la douleur.

Lente est l'évolution de l'homme. Grande est son injustice. Il était nécessaire que la souffrance devienne un mode de réalisation de soi-même. Le message du Christ est, même à présent, nécessaire encore dans certains endroits du monde. Ceux qui ont vécu dans la Russie moderne, n'ont pu réaliser leur perfection sans souffrir. Quelques artistes russes, se sont réalisés en art, par une fiction qui a un caractère médiéval, parce que la note qui y domine, est la réalisation des hommes par la souffrance.

Mais pour ceux qui ne sont pas des artistes et pour lesquels il n'y a pas de mode de vie autre que celui qui relève de l'existence actuelle des faits, la peine est la seule issue qui conduise à la perfection. Un Russe qui vivrait heureux sous le système actuel de son gouvernement, devrait croire que l'homme n'a point d'âme, ou que s'il en a une, celle-ci ne mérite aucun développement. Un nihiliste qui réprouve toute autorité, car il sait que celle-ci est néfaste, et qui accueille toute peine, parce qu'il réalise par elle sa personnalité, est un chrétien réel. Pour lui l'idéal chrétien est une chose vraie.

Et pourtant, le Christ ne s'est point révolté contre l'autorité. Il accepta le contrôle impérial de l'Empire Romain et paya ses impôts. Il endura le contrôle ecclésiastique de l'Eglise Juive et ne voulut point répondre à ses violences, par d'autres violences. Il n'eut, comme je l'ai dit, aucun plan de reconstitution sociale. Mais le monde moderne en a. Il se propose d'abolir la pauvreté et les souffrances que celle-ci engendre. Il se confie au socialisme, à la science et à leurs méthodes. Son but est un individualisme qui s'exprimerait par la joie. Cet individualisme sera plus étendu, plus profond, plus aimable qu'aucun de ceux qui furent jamais. La souffrance n'est point le mode ultime de la perfection. Elle est plutôt provisoire et protestataire. Elle a rapport à des conditions injustes et malsaines. Dès que la fausseté, l'injustice et la maladie auront disparu, il n'y aura plus de place pour elle. Elle aura terminé sa besogne. Celle-ci fut grande; mais elle est presque finie. Sa sphère d'action diminue chaque jour.

L'homme ne manquera point sa voie. Ce qu'il a cherché n'est certes point la peine ou le plaisir, mais simplement la vie. Il a cherché à vivre intensément, profondément, parfaitement. Dès qu'il pourra le faire sans exercer de contrainte sur autrui et sans en souffrir lui-même, – et toutes ses activités lui seront agréables – il sera plus sain, plus robuste, plus civilisé, plus personnel. Le plaisir est le propre de la nature, le signe de son approbation. Quand un homme est heureux, il est en harmonie avec lui-même et avec son entourage. Le nouvel individualisme, au service duquel le socialisme agit de gré ou de force, sera la parfaite harmonie. Il sera ce que les Grecs ont cherché à réaliser, sans l'atteindre complètement, excepté en pensée, car ils eurent des esclaves qu'ils nourrissaient. Il sera ce que la Renaissance a cherché à réaliser sans complètement y parvenir, excepté en art, parce qu'elle eut des esclaves qu'elle affamait. Il sera complet, et par lui, chaque homme atteindra sa perfection. Le nouvel individualisme est le nouvel hellénisme.

1906

Oscar Wilde
DIE SEELE DES MENSCHEN

(übersetzt von Paul Wertheimer)

Der Hauptvorzug, den die Herrschaft der sozialistischen Gesellschaftsordnung mit sich brächte, wäre ohne Zweifel, daß der Sozialismus uns von der gemeinen Nötigung, für andere zu leben, befreien würde, die bei der gegenwärtigen Einrichtung der Gesellschaft so schwer auf fast allen lastet. Es ist in der Tat kaum einer, der sich diesem Zwang zu entziehen vermag.

Dann und wann im Verlaufe des Jahrhunderts hat ein großer Naturforscher wie Darwin, ein großer Dichter wie Keats, ein feiner kritischer Kopf wie Renan, ein überlegener Künstler wie Flaubert es zuwege gebracht, sich so zu isolieren, sich außerhalb der lärmenden Ansprüche der anderen zu stellen, „unter dem Schutze der Mauer zu stehen“, wie Plato sagt, und solcher Art die ihm erreichbare Stufe der Selbstvollendung zu erklimmen – zu seinem eigenen unvergleichlich großen Gewinn und zu dem unvergleichlich großen, dauernden Gewinn der ganzen Welt. Das sind aber nur Ausnahmen. Die meisten Menschen verderben ihr Leben durch einen gewissen ungesunden, übertriebenen Altruismus – sind in der Tat genötigt, es so zu verderben. Sie sehen sich umgeben von scheußlicher Armut, von scheußlicher Häßlichkeit, von scheußlichem Hunger. Wie sollte nicht durch dies alles ihr Empfinden erschüttert werden? Die Empfindungen des Menschen werden rascher erregt, als sein Verstand; es ist, wie ich jüngst in einem Artikel über das Wesen der Kritik ausgeführt habe, weit leichter, Mitgefühl mit Leiden zu hegen, als Gedanken zu lieben. So tritt man naturgemäß in bewundernswerter, doch irre geleiteter Absicht sehr ernsthaft und sehr sentimental an die Aufgabe heran, die Übel ringsum zu heilen. Aber die Heilmittel heilen die Krankheit nicht: sie verlängern sie bloß. Ja, die Heilmittel sind ein Teil der Krankheit selbst.

Man versucht gegenwärtig das Problem der Armut dadurch zu lösen, daß man die Armen am Leben erhält oder – so will es eine sehr vorgeschriftene Schule – sie amüsiert.

Aber dies ist keine Lösung, sondern nur eine Verschlummerung der Schwierigkeit. Das wahre Ziel ist, die Gesellschaft auf einer Grundlage neu aufzurichten, welche die Armut ausschließt. Und die altruistischen Tugenden haben wirklich die Erreichung dieses Ziels zu verhindern gewußt. Gerade wie die ärgsten Sklavenhalter diejenigen waren, die ihre Sklaven mit Güte behandelten und so zu verhindern wußten, daß die Greuel des Systems von denen die darunter litten, erkannt und von denen, die sie beobachteten, verstanden wurden, so sind in den gegenwärtigen England gerade die Wohltäter die größten Schädlinge. Wir haben auf diese Weise schließlich das seltsame Schauspiel erlebt, daß Männer, die das Problem wirklich durchdacht

haben und das Leben kennen – Männer von Bildung, die im East-End wohnen – auftreten und das Gemeinwesen inständig bitten, doch seine altruistischen Anwandlungen von Barmherzigkeit, Fürsorge und desgleichen einzudämmen. Sie tun das aus der Erwägung heraus, daß eine solche Barmherzigkeit erniedrigt und demoralisiert. Diese Männer haben vollkommen recht. Die Barmherzigkeit ruft eine Menge von Sünden hervor.

Ferner ist noch folgendes zu sagen. Es ist unsittlich, Privateigentum zur Milderung der furchtbaren Übelstände zu verwenden, zu denen die Einrichtung des Privateigentums geführt hat. Das ist sowohl unsittlich als auch unehrlich.

Unter der Herrschaft des Sozialismus wird dies alles natürlich anders sein. Es wird keine Menschen mehr geben, die, bekleidet mit stinkenden Fetzen, in stinkenden Höhlen wohnen und ungesunde, durch den Hunger verkümmerte Kinder in völlig menschenunwürdiger, abstoßender Umgebung ausziehen. Die Sicherheit der Gesellschaft wird nicht mehr, wie dies jetzt der Fall ist, vom Stande des Wetters abhängen. Kommt ein Frost, dann wird man nicht mehr die hunderttausend Arbeiter sehen, die jetzt in einem Zustand unsäglich abscheulichen Elends durch die Straßen trampeln oder ihre Nachbarn jammernd um Almosen anbetteln oder vor den Toren der ekelhaften Asyle wimmeln, um ein Stück Brot und ein schmutziges Obdach für die Nacht zu erlangen. Jedes Mitglied der Gesellschaft wird an ihrer allgemeinen Wohlfahrt, an ihrem allgemeinen Glück teilnehmen; bricht Frost herein, so wird er niemandem Schaden bringen.

Andererseits wird der Wert des Sozialismus einfach nur darin bestehen, daß er zum Individualismus hinüberleitet.

Der Sozialismus, Kommunismus oder wie man diese Organisation auch nennen möge, wird dadurch, daß er das Privateigentum in allgemeinen Reichtum umwandelt, dadurch, daß er an Stelle der Konkurrenz die Korporation, das Zusammenarbeiten setzt, der Gesellschaft die ihr eigentümliche Form eines gesunden Organismus zurückgeben und die materielle Wohlfahrt eines jeden Mitgliedes dieser Gemeinschaft sichern. Es wird in der Tat dem Leben seine richtige Grundlage und seine richtige Umgebung verleihen. Um aber das Leben auf die höchste Spur der Vollendung zu heben, bedarf es noch eines weiteren. Es bedarf des Individualismus. Ist der Sozialismus auf Autorität gegründet, richtet er Regierungen ein, die mit ökonomischer Machtfülle ausgestattet sind, genau wie jetzt mit politischen Befugnissen, sollen wir kurz industrielle Tyrannie haben, dann wird dieser jüngste Zustand der Menschheit weit schlimmer sein als der bisherige. Heutzutage sind eben

durch die Herrschaft des Privateigentums sehr viele imstande, ihre Individualität in einer gewissen, freilich sehr beschränkten Weise zur Entfaltung zu bringen. Sie brauchen entweder nicht für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten oder sind doch in der Lage, die ihnen zusagende Sphäre der Betätigung, die ihnen Freude gewährt, zu wählen. Das sind die Dichter, die Philosophen, die Gelehrten, die Gebildeten – mit einem Wort, die wirklichen Menschen, die zur Selbstvollendung gelangt sind, in denen die Menschheit ihre eigene teilweise Vollendung erreicht. Andererseits gibt es sehr viele, die, mit Privatbesitz nicht begabt und daher immer an dem Rande des nackten Elends schwebend, genötigt sind, die Arbeit von Lasttieren zu verrichten, Arbeit, die ihnen gar nicht zusagt, und zu der sie durch die unabweisbare, unvernünftige, erniedrigende Tyrannie der Not gezwungen werden. Das sind die Armen; in ihrem Kreise fehlt jede Grazie, jede Anmut der Rede oder Bildung, jede Verfeinerung der Genüsse, jede Lebensfreudigkeit. Ihre gesammelte Kraft verschafft der Menschheit manche materielle Wohlfahrt, doch einzig und allein materiellen Vorteil, der Arme selbst ist völlig ohne Bedeutung. Er ist nur ein winziges Atom einer Kraft, die ihn nicht bloß nicht beachtet, sondern zermalmt; ja ihn mit Vorliebe zermalmt, weil er dann viel fügsamer ist.

Natürlich ist der unter der Voraussetzung des Privateigentums erblühte Individualismus, so mag man einwenden, nicht immer oder auch nicht in der Regel etwas Erlesenes oder Wundervolles, auch haben die Armen, ermangeln sie gleich der Kultur und Anmut, doch manche Tugenden. Diese beiden Einwände wären an sich völlig richtig. Das Privateigentum ist sehr häufig ein demoralisierendes Element, und dies ist natürlich einer der Gründe, weshalb der Sozialismus diese Einrichtung abzuschaffen bemüht ist. Das Eigentum ist in der Tat etwas durchaus Schädliches. Vor einigen Jahren zogen Leute im Lande umher und sagten, das Eigentum ziehe Pflichten nach sich. Diese Anschauung wurde so häufig und in so langweiliger Weise wiederholt, daß die Kirche anfing, das nämliche zu behaupten. Jetzt wird diese Lehre von der Kanzel gepredigt. Sie ist vollkommen richtig. Der Besitz erzeugt nicht nur Pflichten, er schafft so viele, daß eine Fülle davon eine Qual ist. Man muß sich fortwährend um Geschäfte bekümmern, unausgesetzt werden Ansprüche erhoben, man hat nicht einen Augenblick Ruhe. Brächte der Besitz nur Freude, dann könnte man ihn noch hinnehmen. Aber die damit verknüpften Pflichten machen ihn ganz unerträglich. Im Interesse der Reichen müssen wir uns dessen entledigen. Man kann die Tugenden der Armen bereitwillig anerkennen und muß sie doch sehr bedauern. Man erzählt uns oft, die Armen seien für Wohltaten dankbar. Einige sind

es ohne Zweifel, aber die besten unter den Armen sind nie dankbar. Sie sind undankbar, unzufrieden, ungehorsam, Rebellen. Sie sind es mit vollem Recht. Sie empfinden, daß die Mildtätigkeit eine lächerlich unzulängliche Art teilweiser Rückerstattung oder ein sentimentales Almosen ist, gewöhnlich mit dem unverschämten Versuch des sentimental Wohltäters verbunden, über das Privatleben der Beschenkten tyrannische Herrschaft zu üben. Warum sollten die Armen für die Krumen, die von der Tafel des Reichen fallen, dankbar sein? Sie sollten mit bei dem Mahle sitzen, das beginnen sie jetzt zu merken. Was die Frage der Unzufriedenheit belangt: wer mit solcher Umgebung und einer so erbärmlichen Lebensführung zufrieden wäre, müßte völlig vertiert sein. Der Ungehorsam ist für jeden, der die Geschichte gelesen hat, die ursprüngliche Tugend des Menschen. Durch den Ungehorsam ist man zum Fortschritt gelangt, durch den Ungehorsam und durch die Empörung. Manchmal lobt man die Armen um ihrer Sparsamkeit willen. Aber den Armen Sparsamkeit zu empfehlen, ist grotesk and beleidigend zugleich. Es ist, als riete man einem Verhungernden, weniger zu essen. Ein Stadt- oder Landarbeiter, der sparen wollte, beginne damit etwas völlig Unsittliches. Der Mensch sollte sich keineswegs zu dem Nachweise hergeben, daß er wie ein schlecht genährt Stück Vieh zu leben vermag. Er sollte lieber stehlen oder im Armenhaus eine Zuflucht suchen, was ja viele für eine Art Diebstahl halten. Was das Betteln belangt, so ist es sicherer zu betteln, als zu nehmen, aber es ist vornehmer, zu nehmen, denn zu betteln. Nein, ein Armer, der undankbar, nicht sparsam, unzufrieden, ein Rebell ist, ist vielleicht eine Persönlichkeit, es steckt möglicherweise viel in ihm. Er stellt jedenfalls einen gesunden Protest dar. Was die tugendreichen Armen betrifft – diese muß man wohl bemitleiden, aber man kann sie unmöglich bewundern. Sie haben mit dem Feinde paktiert, sie haben ihr Erstgeburtsrecht um eine Schüssel sehr schlechter Suppe dahingegeben. Sie sind gewiß auch außerordentlich dumm. Ich begreife sehr wohl, daß ein Mann sich mit Gesetzen einverstanden erklärt, die das Privateigentum schützen und seine Anhäufung gestatten, so lange er selbst dadurch imstande ist, ein Leben der Schönheit und Geistigkeit in irgendeiner Form zu führen. Doch ist es mir gänzlich unfaßbar, wie jemand, dessen Leben durch diese Gesetze zerstört und verunstaltet wird, deren Fortdauer ruhig mitanzusehen vermag.

Gleichwohl findet sich die Erklärung unschwer. Die Sache verhielt sich einfach folgendermaßen. Elend und Armut haben etwas so völlig Erniedrigendes, sie üben auf das Wesen des Menschen eine so lähmende Wirkung aus, daß keine Klasse der Gesellschaft sich je wirklich ihres

Leidens deutlich bewußt wird. Andere müssen sie darüber aufklären und diesen glauben sie oft gar nicht. Was manche große Unternehmer wider die Agitatoren vorgebracht haben, ist fraglos richtig. Agitatoren sind Eindringlinge, die in irgendeine völlig zufriedene Gesellschaftsschicht einbrechen und die Saat der Unzufriedenheit unter ihnen säen. Eben darum sind Agitatoren so absolut notwendig. Ohne diese gäbe es in unserem völlig unvollkommenen Gemeinwesen kein Fortschreiten zur Kultur hin. Die Sklaverei wurde in Amerika keineswegs infolge irgendeiner Bewegung unter den Sklaven selbst oder infolge des leidenschaftlichen Verlangens der Sklaven nach Freiheit abgeschafft. Man hat die Sklaverei nur wegen des völlig ungesetzlichen Benehmens einiger in Boston und an anderen Orten wirkenden Agitatoren aufgehoben, die selbst weder Sklaven noch Sklavenhalter waren, noch Leute, die überhaupt irgend etwas mit dieser Frage zu schaffen hatten. Es sind ohne Zweifel die Abolitionisten gewesen, welche die Fackel in Brand setzten, die ganze Frage aufrollten. Und so paradox es klingt, die Agitatoren haben bei den Sklaven selbst nicht nur keinerlei Unterstützung, sondern kaum Sympathien gefunden; und als am Ende des Krieges die Sklaven die Freiheit gewonnen hatten, so vollständig gewonnen hatten, daß sie die Freiheit hatten, zu verhungern, da bedauerten viele bitterlich die neue Lage der Dinge. Für den Denker bedeutet nicht der Tod der Marie Antoinette, die sterben mußte, weil sie Königin war, den tragischen Höhepunkt der französischen Revolution, sondern die Erhebung der ausgehungerten Bauern der Vendée, die freiwillig aufstanden, um für die häßliche Sache des Feudalismus zu sterben.

Es ist also klar, mit dem autoritären Sozialismus kommt man nicht weiter. Denn während unter dem gegenwärtigen System immerhin eine nicht geringe Zahl von Menschen ihr Leben mit einer gewissen Fülle von Freiheit und Glück und einer gewissen Betonung ihres Ichs zu leben vermag, würde unter einem industriellen Kasernensystem oder einem System der wirtschaftlichen Tyrannie niemand irgendwelcher Freiheit teilhaftig werden. Zu bedauern bleibt, daß ein Teil unserer Gemeinschaft tatsächlich im Zustande der Sklaverei dahinlebt, aber es wäre kindisch, dieses Problem dadurch zu lösen, daß man die ganze Gemeinschaft in die Sklaverei zwingt. Jedem muß die Freiheit gewahrt bleiben, seine Arbeit selbst zu wählen, keinerlei Art von Zwang darf auf ihn ausgeübt werden; sonst ist diese Arbeit weder für ihn selbst noch an sich oder für die anderen von Nutzen. Unter Arbeit aber verstehe ich jede Art von Tätigkeit.

Heutzutage wird meiner Meinung nach wohl kaum ein Sozialist ernsthaft vorschlagen, ein Inspektor solle jeden Morgen in jedem Hause vorsprechen, um sich zu überzeugen, daß die Bürger alle aufgestanden sind und sich an ihre achtstündige Handarbeit begeben haben. Die Menschheit ist über dieses Stadium hinausgelangt und bestimmt eine solche Art des Lebens für diejenigen, die man höchst willkürlicherweise Verbrecher nennt. Doch ist gestehe, daß eine große Zahl der sozialistischen Anschauungen, denen ich begegnet bin, mir von Ideen autoritärer Macht oder gar des wirklichen Zwanges befleckt scheinen. Von autoritärer Macht und Zwang darf aber nicht die Rede sein. Alle Vereinigung muß völlig freiwillig vor sich gehen. Nur in freiwilliger Vereinigung ist der Mensch vornehm.

Die Frage mag aufgeworfen werden, wie der Individualismus, der jetzt mehr oder minder zu seiner Entwicklung des Privateigentums bedarf, aus der Aufhebung des Privateigentums Nutzen ziehen könnte. Die Antwort ist sehr einfach. Es ist wahr, auch unter den gegenwärtigen Umständen haben es einige wenige Männer, die eigenes Vermögen besaßen, wie Byron, Shelley, Browning, Viktor Hugo, Baudelaire und andere zustande gebracht, ihre Persönlichkeit mehr oder minder völlig zum Ausdruck zu bringen. Nicht einer dieser Männer hat auch nur einen Tag seines Lebens um Lohn gearbeitet. Sie waren von der Armut verschont. Sie hatten daher ungeheuer viel voraus. Die Frage ist, ob es für den Individualismus von Vorteil wäre, wenn ein solcher Vorzug aufgehoben würde. Nehmen wir an, er sei aufgehoben. Was ist es dann mit dem Individualismus? Welchen Nutzen wird er daraus ziehen?

Es wird den folgenden Nutzen daraus schöpfen. Unter den neuen Verhältnissen wird der Individualismus weit freier, weit vornehmer, weit kräftiger sein, als dies jetzt der Fall ist. Ich spreche nicht von dem großen, in der Phantasie zur Verwirklichung gelangten Individualismus der Dichter, die ich eben nannte, ich spreche von dem großen tatsächlichen Individualismus, der in der Menschheit im allgemeinen gebunden liegt und entfaltungsmöglich wäre. Denn die Anerkennung des Privateigentums hat den Individualismus wirklich geschädigt und dadurch getrübt, so daß man den Menschen mit seinem Besitz verwechselt. Sie hat den Individualismus völlig irre geleitet. Sie hat bewirkt, daß Gewinn, nicht Wachstum sein Ziel geworden ist. So zwar, daß die Menschen meinten, das Wichtigste sei das Haben, und nicht wußten, daß es das Wichtigste ist, zu sein. Die wahre Vollendung des Menschen liegt nicht in dem, was er besitzt, sondern in dem, was er ist. Das Privateigentum hat den wahren Individualismus vernichtet und einen falschen aufgestellt. Es hat einen Teil der Gemeinschaft von dem Besitz

der Individualität durch Aushungerung ausgeschlossen. Es hat den anderen Teil der Gemeinschaft von dem Besitz der Individualität dadurch ferngehalten, daß man ihn auf den unrichtigen Weg geleitet und überlastet hat. In der Tat, die Persönlichkeit des Menschen ist so vollkommen von seinen Besitztümern absorbiert worden, daß die englischen Gesetze Vergehen wider das Eigentum weit schärfer ahnden, als wider die Person; noch immer gewährt nur das Eigentum die vollen Bürgerrechte. Der Fleiß, der notwendig ist, um Geld zu machen, wirkt gleichfalls sehr demoralisierend. In einer Gesellschaft wie der unsrigen, in der das Eigentum unermeßliche Auszeichnung, gesellschaftliche Stellung, Ehre, Ansehen, Titel und andere angenehme Dinge dieser Art verschafft, setzt es sich der von Natur aus ehrgeizige Mensch zum Ziel, dieses Eigentum anzuhäufen, und er häuft müde und langweilig Schätze auf Schätze, wenn er schon längst mehr erworben hat, als er bedarf oder benutzen oder genießen oder vielleicht sogar übersehen kann. Der Mensch bringt sich durch Überarbeitung um, nur um Eigentum zu gewinnen; und bedenkt man die ungeheuren Vorteile, die das Eigentum gewährt, so darf man sich in der Tat darüber kaum verwundern. Man muß nur bedauern, daß die Gesellschaft so eingerichtet ist, daß der Mensch in eine Bahn gedrängt wird, in der er das Wunderbare, Eigenartige, Köstliche seiner Natur nicht zu entfalten vermag, in der er in der Tat die wahre Freudigkeit des Lebens entbehrt. Auch ist seine Existenz unter den gegenwärtigen Verhältnissen sehr unsicher. Ein sehr reicher Kaufmann kann in jedem Augenblick seines Lebens – er ist es oft – gänzlich von Dingen abhängig sein, über die er keinerlei Gewalt hat. Weht der Sturm ein wenig stärker, schlägt das Wetter um, ereignet sich sonst irgend etwas Alltägliches, dann sinkt vielleicht sein Schiff, seine Spekulationen gehen fehl, er ist plötzlich ganz arm geworden, seine gesellschaftliche Stellung ist völlig dahin. Nur eines sollte aber imstande sein, uns zu schädigen – das eigene Ich. Nichts sollte imstande sein, uns zu berauben; denn wir besitzen in Wirklichkeit nichts als das, was wir in uns haben. Was außerhalb unseres Selbst liegt, sollte völlig belanglos erscheinen.

Die Vernichtung des Privateigentums wird den wahren, den herrlichen, den gesunden Individualismus zur Folge haben. Niemand wird sein Leben mit der Anhäufung von Dingen und deren Symbolen vergeuden. Man wird leben. Wirklich zu leben – das ist das Allerselstenste auf dieser Welt. Die meisten Menschen existieren nur, sonst nichts.

Die Frage ist, ob wir jemals eine Persönlichkeit sich völlig ausleben gesehen haben, ausgenommen in dem imaginären Reiche der Kunst. Auf dem Gebiete der Handlung haben wir es bisher nie gesehen.

Cäsar, so erzählt uns Mommsen, war der vollständige und vollendete Mensch. Aber wie tragisch unsicher war Cäsars Dasein! Überall, wo es einen Mann gibt, der Autorität ausübt, gibt es auch einen, der seiner Autorität widerstrebt. Cäsar war ein sehr vollkommener Mensch, aber diese Vollkommenheit bewegte sich auf zu gefährlichen Bahnen. Mark Aurel war der vollendete Mensch, sagt Renan. Gewiß; der große Kaiser war ein vollkommener Mensch. Aber wie unerträglich waren die endlosen Anforderungen, die man an ihn machte. Er wankte unter der Last des Kaisertums. Er wußte, wie unmöglich es für die Kraft eines einzelnen war, das Gewicht dieser titanischen, allzu riesenhaften Weltmacht zu tragen. Vollkommen ist für mich der Mensch, der sich unter vollkommenen Verhältnissen zu entwickeln vermag; ein Mensch, der nicht verwundet, gehetzt, gelähmt, ewig von Gefahren umringt ist. Die meisten Persönlichkeiten sind gezwungen gewesen, Rebellen zu sein. Die Hälfte ihrer Kraft ist in Kämpfen aufgerieben worden. Byrons Persönlichkeit zum Beispiel rieb sich wund in dem Kriege wider die Dummheit, Heuchelei und Philistrosität der Engländer. Solche Kämpfe steigern keineswegs immer die Kraft, sie steigern sehr häufig bloß die Schwäche. Byron hat uns nie das zu geben vermocht, was er uns hätte geben können. Shelley ist es besser ergangen. Wie Byron verließ er England, sobald als möglich. Man kannte ihn nicht genau genug. Hätten die Engländer eine Ahnung von der Größe seines Dichtertums besessen, sie wären mit Zähnen und Nägeln über ihn hergefallen, sie hätten ihn das Leben nach Kräften unerträglich gemacht. Allein Shelley war in der Gesellschaft keine markante Figur; so vermochte er es, sich bis zu einem gewissen Grade in Sicherheit zu bringen. Doch ist selbst bei Shelley die Note der Empörung oft zu laut. Die Note der vollkommenen Persönlichkeit ist nicht Empörung, sondern Friede.

Wie wundervoll wird die wahre menschliche Persönlichkeit sein, wenn sie sich einmal ganz rein vor unserem Blick entfalten darf. Sie wird natürlich und einfach vor uns erblühen, wie eine Blume oder wie ein Baum. Sie wird nicht mit sich zerfallen sein, sie wird nie überreden oder streiten, sie wird nichts beweisen wollen. Sie wird alles wissen. Sie wird Weisheit besitzen, ohne daß sie sich um Wissen zu mühen braucht; ihr Wert wird nicht mit dem Maßstab des Materiellen gemessen werden. Sie wird nichts und dennoch alles besitzen, und was man ihr auch nimmt, sie wird doch noch haben, so reich wird sie sein. Sie wird sich nicht immer um andere kümmern oder von ihnen verlangen, daß sie ihr gleichen, sie wird die anderen eben darum lieben, weil sie sich von ihr unterscheiden. Und gerade weil sie unbekümmert um die anderen dahinlebt, wird sie allen helfen, wie uns etwas Schönes hilft, weil es nichts anderes sein will,

als was es ist. Die Persönlichkeit des Menschen wird dann sehr wunderbar sein. Sehr wunderbar, wie die Persönlichkeit eines Kindes.

In ihrer Entwicklung wird die Persönlichkeit durch das Christentum gefördert werden, wenn die Menschen danach verlangen; aber wenn die Menschen nicht danach verlangen, wird sie sich darum nicht weniger sicher entwickeln. Denn sie wird sich nicht länger um Vergangenes quälen, noch darum sorgen, ob etwas geschehen ist oder nicht. Und sie wird keine anderen Gesetze als ihre eigenen anerkennen, keine andere Autorität, als die eigene. Doch wird sie denen Liebe wahren, die sich um ihre Vertiefung bemüht haben und ihrer oft gedenken. Und Christus war einer von diesen.

Über der Pforte der antiken Welt stand geschrieben: „Erkenne dich selbst!“ Über der Pforte unserer neuen Welt sollte geschrieben stehen: „Sei du selbst!“ Die Botschaft des Heilands an die Menschen lautete einfach: „Sei du selbst!“ Dies ist das Geheimnis Christi.

So oft Jesus von den Armen spricht, meint er nur die Persönlichkeiten, so oft er von den Reichen redet, meint er einfach Leute, die ihre Persönlichkeit nicht zur Entfaltung gebracht haben. Jesus lebte in einer Gemeinschaft, welche die Anhäufung von Privateigentum genau ebenso gestattete, wie dies heute der Fall ist; das Evangelium, das er predigte, war keineswegs, es sei für den Menschen ein Vorteil, sich von ärmlicher, ungesunder Speise zu nähren, zerlumpte und schmutzige Kleider zu tragen, in schrecklichen, ungesunden Wohnungen zu nächtigen, oder es sei von Nachteil, unter gesunden, angenehmen, anständigen Verhältnissen zu leben. Eine solche Anschauung wäre im jenem Lande und in jener Zeit eine falsche gewesen und wäre natürlich heute und in unserem England noch irriger; denn je mehr die Menschheit nördlichen Regionen zustrebt, um so wichtiger werden die materiellen Lebensvoraussetzungen; unsere Gesellschaft ist bei weitem komplizierter und weist bei weitem schärfere Gegensätze von Luxus und Elend auf, als irgendeine Gesellschaft der antiken Welt. Jesus hat dem Menschen einfach dieses gesagt: „Deine Persönlichkeit ist etwas Wundervolles. Entfalte sie, sei du selbst! Glaube nicht, daß du durch das Besitzen oder Anhäufen äußerlicher Güter zu deiner Vollendung gelangen wirst. In dir selbst liegt deine Vollendung. Wenn du das nur einsähest, würdest du nicht nach Reichtum streben. Was man so Reichtum nennt, das kann dir gestohlen werden, wirklicher Reichtum nie. In der Schatzkammer deiner Seele sind unermeßlich wertvolle Kostbarkeiten, die niemand dir zu rauben vermag. Richte dein Leben auf solche Art ein, daß Äußerliches dir nicht zu schaden vermag und, wage es nur, deine Habe von dir zu werfen. Sie bringt Befangenheit im Gemeinen, unendliche Mühsal, stetes

Ungemach mit sich. Persönlicher Besitz behindert die Persönlichkeit auf Schritt und Tritt.“ Es ist wohl zu beachten, daß Jesus nirgends sagt, die Verarmten seien notwendigerweise gut oder die Wohlhabenden notwendigerweise schlecht. Das wäre ganz unrichtig. Die Reichen sind, als Klasse betrachtet, besser als die Armen. Sie sind sittlicher, geistiger, von feinerem Anstand. Nur eine Klasse unter uns beschäftigt sich noch mehr mit dem Geld, als die Reichen, nämlich die Armen. Diese können eben an nichts anderes denken. Darin liegt gerade ihr Elend.

Was Jesus sagen will, ist nur, der Mensch gelange nicht durch das, was er hat, nicht einmal durch das, was er tut, sondern nur durch das, was er ist, zu seiner Vollendung. Und so wird der reiche Jüngling, der dem Heiland naht, als ein sehr trefflicher Bürger hingestellt, der kein Gesetz seines Staates gebrochen, keine Vorschrift seiner Religion verletzt hat. Er ist völlig achtbar in der gewöhnlichen Bedeutung dieses außergewöhnlichen Wortes. Jesus sagt zu ihm: „Du solltest dich deines Besitzes entledigen. Er hindert dich an deiner Vollendung. Er ist ein Netz, das dich umstrickt. Er ist eine Bürde. Deine Persönlichkeit bedarf seiner nicht. In dir, nicht außerhalb deiner selbst, wirst du deinem wirklichen Ich und allen Gütern begegnen, deren du wirklich bedarfst.“ Seinen Jüngern sagt er ganz das Nämliche. Er rät ihnen, jeder möge sich auf sich selbst besinnen, sich nicht um anderes quälen. Was ist an anderem gelegen? Der Mensch ist in sich vollkommen. Wenn sie in die Welt hinaustreten, dann wird die Welt ihnen entgegentreten, das ist unvermeidlich. Die Welt haßt Individualitäten. Das soll sie aber nicht weiter bekümmern. Sie sollen still in sich ruhend sein. Nimmt ihnen jemand den Mantel, dann sollen sie ihm auch den Rock geben, nur um zu beweisen, daß materielle Dinge von keiner Bedeutung sind. Schmäht sie jemand, so sollen sie nicht antworten. Was liegt daran? Was man über einen Menschen sagt, ändert ihn nicht. Er ist, was er ist. Die öffentliche Meinung ist von keinerlei Wert. Selbst wenn man tatsächlich Gewalt anwenden sollte, sollen sie ihrerseits nicht wieder Gewalt üben. Das hieße, sich auf die nämliche niedrige Stufe begeben. Der Mensch kann schließlich auch im Gefängnis völlig frei sein. Seine Seele kann frei sein. Seine Persönlichkeit kann ungekrübt bleiben. Er kann im Frieden leben. Vor allem aber sollen sie sich nicht in die Angelegenheiten der anderen mischen oder sich über diese irgendwelches Urteil anmaßen. Um die Persönlichkeit liegt immer ein geheimnisvoller Schleier. Man wird den Menschen keineswegs stets nach seinen Handlungen beurteilen dürfen. Der eine beobachtet das Gesetz getreu und ist dennoch treulos, ein zweiter verletzt das Gesetz und ist dennoch edel. Mancher hat nie etwas Schlechtes begangen und bleibt dennoch im Innern schlecht. Man begeht

vielleicht ein Verbrechen wider die Gesellschaft und bringt vielleicht eben durch dieses Verbrechen erst den wahren Sinn seines Wesens zur Entfaltung.

Da war ein Weib, das war im Ehebruch ergriffen. Die Geschichte ihrer Liebe wird uns nicht berichtet, aber diese Liebe war ohne Zweifel sehr groß; denn Jesus sagte, ihre Sünden seien ihr vergeben, nicht, weil sie bereue, sondern weil ihre Liebe so stark und wundervoll wäre. Später, kurze Zeit vor Christi Tod, als er beim Mahle saß, trat dieses Weib ein und goß Wohlgerüche auf des Heilands Haar. Seine Jünger suchten dieses Bestreben zu hindern und sagten, dies sei Verschwendung, die Summe, welche die Wohlgerüche kosteten, hätte man zu einem Werk der Barmherzigkeit, zur Linderung der Not armer Leute verwenden sollen. Jesus stimmte dieser Anschauung nicht zu. Er erklärte, die materiellen Bedürfnisse des Menschen seien groß und dauernd. Aber die geistigen Bedürfnisse seien noch größer, und in einem göttlichen Augenblick und indem sie die Form ihres Ausdrucks selbst wähle, könne eine Persönlichkeit zu ihrer Vollkommenheit gelangen. Man verehrt dieses Weib noch heute als eine Heilige.

Ja, es liegt sehr viel Anregendes im Individualismus. Der Sozialismus hebt zum Beispiel das Familienleben auf. Mit der Vernichtung des Privateigentums muß die Ehe in ihrer gegenwärtigen Form verschwinden. Das ist ein Teil des Programms. Der Individualismus nimmt diesen Grundsatz auf und verfeinert ihn. Er wandelt die Vernichtung des gesetzlichen Zwanges in eine Form der Freiheit um, die der vollen Entfaltung der Persönlichkeit dienen und die Liebe zwischen Mann und Weib wundervoller, herrlicher, prächtiger gestalten soll. Jesus wußte dies. Er verwarf die Ansprüche des Familienlebens, die auch zu seinen Tagen und in der Gesellschaft seiner Zeit in sehr ausgeprägter Weise bestanden. „Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder?“ fragte er, da man ihm berichtete, daß diese mit ihm zu sprechen begehrten. Als einer seiner Jünger bat, sich entfernen zu dürfen, um den Vater zu bestatten, war seine furchtbare Antwort: „Laß die Toten die Toten begraben!“ Er ließ keinen Anspruch gelten, den man an die Persönlichkeit stellte.

Ein dem Heiland ähnliches Leben führt nur, wer ganz und gar er selbst bleibt. Ein solcher mag ein großer Dichter sein oder ein großer Gelehrter; oder ein junger Universitätsstudent oder ein Schafhirte auf der Heide; oder ein Schöpfer von Dramen wie Shakespeare, oder ein Gottgrübler wie Spinoza, oder ein Kind, das im Garten spielt, oder ein Fischer, der seine Netze in die See senkt. Er sei was immer, was liegt daran, wenn er nur alle Möglichkeiten seiner Seele zur Entfaltung bringt.

Alle Nachahmung in moralischen Dingen und im Leben ist vom Übel. Durch die Straßen Jerusalems schleicht jetzt ein Wahnsinniger und schleppt auf seinen Schultern ein hölzernes Kreuz. Er ist das Sinnbild jener Existenzen, welche durch die Nachahmung verstümmelt werden. Vater Damien war Christus ähnlich, da er auszog, mit den Aussätzigen zu leben, denn durch solchen Dienst brachte er das Gebot seines innersten Wesens völlig zum Ausdruck. Doch war er nicht christusgleicher als Wagner, als dieser in Musik seiner Seele, oder Shelley, als dieser in Liedern die Verwirklichung gab. Man spreche nicht von einem Typus des Menschen. Es gibt so viele fertige Menschentypen als es unfertige Menschen gibt. Du magst dich von den Rufen derer verlocken lassen, die von Mitleid faseln, und dabei dennoch innerlich frei bleiben. Fügst du dich aber den Forderungen der Gleichmacher, so ist deine innere Freiheit völlig dahin.

Zum Individualismus sollen wir also durch den Sozialismus gelangen. Als natürliche Konsequenz ergibt sich, daß der Staat jeden Gedanken, herrschen zu wollen, aufgeben muß. Er muß ihn deshalb aufgeben, weil man zwar, wie ein Weiser einmal viel Jahrhunderte vor Christus sagte, die Menschheit sich selbst überlassen kann; aber die Menschheit regieren, das kann man nicht. Jede Art der Regierung ist ein Mißgriff. Der Despotismus ist ungerecht gegen alle, auch den Despoten selbst, der vermutlich zu besseren Dingen bestimmt war. Oligarchien sind ungerecht gegen die vielen, Ochlokratien sind ungerecht gegen die wenigen. Man hat einmal große Erwartungen auf die Demokratie gesetzt; aber die Demokratie ist nichts als ein Niederprügeln des Volkes durch das Volk für das Volk. Dies hat man erkannt. Ich muß sagen, es war hohe Zeit, denn jede Art autoritärer Gewalt ist etwas Erniedrigendes. Die, welche die Gewalt ausüben, werden nicht minder erniedrigt, denn die, welche die Gewalt erdulden. Wenn diese heftig, brutal, grausam ausgeübt wird, so bringt sie eben dadurch eine günstige Wirkung hervor, indem sie nämlich den Geist des Aufruhrs und des Individualismus wachruft, der sie vernichten soll. Wird dagegen diese Gewalt mit einem gewissen Anschein von Güte geübt, teilt sie Belohnungen und Preise aus, dann wirkt sie furchtbar entsittlichend. Die Leute werden sich in diesem Falle weniger des furchtbaren Druckes, der auf ihnen lastet, bewußt, sie wandeln durch ihr Leben in einem gewissen sattzufriedenen Behagen, wie gut gehaltene Haustiere, ohne sich darüber klar zu werden, daß sie höchst wahrscheinlich die Gedanken anderer Menschen denken, nach den Anschauungen anderer Menschen leben, daß sie gewissermaßen nur die abgelegten Kleider der anderen tragen, daß sie niemals, auch nicht einen Augenblick, ganz sie selbst sind. „Wer frei sein will,“ sagt ein

feiner Denker, „darf sich nicht den andern anpassen.“ Die autoritäre Gewalt aber, die zu einem solchen Anpassen verleitet, bringt unter uns eine sehr rohe Form übersättigten Barbarentums hervor.

Mit der autoritären Macht wird auch das Bestrafen verschwinden. Das wird ein großer Gewinn sein – in der Tat, ein Gewinn von unberechenbarem Wert. Studiert man die Geschichte, nicht nach den gereinigten Ausgaben für Gymnasialschüler und Examenskandidaten, sondern nach den Originalwerken der betreffenden Zeit, so wird man tief deprimiert, nicht durch die Verbrechen, welche die Bösen begangen, sondern durch die Strafen, welche die Guten über sie erhängt haben; eine Gemeinschaft verroht weit mehr durch die zur Gewohnheit gewordene Anwendung der Strafe, als durch das gelegentliche Vorkommen von Verbrechen. Daraus ergibt sich klar, daß, je mehr Strafen verhängt werden, desto mehr Verbrechen geschehen; und die meisten modernen Gesetzgebungen haben dies deutlich anerkannt und es sich zur Aufgabe gestellt, die Bestrafung auf das möglichst geringe Maß zu beschränken. Überall, wo die Strafen wirklich vermindert worden sind, sind die Ergebnisse außerordentlich günstig gewesen. Je weniger Strafen, desto weniger Verbrechen. Bestraft man einmal überhaupt nicht mehr, dann wird folgerichtig auch das Verbrechen völlig zu existieren aufhören oder es wird, wenn es doch auftritt, von den Ärzten als eine sehr bedauerliche Form des Wahnsinns behandelt werden, die man durch sorgfältige und liebevolle Pflege zu heilen vermag. Diejenigen, die man heutzutage Verbrecher nennt, sind keineswegs Verbrecher. Der Hunger, nicht die Sünde erzeugt in unseren Tagen das Verbrechen. Darum sind unsere Verbrecher, als Klasse betrachtet, vom psychologischen Standpunkt so völlig uninteressant. Sie sind keineswegs wunderbare Macbeths und schreckliche Vautrins. Sie sind nur, was die gewöhnlichen achtbaren Alltagsmenschen wären, wenn sie nicht genug zu essen hätten. Mit der Vernichtung des Privateigentums wird auch die Voraussetzung für Verbrechen hinwegfallen, diese werden sich nicht mehr als nötig erweisen, sie werden nicht mehr vorhanden sein. Doch sind natürlich nicht alle Verbrechen Verbrechen wider das Eigentum; allerdings bedroht das englische Gesetz, welches den Menschen mehr nach dem beurteilt, was er hat, als nach dem, was er ist, Eigentumsdelikte mit den schärfsten, schrecklichsten Strafen, vielleicht mit Ausnahme des Mordes, wenn man den Tod für schlimmer als Zuchthaus hält, eine Anschauung, der unsere Verbrecher wohl kaum alle beistimmen. Aber auch die Verbrechen, die nicht wider das Eigentum gerichtet sind, entspringen aus dem Elend, der Erbitterung, der Verzweiflung – Zuständen, die durch unser verfehltes privatwirtschaftliches System erzeugt werden, die verschwinden müssen,

sobald dieses System vernichtet ist. Wenn jedes Mitglied der Gesellschaft seine Bedürfnisse zu befriedigen vermag und von den Mitmenschen unbehelligt gelassen wird, hat es auch seinerseits kein Interesse daran, seine Mitmenschen zu behelligen. Die Eifersucht, die Quelle so vieler Verbrechen des modernen Lebens, ist eine Empfindung, die mit unseren Begriffen von Eigentum auf das innigste zusammenhängt und unter der Herrschaft des Sozialismus und Individualismus aussterben wird. Bezeichnend ist, daß in kommunistischen Vereinigungen das Gefühl der Eifersucht völlig unbekannt bleibt.

Da nun die Aufgabe des Staates nicht im Regieren besteht, könnte gefragt werden, worin denn die Aufgabe des Staates liege? Der Staat soll eine freie, die Arbeit organisierende Vereinigung, Erzeuger und Verteiler des Notwendigen sein. Sache des Staates ist es, das Nützliche zu schaffen; Sache des Individuums ist es, das Schöne hervorzubringen. Und da ich einmal das Wort „Arbeit“ ausgesprochen habe, kann ich die Bemerkung nicht unterdrücken, daß heutzutage sehr viel sehr Törichtes über die Würde der Handarbeit geschrieben und gesagt wird. Die Handarbeit ist keineswegs notwendigerweise etwas, das Würde verleiht, zumeist ist sie etwas völlig Erniedrigendes. Irgend etwas zu tun, das in einem nicht das Gefühl der Freude wachruft, ist geistig und sittlich demütigend zugleich, die meisten Arten der Arbeit sind aber völlig freudeleere Tätigkeiten und sollten als solche betrachtet werden. Eine schmutzige Straßenkreuzung während acht Stunden des Tages bei scharfem Ostwind rein zu kehren, ist eine widerliche Beschäftigung. Sie mit geistiger, sittlicher oder auch körperlicher Würde auszuüben, das scheint mir unmöglich. Die Straße mit Freude zu kehren, das wäre geradezu schrecklich. Der Mensch ist für Besseres auf der Welt, als für das Wegsegen des Schmutzes. Jede derartige Arbeit sollte durch Maschinen geleistet werden.

Ich zweifle auch nicht, daß dies einmal der Fall sein wird. Bisher ist der Mensch bis zu einem gewissen Grad der Sklave der Maschine gewesen, und es liegt etwas Tragisches in der Tatsache, daß er dem Hunger verfiel, sobald er eine Maschine für das Verrichten einer Arbeit erfand. Diese Tatsache ist jedoch nur das Ergebnis unseres Systems des Privateigentums und des freien wirtschaftlichen Wettbewerbes. Irgendeiner ist Eigentümer einer Maschine, welche die Arbeit von fünfhundert Menschen leistet. Fünfhundert Menschen sind dadurch arbeitslos geworden, sie fallen dem Hunger und dem Diebstahl anheim. Was die Maschine produziert, nimmt der eine für sich in Anspruch, behält es und besitzt solcherart fünfhundertmal mehr, als er besitzen sollte und als er vermutlich – dies ist von noch größerer Bedeutung –

wirklich begehrte. Wäre die Maschine das Eigentum aller, so wäre der durch die Maschine geschaffene Nutzen ein allgemeiner. Dies wäre für die Gemeinschaft von unabsehbarem Vorteil. Alle mechanische Arbeit, alle einförmige, stumpfsinnige Arbeit, jede wirkliche Arbeit, die unter unerfreulichen Verhältnissen verrichtet wird, muß durch die Maschine geleistet werden. Die Maschine soll für uns in den Kohlenbergwerken arbeiten und alle sanitären Verrichtungen leisten. Sie soll unsere Dampfer heizen, sie soll an regnerischen Tagen Botendienste tun und alles Häßliche, Widrige vollführen. Gegenwärtig konkurriert die Maschine mit dem Menschen. Unter richtigen Verhältnissen wird sie dem Menschen dienen. Dies ist ohne Zweifel die Zukunft der Maschine, und wie die Bäume wachsen, während der Landwirt schläft, so wird die Menschheit sich vergnügen oder sich einer gebildeten Muße erfreuen – Muße, nicht Arbeit, ist das Ziel des Menschen – oder wundervolle Schöpfungen genießen oder einfach die Welt mit Bewunderung und Entzücken betrachten, während die Maschine die notwendige, freudelose Arbeit besorgt. Es ist eine Tatsache, daß die Zivilisation der Sklaven bedarf. Mit dieser Anschauung hatten die Griechen ganz recht. Solange nicht Sklaven die häßlichen, schrecklichen, stumpfsinnigen Arbeiten verrichten, sind Kultur und Beschaulichkeit so ziemlich unmöglich. Aber die Versklavung der Menschheit ist unrecht, unsicher und entsittlichend. Von dem mechanischen Sklaventum, von dem Sklaventum der Maschine, hängt die Zukunft der Welt ab. Wenn Männer der Wissenschaft nicht länger genötigt sein werden, in die traurigen Quartiere des Ostendes von London hinabzusteigen und schlechten Kakao und noch schlechtere Wolldecken unter die hungernde Bevölkerung zu verteilen, werden diese Männer die frohe Muße finden, herrliche Dinge zu ihrer eigenen Freude und zur Freude der ganzen Welt zu ersinnen. Für jede Stadt, wenn es nötig sein sollte, für jedes Haus, wird man mächtige Kraftreservoirs errichten, diese Kraft wird man in Wärme, Licht oder Bewegung, je nach den Lebensnotwendigkeiten umwandeln. Ist dies utopisch gedacht? Eine Weltkarte, die das Land Utopia nicht enthielt, verdient diesen Namen nicht, denn ihr fehlt das einzige Land, in dem die Menschheit immer landet. Und wenn sie ein reicheres Land vor sich sieht, segelt sie weiter. Der Fortschritt ist nur die Verwirklichung von Utopien.

Ich habe also ausgeführt, daß die Gesellschaft durch ein organisiertes Maschinensystem das Notwendige herstellen wird, während das Schöne durch das Individuum geschaffen werden wird. Dies ist nicht bloß eine Notwendigkeit, es ist der einzige mögliche Weg, auf dem wir beides zu erlangen vermögen. Ein Individuum, das für die Bedürfnisse der anderen zu arbeiten hat, das auf deren Wünsche und Ansprüche zu

achten genötigt ist, vermag sein Werk nicht mit Interesse zu vollführen und kann daher in sein Werk nicht sein Bestes hineinlegen. Andrerseits sinkt die Kunst in dem Augenblick, da eine Gemeinschaft oder irgendwelche regierende Gewalt einer solchen Gemeinschaft oder überhaupt eine Regierung dem Künstler Vorschriften zu machen versucht, oder sie nimmt stereotype Formen an, oder sie wird zu einer niedrigen, unedlen Art des Handwerks. Ein Kunstwerk ist das besondere Ergebnis eines besonderen Temperaments. Seine Schönheit zeigt sich darin, daß der Schöpfer ist, was er ist. Er hat nichts mit den Bedürfnissen der anderen zu schaffen. In der Tat, in dem Augenblick, da ein Künstler auf die Bedürfnisse der anderen zu achten beginnt und ihre Wünsche zu befriedigen trachtet, hört er auf, ein Künstler zu sein, er wird ein langweiliger oder unterhaltender Handwerker, ein ehrlicher oder unehrlicher Händler. Er hat fürder keinen Anspruch darauf, als Künstler zu gelten. Die Kunst ist die stärkste Form des Individualismus, welche die Welt kennt. Ich bin geneigt zu glauben, daß es die einzige wirkliche Form des Individualismus ist, welche man überhaupt kennt. Das Verbrechen, von dem man etwa meinen könnte, es habe unter gewissen Umständen den Individualismus hervorgebracht, muß von anderen Menschen Kenntnis nehmen und sich um diese bekümmern. Es gehört dem Bereich der Handlung an. Der Künstler allein kann ohne Rücksicht auf seine Mitmenschen, ohne irgendwelches Dazwischenetreten etwas Schönes gestalten; und wenn er nicht allein zu seiner eigenen Freude formt, so ist er überhaupt kein Künstler.

Es ist bemerkenswert, daß gerade die Tatsache, daß die Kunst eine gesteigerte Form des Individualismus bedeutet, bei dem Publikum den Versuch zeitigt, über die Kunst eine ebenso unsittliche, wie lächerliche, ebenso verderbliche, wie verächtliche Autorität zu üben. Die Schuld fällt nicht ganz dem Publikum zur Last. Das Publikum ist stets, in jedem Zeitalter, schlecht erzogen worden. Das Publikum hat immer von der Kunst Volkstümlichkeit, Eingehen auf seine Geschmacklosigkeit, das Umschmeicheln seiner lächerlichen Eitelkeit, das Aussprechen des oft Gesagten, die Darstellung des oft Dargestellten, woran es sich schon längst hätte satt sehen sollen, gefordert. Es will von der Kunst unterhalten werden, wenn es sich von zu üppigem Mahle beschwert fühlt, es will sich von ihr zerstreuen lassen, wenn es der eigenen Dummheit müde geworden. Nun sollte aber die Kunst nie versuchen, volkstümlich zu sein. Das Publikum sollte vielmehr versuchen, künstlerisch zu empfinden. Das ist ein sehr wesentlicher Unterschied. Wenn man einem Manne der Wissenschaft sagen würde, die Resultate seiner Forschungen, die Schlußfolgerungen, zu denen er gelangte, müßten solcherart sein, daß

sie den allgemein angenommenen Standpunkt über den Gegenstand nicht widerlegten oder das allgemeine Vorurteil nicht zerstörten oder die Empfindlichkeit derjenigen nicht verletzten, die von der Wissenschaft nichts verstehen; wenn man einem Philosophen das Spekulieren in den höchsten Sphären des Denkens nur unter der Voraussetzung gestattete, daß er zu denselben Schlußfolgerungen gelange, zu denen diejenigen gelangt sind, die niemals in irgendwelcher Sphäre gedacht haben – nun, eine solche Zumutung würde heutzutage den Mann der Wissenschaft und den Philosophen nur heiter stimmen. Gleichwohl ist es nur wenige Jahre her, daß man Philosophie und Wissenschaft einer rohen öffentlichen Kontrolle unterwarf, einer autoritären Gewalt in der Tat, der Autorität der allgemeinen Unwissenheit der Gemeinschaft oder dem Terrorismus und Machthunger einer geistlichen oder weltlichen herrschenden Klasse. Wir sind jetzt zwar bis zu einem sehr hohen Grade von jedem durch den Staat oder die Kirche oder durch die Regierung geübten Versuch, in den Individualismus des spekulativen Denkens einzubrechen, befreit, aber die Versuche, in den Individualismus der schöpferischen Kunst sich einzumengen, haben noch nicht aufgehört. Ja, sie haben nicht bloß nicht aufgehört, sie sind aggressiv, beleidigend und roh.

In England sind diejenigen Künste am besten davon gekommen, um die sich das Publikum nicht bekümmert. Die Lyrik ist ein Beispiel für meine Ansicht. Wir konnten in England eine überaus erlesene Lyrik hervorbringen, weil das Publikum dergleichen nicht liest und daher keinen Einfluß auf diese Kunst übt. Das Publikum schmäht die Poeten mit Vorliebe, weil diese ein individuelles Leben führen, aber nachdem es ausgeschmäht hat, läßt es sie in Frieden. Was den Roman und das Drama betrifft, Kunstformen, an welchen das Publikum Anteil nimmt, so ist das Ergebnis der Volksautorität ein völlig lächerliches. Kein Land produziert so schlecht geschriebene schöne Literatur, solch platte ordinäre Machwerke in Romanform, so einfältige, gemeine Theaterstücke wie England. Es kann gar nicht anders sein. Das Niveau des Volkstümlichen ist ein solches, daß kein Künstler dahin zu gelangen vermag. Es ist zu leicht und zu schwer zugleich, ein volkstümlicher Romanschriftsteller zu werden. Es ist zu leicht, denn die Forderungen des Publikums an Erfahrung, Stil, Psychologie, Lebens- und Literaturbeherrschung sind für die geringsten Fähigkeiten, den völlig ungebildeten Geist erreichbar. Es ist zu schwer, denn der Künstler müßte, um solchen Wünschen zu genügen, seinem Temperament Gewalt antun, er dürfte nicht länger aus der künstlerischen Freude um Schreiben seine Werke verfassen, sondern nur zur Zerstreuung halb gebildeter Leute; er müßte seine Eigenart unterdrücken, seine Bildung vergessen, seinen Stil zerstören, alles

Wertvolle, das ihn auszeichnet, tilgen. Was das Drama betrifft, so liegen hier die Dinge ein wenig günstiger, das Publikum, das unsere Theater besucht, liebt allerdings das platte, doch liebt es nicht das langweilige Genre. Burleske und Farce, diese beiden volkstümlichen Gattungen, sind ganz bestimmte Formen der Kunst. Im Gewande der Burleske und der Farce kann man ein entzückendes Werk hervorbringen; bei Werken dieser Art erfreut sich der Künstler in England sehr großer Freiheit. Aber wenn man die höheren Formen des Dramas in Betracht zieht, dann merkt man sogleich das Ergebnis der Volksüberwachung. Eines haßt das Publikum vor allem, nämlich Neuheit. Jeder Versuch, das Stoffgebiet der Kunst zu erweitern, ist dem Publikum höchst verhaßt, und doch beruht die Lebensfähigkeit und der Fortschritt der Kunst in sehr hohem Grade auf der steten Ausdehnung des Stoffkreises. Das Publikum haßt die Neuheit, weil es sich davor fürchtet. Für das Publikum bedeutet jede Neuheit eine Form des Individualismus, ein starkes Betonen des Künstlers, daß er sich den Stoff selbst wählt und ihn auf eigene Art behandelt. Es hat daher mit seiner Haltung völlig recht. Kunst ist Individualismus, und der Individualismus ist eine zerstörende, zersetzende Kraft. Darin liegt sein unermeßlicher Wert. Denn was der Individualismus zerstört, ist die Eintönigkeit des Typischen, die Sklaverei des Hergebrachten, die Tyrannie der Gewohnheit, das Herabdrücken des Menschen zur Maschine. In der Kunst läßt das Publikum das Vergangene gelten, weil es es nicht ändern vermag, nicht darum, daß es es zu schätzen weiß. Sie schlucken ihre Klassiker herab und finden daran niemals Geschmack. Sie lassen sie als etwas Unvermeidliches gelten und, da sie diese nicht verderben vermögen, schwätzen sie darüber. Seltsamer – oder gar nicht seltsamerweise, je nach dem Standpunkt, von dem aus man die Sache betrachtet, ruft dieses Geltenlassen der Klassiker sehr viel Schaden hervor. Die unkritische Bewunderung der Bibel und Shakespeares in England erweist diese, meine Anschauung. Was die Bibel belangt, so macht sich hier die kirchlich-autoritäre Gewalt geltend; ich brauche daher bei diesem Thema nicht zu verweilen.

Was aber Shakespeare betrifft, ist es ganz klar, daß das Publikum weder die Schönheiten noch die Mängel seiner Dramen wirklich erkennt. Würden die Leute die Schönheiten erkennen, dann könnten sie unmöglich der Entwicklung unseres Dramas widerstreben; würden sie die Mängel erkennen, dann könnten sie gleichfalls nicht dieser Entwicklung sich entgegenstellen. Die Sache verhält sich so, daß das Publikum die Klassiker eines Landes nur als Mittel benutzt, den Fortschritt der Kunst aufzuhalten. Sie würdigen die Klassiker zu Autoritäten herab. Sie benützen diese als Knüttel, um den freien Ausdruck der Schönheit in

neuen Formen zu verhindern. Sie fragen den Schriftsteller immer, warum er nicht wie irgendein anderer schreibt, oder den Maler, warum er nicht wie ein anderer malt, wobei sie ganz den Umstand vergessen, daß keiner von beiden, wenn er es täte, länger ein Künstler bliebe. Eine neue Art der Schönheit ist ihnen völlig verhaßt; so oft eine solche erscheint, werden sie böse und geraten so sehr in Verwirrung, daß sie sich stets der beider törichten Ausdrücke bedienen – des einen, das Kunstwerk sei ganz unverständlich, des anderen, das Kunstwerk sei ganz unmoralisch. Sie scheinen damit folgendes zu meinen. Wenn sie sagen, ein Werk sei völlig unverständlich, wollen sie damit ausdrücken, der Künstler habe etwas Schönes gesagt oder geschaffen, das neu ist. Wenn sie ein Werk als völlig unsittlich bezeichnen, wollen sie damit betonen, der Künstler habe etwas Schönes gesagt oder geschaffen, das wahr ist. Die zuerst erwähnte Bezeichnung bezieht sich auf den Stil, die zuletzt genannte auf den Stoff. Aber vermutlich bedienen sie sich dieser Worte in ganz unklarer Weise, wie der Mob sich fertiger Pflastersteine bedient. Es gibt beispielsweise keinen einzigen wirklichen Dichter oder Prosaschriftsteller in diesem Jahrhundert, dem das britische Publikum nicht feierlich das Diplom der Immoralität verliehen hätte. Solche Diplome bedeuten bei uns das Nämliche, wie in Frankreich die formelle Aufnahme in die Akademie; sie machen erfreulicherweise eine solche Einrichtung in England ganz überflüssig.

Natürlich ist das Publikum sehr sorglos in dem Gebrauche dieses Wortes. Daß man Wordsworth einen unmoralischen Dichter genannt hat, war zu erwarten. Wordsworth war eben ein Dichter. Aber daß man Charles Kingsley einen unmoralischen Romanschriftsteller genannt hat, ist merkwürdig. Kinsleys Prosa ist nicht von besonderer Feinheit. Doch ist das Wort nun einmal im Umlauf, und man macht davon den bestmöglichen Gebrauch. Der Künstler läßt sich natürlich dadurch nicht beirren. Der wirkliche Künstler glaubt an sich, weil er durchaus er selbst ist. Doch kann ich mir vorstellen, daß ein Künstler, der ein Kunstwerk hervorgebracht hat, welches in England sogleich bei seinem Erscheinen von dem Publikum, durch dessen Sprachrohr, die öffentliche Presse, als ein ganz verständliches und höchst moralisches Werk anerkannt wurde, sich ernsthaft fragen müßte, ob er sich in seiner Schöpfung wirklich selbst ausgedrückt habe und ob dieses Werk daher seiner nicht völlig unwert und entweder zweiten Ranges sei oder überhaupt keinen Kunstwert besitze.

Vielelleicht tue ich übrigens dem Publikum dadurch unrecht, daß ich diesem nur Worte wie „unmoralisch“, „unverständlich“, „exotisch“ und „ungesund“ in den Mund lege. Es gibt da noch ein anderes Wort, das

gerne gebraucht wird. Dieses Wort lautet „krankhaft“. Man bedient sich des Ausdrucks nicht häufig. Der Sinn des Wortes ist so einfach, daß man vor seinem Gebrauche zurückschreckt. Manchmal bedient man sich seiner dennoch und hier und da begegnet man ihm in verbreiteten Zeitungen. Es ist natürlich lächerlich, dieses Wort auf ein Kunstwerk anzuwenden. Denn was ist Krankheit sonst als eine Gefühlsstimmung oder geistige Erregung, der man nicht Ausdruck zu geben vermag? Das Publikum ist in seiner Gesamtheit krankhaft, denn es findet für gar nichts den Ausdruck. Der Künstler ist nie krankhaft. Er drückt nur alles aus. Er steht außerhalb seines Stoffes und bringt durch ihn unvergleichliche und künstlerische Wirkungen hervor. Einen Künstler krankhaft zu heißen, weil er das Krankhafte sich zum Thema nimmt, ist so töricht, als wenn man Shakespeare wahnsinnig nennen würde, weil er den König Lear geschrieben hat.

Im ganzen ist es für einen Künstler in England nur von Vorteil, angegriffen zu werden. Dadurch wird seine Individualität gekräftigt. Er wird noch vollkommener, was er ist. Allerdings sind die Angriffe sehr derb, sehr unverschämt und sehr verächtlich. Doch erwartet schließlich kein Künstler Anmut von der Gemeinheit oder Stil von dem Intellekt der Vorstadt. Gemeinheit und Dummheit sind zwei sehr lebendige Erscheinungsformen unseres modernen Lebens. Man muß das natürlich bedauern. Aber Gemeinheit und Dummheit sind nun einmal da. Sie sind ein Gegenstand des Studiums, wie alles andere. Und man muß billigerweise, was die modernen Journalisten betrifft, anerkennen, daß sie einen immer, wenn man ihnen im Privatleben begegnet, für das um Entschuldigung bitten, was sie gegen einen öffentlich geschrieben haben.

In den letzten Jahren hat der sehr begrenzte Wortschatz der Kunstschränkungen, der dem Publikum zu Gebote steht, durch zwei neue Adjektiven Bereicherung erfahren. Das eine ist das Wort „ungesund“, das andere das Wort „exotisch“. Das letztere drückt nur den Zorn des vergänglichen Pilzes wider die unsterbliche, entzückende und überaus liebliche Orchidee aus. Es ist ein Zoll der Anerkennung, aber einer Anerkennung ohne Bedeutung. Das Wort „ungesund“ jedoch läßt eine Analyse zu. Es ist ein ziemlich interessantes Wort. Es ist in der Tat so interessant, daß die Leute, die es gebrauchen, seinen Sinn nicht kennen.

Was ist damit gemeint? Was ist ein gesundes oder ein ungesundes Kunstwerk? Alle Bezeichnungen, mit denen man ein Kunstwerk bedenkt, beziehen sich, vorausgesetzt, daß man sie mit Vernunft anwendet, auf seinen Stil oder seinen Stoff oder auf beides. Vom Standpunkt des Stils ist ein gesundes Kunstwerk dasjenige, dessen Stil die Schönheit des angewandten Materials durchschimmern läßt, bestehe dieses Material

nun aus Worten oder aus Bronze, aus Farbe oder Elfenbein, und diese Schönheit als Mittel ästhetischer Wirkung benutzt. Vom Standpunkte des Stofflichen ist ein gesundes Kunstwerk dasjenige, dessen Stoffwahl nur durch das Temperament des Künstlers bestimmt wird und unmittelbar aus diesem hervorgeht. Mit einem Wort, ein gesundes Kunstwerk ist dasjenige, das Vollkommenheit und Persönlichkeit in sich vereinigt. Form und Inhalt können natürlich in einem Kunstwerk nicht gesondert werden; sie bilden immer eine Einheit. Aber zum Zweck der Analyse können wir diese beiden verstandesmäßig trennen und die Einheitlichkeit des ästhetischen Eindrucks für einen Augenblick beiseite stellen. Ein ungesundes Kunstwerk ist dagegen ein solches Werk, dessen Stil platt, altmodisch und gemein ist, dessen Gegenstand mit Absicht gewählt ist, nicht weil der Künstler daran irgendwelche Freude fand, sondern weil er denkt, daß ihn das Publikum dafür bezahlen wird. In der Tat ist der populäre Roman, den das Publikum gesund nennt, immer ein höchst ungesundes Gebilde; und was man als ungesunden Roman bezeichnet, das ist stets ein herrliches und gesundes Kunstwerk.

Ich brauche wohl nicht zu sagen, daß ich nicht einen Augenblick den Mißbrauch dieser Worte durch das Publikum und durch die öffentliche Presse bedauere. Ich sehe nicht ein, wie diese bei ihrem vollständigen Mangel an Einsicht in das Wesen der Kunst sie in dem richtigen Sinne gebrauchen könnten. Ich konstatiere bloß den Mißbrauch; die Erklärung für den Ursprung desselben und der Anschauung, die hinter alledem liegt, ist eine höchst einfache. Dies alles wurzelt in dem barbarischen Begriff der Autorität. Es hat seinen Grund in dem Unvermögen einer durch die Autorität verdorbenen Gemeinschaft, den Individualismus zu verstehen oder zu schätzen. Kurz gesagt, dies alles röhrt von dem ungeheuerlichen und unwissenden Wesen her, das man öffentliche Meinung nennt, einem Wesen, das schlimm und wohlmeinend ist, wenn es Handlungen zu kontrollieren versucht, das aber schändlich und übelmeinend wird, wenn es das Reich des Denkens oder der Kunst zu kontrollieren versucht.

In der Tat, man kann zugunsten der physischen Kraft der Öffentlichkeit viel mehr vorbringen, als zugunsten ihrer Meinung. Jene mag nicht ohne Schönheit sein, die letztere muß albern erscheinen. Man hat oft gesagt, Kraft sei kein Beweis. Das hängt jedoch völlig von dem ab, was man beweisen will. Viele der wichtigsten Probleme der letzten Jahrhunderte, wie zum Beispiel die Fortdauer des persönlichen Regimes in England oder des Feudalismus in Frankreich, sind völlig durch das Argument körperlicher Kraft gelöst worden. Gerade das Gewaltsame einer Revolution läßt das Volk einen Monat lang groß und glänzend

erscheinen. Es war ein fataler Augenblick, als man erkannte, daß die Feder mächtiger sei, denn der Pflasterstein und daß diese Waffe ebenso wirksam im Angriff sein könne als ein Stück Ziegel.

In diesem Augenblick spähte man nach dem Journalisten; man fand ihn, brachte ihn zur Entwicklung und schuf aus ihm den betriebsamen, gut bezahlten Sklaven. Dies ist für beide Teile sehr bedauerlich. Hinter der Barrikade kann viel Vornehmes und Heroisches stehen. Aber was steht hinter dem Leitartikel anderes als Vorurteil, Dummheit, Heuchelei und Geschwätz? Und wenn diese vier sich vereinen, bilden sie zusammen eine furchtbare Macht und bilden die neue Autorität.

In früheren Jahren bediente man sich der Folter, jetzt bedient man sich der Presse. Das ist sicherlich ein Fortschritt. Aber es ist auch ein großes Übel, es schädigt und demoralisiert uns. Irgend jemand – war es Burke? – nannte den Journalismus den vierten Stand. Dies war ohne Zweifel seinerzeit richtig. Gegenwärtig ist aber der Journalismus tatsächlich der einzige Stand. Er hat die anderen drei völlig aufgefressen. Die weltlichen Lords sagen nichts, die geistlichen Lords haben nichts zu sagen und das Haus der Gemeinen hat auch nichts zu sagen und sagt es. Wir werden vom Journalismus beherrscht. Im Amerika regiert der Präsident vier Jahre lang, und der Journalismus herrscht in alle Ewigkeit. Zum Glück hat der Journalismus in Amerika seine Autorität bis zum derbstesten und rohesten Extrem getrieben. So hat er natürlich einen Geist der Empörung geweckt. Man amüsiert sich dort über den Journalismus oder wendet sich mit Ekel von ihm ab, je nach dem Temperament. Aber es ist nicht mehr die Macht, die er vordem war. Man nimmt ihn nicht mehr ernst. In England, wo sich der Journalismus, von wenigen wohlbekannten Fällen abgesehen, nicht zu solchen Exzessen der Roheit hat hinreißen lassen, bildet er noch einen wesentlichen Faktor, eine sehr beachtenswerte Macht. Die tyrannische Herrschaft, die der Journalismus sich über das Privatleben des einzelnen anmaßt, scheint mir eine ganz außerordentliche. Das Publikum ist eben von unersättlicher Neugierde erfüllt, alles zu wissen, außer dem, was wissenswert ist. Der Journalismus, der dies weiß, erfüllt in richtiger Geschäftskenntnis dieses Verlangen. In früheren Jahrhunderten nagelte man die Ohren von Journalisten an Pumpen. Das war sehr häßlich. In unserem Jahrhundert, haben die Journalisten ihre Ohren selbst an die Schlüssellocher genagelt. Das ist weit ärger. Und was die Sache noch schlimmer macht, die Journalisten, die am meisten Tadel verdienen, sind keineswegs die unterhaltenden Zeitungsschreiber, die für die sogenannten „Gesellschaftsblätter“ schreiben. Den meisten Schaden richten die

ernsthaften, nachdenklichen, würdigen Journalisten an, die heutzutage feierlich irgendein kleines nebensächliches Ereignis aus dem Privatleben eines großen Staatsmannes, eines Mannes, der in politischen Fragen den Ton angibt, weil er eine politische Macht begründet hat, vor den Blick des Publikums zerren, das Publikum einladen, dieses Ereignis zu besprechen, sich darüber ein Urteil anzumaßen, darüber eine Meinung abzugeben und zwar nicht bloß eine theoretische Meinung, sondern vielmehr es auffordern, selbst handelnd einzugreifen, dem Staatsmann in jeder Richtung Vorschriften zu erteilen, seiner Partei, seinem Vaterlande vorzuschreiben, kurz, sich als lächerlich, kränkend und schädlich zu erweisen. Von dem Privatleben eines Mannes oder einer Frau sollte das Publikum nichts erfahren. Das geht das Publikum gar nichts an. In Frankreich macht man diese Dinge besser. Dort gestattet man nicht, daß die Einzelheiten eines Ehescheidungsprozesses zur Unterhaltung oder zur Kritik des Publikums veröffentlicht werden. Dort erfährt das Publikum nur, daß die Scheidung ausgesprochen wurde, und zwar auf Verlangen des einen oder des anderen Teiles oder beider Ehegatten.

In Frankreich zieht man dem Journalisten Grenzen und gewährt dafür dem Künstler fast absolute Freiheit. Hierzulande genießt der Journalist absolute Freiheit, der Künstler dagegen wird eingeschränkt. Die öffentliche Meinung in England versucht also den Schöpfer des in seiner Wirkung Schönen zu fesseln, zu hindern, zu knechten und zwingt den Journalisten, häßliche oder abstoßende, empörende Dinge umständlich zu erzählen, so daß wir tatsächlich die ernsthaftesten Journalisten von der Welt und die unanständigsten Zeitungen besitzen. Es ist nicht übertrieben, von einem Zwang zu sprechen. Es gibt möglicherweise einige Journalisten, denen das Publizieren des Scheußlichen wirklich Freude bereitet, oder die, arme Teufel, nach Skandalaffären ausspähen, denn diese bilden eine Art steter Grundlage für ein Einkommen. Aber es gibt gewiß andere Journalisten, Männer von Erziehung und Bildung, die nur mit wirklichem Widerwillen derartiges veröffentlichen, die das Unwürdige einer solchen Handlungsweise kennen und nur deshalb so handeln, weil die ungesunden Verhältnisse, unter denen ihr Beruf geübt wird, sie nötigt, die Wünsche des Publikums zu erfüllen, und zwar, um den Konkurrenzkampf mit den anderen Journalisten zu bestehen, in einer das rohe Gelüste des Volkes möglichst zufriedenstellenden Weise. Eine solche Stellung ist für jeden Menschen von Erziehung höchst erniedrigend, und ich zweifle nicht, daß die meisten dies bitter empfinden.

Aber lassen wir diese sehr schmutzige Seite des Gegenstandes nunmehr außer acht und kehren wir zu der Frage der öffentlichen

Aufsicht über das Gebiet der Kunst zurück, das heißt der öffentlichen Meinung, die dem Künstler die Form vorschreibt, deren er sich bedienen, die Art und Weise wie und das Material, aus dem sein Werk hergestellt werden soll. Ich habe ausgeführt, daß in England diejenigen Künste sich am besten frei gemacht haben, an denen das Publikum keinen Anteil nimmt. Das Publikum nimmt aber an dem Drama Anteil, und da ein gewisser Fortschritt während der letzten zehn oder fünfzehn Jahre im Drama zu verzeichnen ist, so dürfte es nicht unwichtig sein, zu betonen, daß dieser Fortschritt nur wenigen individuellen Künstlern zu danken ist, die es abgelehnt haben, sich der Geschmacklosigkeit des Volkes als Richtschnur anzubequemen und die Kunst nur als einen Gegenstand der Nachfrage und des Angebots zu betrachten. Mit seiner wundervollen und lebendigen Persönlichkeit, mit seinem wirklich farbenreichen Stil, mit seiner außerordentlichen Gabe, nicht nur der Nachahmung, sondern des Empfindens und geistigen Schaffens wäre Mr. Irving, hätte er sich bloß zum Ziele gesetzt, die Wünsche des Publikums zu befriedigen, imstande gewesen, die gemeinsten Stücke in der gemeinsten Manier in Szene zu setzen und damit so viel Erfolg und Geld zu verdienen, als er sich nur immer wünschen mochte. Dies aber war keineswegs sein Ziel. Sein Ziel war, zu seiner Vollendung als Künstler unter bestimmten Voraussetzungen und in bestimmten Kunstformen zu gelangen. Zuerst hat er sich an die wenigen gewandt: jetzt hat er die vielen erzogen. Er hat im Publikum sowohl Geschmack als Temperament erweckt. Das Publikum weiß seinen künstlerischen Erfolg außerordentlich zu schätzen. Ich frage mich gleichwohl oft verwundert, ob es den Leuten klar wird, daß dieser Erfolg lediglich der Tatsache zu danken ist, daß Irving nicht ihren Standpunkt einnahm, sondern seinen eigenen behauptet hat. Wäre ihr Niveau maßgebend gewesen, dann wäre aus dem Lyzeum-Theater eine Schaubude zweiten Ranges geworden, wie es gegenwärtig einige volkstümliche Theater in London sind. Ob die Leute das nun einsehen oder nicht, sicher ist, daß Geschmack und Temperament bis zu einem gewissen Grad im Publikum geweckt worden sind und daß das Publikum also imstande ist, solche Eigenschaften zu entfalten. Daraus erwächst das Problem: warum wird das Publikum nicht kultivierter? Die Fähigkeit ist vorhanden. Was hindert die Leute daran?

Was sie daran hindert, ich muß es wiederholen, ist ihr Wunsch über den Künstler und über Kunstwerke autoritäre Gewalt zu üben. Einzelne Theater, wie das Lyzeum- und das Haymarket-Theater, scheint das Publikum wirklich in der passenden Stimmung aufzusuchen. In beiden Theatern hat es individuelle Künstler gegeben, denen es gelungen ist, unter ihren Zuhörern – und jedes Londoner Theater hat seinen

eigenen Kreis von Zuhörern – den Zustand der Seele wachzurufen, an den sich die Kunst wendet. Und was ist dies für ein Zustand? Es ist der Zustand der Empfänglichkeit. Das ist alles.

Wer sich einem Kunstwerk irgendwie mit der Absicht nähert, über das Werk und den Künstler Autorität zu üben, naht dem Werk in einem Geiste, der es ihm unmöglich macht, überhaupt irgendwelchen künstlerischen Eindruck von dem Werk zu gewinnen. Das Kunstwerk soll den Betrachter meistern: nicht der Betrachter das Kunstwerk. Der Betrachter soll empfänglich sein. Er soll die Geige sein, auf der der Meister spielen soll. Und je völliger er seine eigenen törichten Ansichten, seine eigenen albernen Vorurteile, seine lächerlichen Anschauungen über das, was die Kunst bedeuten oder nicht bedeuten sollte, zu unterdrücken vermag, desto eher wird er das Kunstwerk erfassen und würdigen können. Die Richtigkeit dieser Meinung liegt, insoweit es sich um das englische Durchschnittspublikum der Theater, Männlein und Weiblein, handelt, klar auf der Hand. Sie gilt aber nicht minder für die sogenannten „Gebildeten“. Denn die Vorstellungen des Gebildeten über die Kunst sind natürlich aus der Vergangenheit geschöpft, während doch das neue Werk gerade dadurch schön ist, daß es ist, was die Kunst bisher niemals war; daran das Richtmaß der Vergangenheit zu legen, heißt, es mit einem Richtmaße messen, von dessen Verwerfung die wahre Vollendung der Kunst abhängt. Eine Natur, die, mit Hilfe der Phantasie und in ihrer Sphäre, neue und herrliche Eindrücke zu empfangen vermag, ist allein imstande, ein Kunstwerk zu schätzen. Und wie dies für das richtige Genießen der Bildhauerkunst und der Malerei gilt, so gilt es noch mehr für das Genießen solcher Künste, wie das Drama. Denn Gemälde und Statue stehen nicht im Kampf mit der Zeit. Die Zeitfolge ist für sie ohne Belang. Ihre Einheit kann in einem Augenblick erfaßt werden. In der Literatur jedoch ist das alles anders. Ehe die Einheit der Wirkung erreicht wird, muß Zeit verfließen. Und so kann in dem ersten Akt eines Dramas irgend etwas vorgehen, dessen wirkliche künstlerische Bedeutung dem Zuhörer erst im dritten oder vierten Akt klar wird. Soll da der einfältige Kerl wütend werden und schimpfen, das Spiel stören und die Künstler belästigen? Nein, der Biedermann soll schön ruhig dasitzen und die entzückenden Empfindung der Überraschung, der Neugier, der Spannung kennen lernen. Er soll nicht in das Theater gehen, um sich in gemeiner Weise aufzuregen. Er soll in das Theater gehen, um eine künstlerische Empfindung zu durchleben. Er soll in das Theater gehen, um ein künstlerisches Temperament sich zu erwerben. Er ist nicht der Richter des Kunstwerkes. Er ist lediglich Zuschauer, dem man das Betrachten eines Werkes gestattet, einer, der im Schauen eines erlesenen Werkes

sein ganzes Selbst, das auf ihm lastet, zu vergessen hat – das Selbstgefühl seiner Unwissenheit, das Selbstgefühl seiner Bildung. Diese Besonderheit des Dramas ist wohl noch kaum genugsam gewürdigt worden. Ich verstehe sehr wohl, daß unser modernes Londoner Publikum, führte man ihm „Macbeth“ zum erstenmal vor, gegen die Einführung der Hexen im ersten Akte mit ihren grotesken Redewendungen und ihren lächerlichen Worten zum großen Teil sehr entschieden Stellung nehmen würde. Doch wenn das Stück zu Ende ist, begreift man, daß das Gelächter in „Macbeth“ nicht minder furchtbar ist, als das Gelächter des Wahnsinns in „Lear“, noch furchtbarer, als das Lachen des Jago in der Tragödie des Mohren. Kein Kunstbetrachter bedarf der Stimmung der Empfänglichkeit mehr als der Zuschauer eines Dramas. In dem Augenblick, wo er Autorität auszuüben versucht, wird er der ausgesprochene Feind der Kunst und seiner selbst. Die Kunst kümmert sich nicht darum. Er selbst ist es, der darunter leidet.

Um den Roman ist es nicht anders bestellt. Die Autorität des Volkes und das Anerkennen dieser Volksautorität sind verhängnisvoll. Thackerays „Esmond“ ist ein wundervolles Kunstwerk, weil der Dichter es nur zu seinem eigenen Vergnügen hinschrieb. In seinen anderen Romanen, in „Pendennis“, „Philip“, zuweilen selbst in „Vanity Fair“, scheint er sich des Publikums allzu bewußt zu werden; er verdirbt seine Schöpfung dadurch, daß er sich an die Sympathien des Publikums wendet oder sich darüber direkt lustig macht. Ein wahrer Künstler nimmt von dem Publikum keinerlei Notiz. Das Publikum existiert nicht für ihn. Er hat keine mohnbestreuten oder honigsüßen Kuchen, um das Ungetüm in Schlummer zu wiegen oder seine Begierde zu stillen. Das überläßt er den volkstümlichen Romanschriftstellern. Wir haben jetzt in England einen unvergleichlichen Romandichter, Herrn George Meredith. Es gibt in Frankreich feinere Künstler, aber Frankreich hat keinen Dichter, dessen Lebensanschauung so breit, so mannigfältig, so wahr im dichterischen Sinne wäre. Es gibt in Rußland Erzähler, die eine lebhaftere Empfindung für die Darstellung des Leidens besitzen. Merediths Domäne bleibt das philosophische Element in der Dichtung. Seine Figuren leben nicht bloß, sie führen ein geistiges Dasein. Man erblickt sie von unendlich vielen Standpunkten aus. Sie wirken suggestiv. Seele lebt in ihnen, webt um sie. Sie geben Aufschlüsse und sind symbolisch. Und der, der sie gebildet hat, diese Gestalten mit ihrer wundervollen Beweglichkeit, hat sie zu seiner eigenen Freude geschaffen, er hat nie das Publikum gefragt, was es wünsche, ja sich nie darum bekümmert; er hat dem Publikum niemals gestattet, ihm Vorschriften zu erteilen oder ihn irgendwie zu beeinflussen; vielmehr hat er seine eigenen Persönlichkeit immer mehr

vertieft, sein eigenes individuelles Werk hervorgebracht. Zuerst gesellte sich niemand zu ihm. Das bekümmerte ihn nicht. Dann kamen die wenigen. Das hat ihn nicht verändert. Jetzt ist die Menge gekommen. Er ist der nämliche geblieben. Er ist ein unvergleichlicher Romanschriftsteller.

Mit den dekorativen Künsten steht es nicht anders. Das Publikum hielt mit wirklich pathetischer Zähigkeit an dem fest, was ich als die direkte Überlieferung der großen Ausstellungen der internationalen Gewöhnlichkeit betrachte, Überlieferungen, die in ihren Folgen schrecklich waren, daß die Häuser, in denen man lebte, wirklich nur für Blinde bewohnbar waren. Da begann man, schöne Dinge herzustellen, die Hand des Färbers lieferte herrliche Farben, herrliche Muster ersann der Geist des Künstlers, man wies auf den Nutzen dieser schönen Dinge, auf deren Wert und Bedeutung hin. Das Publikum war darüber sehr ungehalten. Es verlor seine gute Laune. Es redete Unsinn. Niemand kümmerte sich darum. Niemand erschien deshalb um ein Jota geringer, niemand beugte sich der Macht der öffentlichen Meinung. Und gegenwärtig ist es fast unmöglich, in ein modernes Haus zu treten, ohne einigen Spuren der Schätzung guten Geschmackes, des Wertes einer anmutigen Umgebung, einer Spur von Schönheit zu begegnen. Heutzutage sind die Wohnhäuser wirklich in der Regel ganz reizend. Man ist bis zu einem gewissen sehr hohen Grade kultiviert geworden. Allerdings muß festgestellt werden, daß der außerordentliche Erfolg der Umwälzung in der herkömmlichen Ausschmückung des Heims, des Hausgerätes und dergleichen nicht der Mehrzahl des Publikums zu verdanken ist, das etwa in diesen Dingen einen so erlesenen Geschmack entwickelt hätte. Man dankt ihn vor allem dem Umstande, daß die Kunsthändler das Vergnügen, Schönes hervorzubringen, so hoch schätzten, die Häßlichkeit und Gewöhnlichkeit, die sich in den bisherigen Wünschen des Publikums aussprach, so lebhaft empfanden, daß sie einfach das Publikum aushungerten. Es wäre gegenwärtig ganz unmöglich, einen Raum so auszustatten, wie man Räume noch vor wenigen Jahren auszustatten pflegte, ohne jedes Stück in einer Auktion gebrauchter Möbel aus irgendeiner Herberge dritten Ranges erstehen zu müssen. Sachen dieser Art werden eben nicht mehr hergestellt. Wie sehr sich die Leute auch dagegen stemmen, ihre Umgebung kann nicht mehr ganz ohne Anmut bleiben. Zu ihrem Heil hat ihre Anmaßung der Autorität in diesen Kunstzweigen nichts auszurichten vermocht.

Es leuchtet also ein, daß jede Art der Autorität in diesen Dingen vom Übel ist. Manchmal fragen die Leute, unter welcher Regierungsform ein Künstler am angemessensten lebe. Darauf gibt es nur eine Antwort.

Für den Künstler gibt es nur eine passende Regierungsform, nämlich gar keine Regierung. Es ist lächerlich, über ihn und seine Kunst Autorität zu üben. Man hat behauptet, daß Künstler unter der Herrschaft des Despotismus erfreuliche Werke hervorgebracht haben. Das ist nicht ganz richtig. Die Künstler haben Despoten aufgesucht, keineswegs als Untertanen, um sich tyranisieren zu lassen, sondern als wandernde Wundertäter, als blendende vagabundierende Persönlichkeiten, um gastlich aufgenommen und umschmeichelt zu werden und um die Ruhe des Schaffens zu gewinnen. Zugunsten des Despoten ist zu sagen, daß dieser vielleicht als ein einzelner Kultur besitzt, während diese dem Mob, als einem Ungeheuer, völlig fehlt. Ein Kaiser und König wird sich vielleicht bücken, um dem Maler den Pinsel aufzuheben, wenn sich aber die Demokratie bückt, tut sie es nur, um mit Kot zu werfen. Und doch braucht sich die Demokratie nicht so tief wie der Kaiser zu bücken. Sie braucht sich, wenn sie mit Kot werfen will, überhaupt nicht zu bücken. Doch es ist nicht notwendig, zwischen dem Monarchen und dem Pöbel zu unterscheiden. Jede Autorität ist in gleicher Weise ein Übel.

Es gibt eine dreifache Art des Despotismus. Den Despoten, der über den Leib tyrannische Herrschaft übt, den Despoten, der die Seele tyrannisiert, den Despoten, der Seele und Leib zugleich tyrannisch beherrscht. Den ersten nennt man den Fürsten. Den zweiten nennt man den Papst, den dritten nennt man das Volk. Der Fürst kann gebildet sein. Viel Fürsten waren es. Doch droht vom Fürsten Gefahr. Man denkt an Dante auf dem bitteren Fest in Verona, an Tasso in der Tollhauszelle Ferraras. Es ist für den Künstler besser, nicht in der Umgebung von Fürsten zu leben. Der Papst ist vielleicht gebildet. Viele Päpste besaßen Bildung, und zwar gerade die schlechten Päpste. Die schlechten Päpste liebten die Schönheit fast so leidenschaftlich, ja mit ebensoviel Leidenschaft, wie die guten Päpste das Denken haßten. Der Schlechtigkeit der Päpste bedankt die Menschheit vieles. Die guten Päpste haben an der Menschheit viel Böses verschuldet. Aber wenn auch der Vatikan zwar die Rhetorik seines Donnerns bewahrt, aber die Zuchtrute seiner Blitze verloren hat, so ist es für den Künstler doch besser, nicht bei Päpsten zu leben. Ein Papst war es, der zu einem Konklave der Kardinäle sich über Cellini äußerte, daß das für alle geltende Gesetz, die über alle geübte Macht für seinesgleichen nicht paßten. Doch es war auch ein Papst, der Cellini in das Gefängnis warf und ihn dort so lange verwahrte, bis er vor Wut in Wahnsinn ausbrach, unwirkliche Visionen aus sich heraus gebar und sich in die goldene Sonne, die in sein Zimmer schien, so sehr verliebte, daß er den Plan zur Flucht faßte, von Turm zu Turm kroch, in der Dämmerung schwindlig

aus der Höhe fiel und sich verletzte. Er ward von einem Winzer mit Weinlaub bedeckt und in einem Karren zu einem Beschützer der Künste gebracht, der sich seiner annahm. Von den Päpsten droht Gefahr. Was aber das Volk betrifft, was soll man von ihm und seiner Autorität sagen? Vielleicht ist über das Volk und seine Autorität schon genug gesprochen worden. Die Autorität des Volkes ist etwas Blindes, Taubes, Häßliches, Groteskes, Tragisches, Amüsantes, Ernsthaftes und Obszönes. Es ist für den Künstler unmöglich, mit dem Volk zu leben. Jeder Despot besticht. Das Volk besticht und brutalisiert. Wer hat es gelehrt, Autorität zu üben? Es war geschaffen, zu leben, zu lauschen, und zu lieben. Jemand hat ihm großes Unrecht zugefügt. Es hat sich selbst dadurch geschädigt, daß es seine Übergeordneten nachahmte. Es hat das Zepter des Fürsten an sich gerissen. Wie sollte es imstande sein, es zu gebrauchen? Es hat die dreifache Tiara des Papstes ergriffen. Wie sollte es ihre Last tragen? Es gleicht einem Clown mit einem gebrochenen Herzen. Es gleicht dem Priester, dessen Seele noch nicht geboren ward. Wer die Schönheit liebt, mag das Volk bemitleiden. Wenn es schon die Schönheit selbst nicht liebt, so mag es doch mit sich selbst Mitleid hegen. Wer hat das Volk gelehrt, den Tyrannen zu spielen?

Es wäre noch vielerlei darüber zu sagen. Man könnte ausführen, wie die Renaissance dadurch zu ihrer Größe gelangte, daß sie sich nicht bestrebte, ein soziales Problem zu lösen, daß sie sich um Dinge dieser Art überhaupt nicht bekümmerte, sondern das Individuum in Freiheit und Schönheit und Natürlichkeit sich entfalten ließ und so große und individuelle Menschen hervorbrachte. Man könnte auf Ludwig XIV. hinweisen, der den modernen Staat schuf und dadurch den Individualismus des Künstlers zertrümmerte, der den Dingen durch die Einförmigkeit ihrer Wiederholung den Reiz nahm, sie verächtlich machte durch ihre Gleichförmigkeit und in ganz Frankreich die feine Freiheit des Ausdrucks ertötete, die das Überlieferte zu neuer Schönheit umgeformt, neue Gebilde in Übereinstimmung mit der Antike geschaffen hatte. Aber die Vergangenheit ist ohne Bedeutung, die Gegenwart ist ohne Gewicht. Mit der Zukunft allein haben wir es zu tun. Was du warst, wärst du besser nie gewesen. Was du bist, solltest du nicht sein. Was du werden wirst, das ist der wahre Künstler.

Es wird natürlich gesagt werden, daß ein solcher Plan, wie er hier dargelegt ist, etwas völlig Unpraktisches ist und der menschlichen Natur widerspricht. Das ist völlig richtig. Er ist unpraktisch und widerspricht der menschlichen Natur. Und eben deshalb verdient er ausgeführt zu werden, eben deshalb schlägt man ihn vor. Denn was ist ein praktischer Plan? Ein praktischer Plan ist ein solcher, der entweder bereits besteht,

oder der unter den gegenwärtigen Verhältnissen ausgeführt werden könnte. Aber gerade die gegenwärtigen Verhältnisse sind es, die man bekämpft; und jeder Plan, der sich den gegenwärtigen Verhältnissen anpaßt, ist falsch und töricht. Diese Verhältnisse werden abgeschafft werden, und das Wesen des Menschen wird sich verändern. Man weiß über die Natur des Menschen nur das eine mit Sicherheit, daß sie sich verändert. Veränderlichkeit ist die einzige Eigenschaft, die wir von ihr zu behaupten vermögen. Irreführend sind die Systeme, die auf der Beständigkeit der menschlichen Natur sich aufbauen, nicht auf ihrem Wachstum und ihrer Entwicklung. Der Irrtum Ludwigs XIV. bestand darin, daß er meinte, die menschliche Natur bleibe stets die gleiche. Das Ergebnis dieses Irrtums war die französische Revolution. Es war ein wundervolles Ergebnis. Alle Ergebnisse aus Irrtümern der Regierungen sind ganz wundervoll.

Es ist auch zu beachten, daß der Individualismus nicht mit irgendwelchem matten Geschwätz über Pflichten an uns herantritt, das nichts anderes bedeutet, als daß man das tun soll, was die anderen wollen, weil sie es wollen; noch mit dem abscheulichen Geschwätz von Selbstaufopferung, diesem Überbleibsel der barbarischen Sitte der Selbstverstümmelung. Der Individualismus tritt an den Menschen überhaupt mit keinen Forderungen heran. Er entspringt in natürlicher und unvermeidlicher Weise aus dem Menschen selbst. Zu dieser Differenzierung wächst sich jeder Organismus aus. Zu diesem Punkt strebt alle Entwicklung hin. Er bedeutet die Vollendung, die in jeder Lebensform schlummert, zu der sich jede Lebensform hin entwickelt. So übt der Individualismus keinen Zwang auf den Menschen aus. Im Gegenteil, er sagt dem Menschen, er solle keinen Zwang auf sich ausüben lassen. Er versucht nicht, die Menschen zu zwingen, gut zu sein. Er weiß, daß die Menschen gut sind, wenn man sie nur in Frieden läßt. Der Mensch wird den Individualismus aus sich selbst heraus entwickeln. Der Mensch entwickelt schon jetzt den Individualismus in dieser Weise. Die Frage, ob der Individualismus etwas Praktisches ist, gleicht der Frage, ob die „Entwicklung“ praktisch ist. Entwicklung ist das Gesetz des Lebens, und es gibt keine andere Entwicklung als zum Individualismus hin. Wo sich diese Tendenz nicht ausdrückt, liegt immer künstlich aufgehaltenes Wachstum vor, Krankheit oder Tod.

Der Individualismus wird auch selbstlos und ungekünstelt sein. Es ist darauf hingewiesen worden, daß eins der Ergebnisse der außerordentlichen Tyrannie der Autorität sich darin zeige, daß die Worte aus ihrer natürlichen und einfachen Bedeutung völlig entstellt wurden und daß man sie dazu mißbraucht, das Gegenteil ihres natürlichen Sinnes

zu besagen. Was in der Kunst für wahr gilt, bleibt auch für das Leben wahr. Man nennt jetzt einen Menschen, der sich nach seiner Neigung kleidet, gekünstelt. Aber wenn er das tut, so handelt er in völlig natürlicher Weise. Die Künstlichkeit liegt hier darin, daß man sich nach dem Geschmack seiner Mitmenschen kleidet, der vermutlich, da er ja der Mehrzahl ist, sehr dumm sein wird. Oder man nennt den Menschen selbstisch, wenn er sein Leben auf eine Art führt, die ihm zur vollen Betätigung seiner eigenen Persönlichkeit am meisten geeignet dünkt; vorausgesetzt natürlich, daß die Selbstentwicklung wirklich das erste Ziel seines Lebens bildet. Aber jeder sollte sein Leben auf solche Weise einrichten. Die Selbstsucht besteht nicht darin, daß man sein Leben so lebt, wie man wünscht, sondern darin, daß man von anderen erwartet, daß sie so leben, wie man wünscht. Selbstlosigkeit heißt, andere in Frieden lassen und sich nicht in ihr Tun mengen. Die Selbstsucht ist immer bestrebt, um sich herum eine völlige Gleichheit des Typus hervorzurufen. Die Selbstlosigkeit erkennt das Reizvolle der unendlichen Mannigfaltigkeit der Typen an, nimmt sie hin, ist damit zufrieden, ja freut sich sogar darüber. Es ist keineswegs selbstsüchtig, auf seine Weise zu denken. Wer nicht auf seine Weise denkt, denkt überhaupt nicht. Es ist äußerst selbstsüchtig, von dem Mitmenschen zu verlangen, daß er in derselben Weise denke, dieselben Meinungen hege. Warum sollte er das? Wenn er denken kann, wird er wahrscheinlich verschieden denken. Wenn er nicht denken kann, ist es lächerlich, überhaupt von ihm Gedanken irgendwelcher Art zu verlangen. Eine rote Rose ist doch nicht selbstsüchtig, weil sie eine rote Rose sein will. Sie wäre schrecklich selbstsüchtig, wenn sie von allen anderen Blumen des Gartens verlangte, daß diese sowohl rot als auch Rosen seien. Unter der Herrschaft des Individualismus werden die Leute ganz natürlich und völlig selbstlos sein, sie werden die Bedeutung der Worte kennen und diese in ihrem eigenen freien, herrlichen Dasein zur Betätigung bringen. Auch werden die Menschen nicht länger Egoisten sein, wie jetzt. Denn ein Egoist ist der, der Ansprüche an andere macht, und der Individualist wird gar nicht den Wunsch danach hegen. Es wird ihm kein Vergnügen bereiten. Wenn der Mensch einmal weiß, was Individualismus ist, dann wird er auch wissen, was Mitgefühl ist, und wird dieses frei und ohne Zwang betätigen. Gegenwärtig besitzt der Mensch noch kaum veredeltes Mitgefühl. Er empfindet bloß mit dem Leiden, und diese Form des Mitgefühls ist keineswegs die höchste. Jedes Mitgefühl ist etwas Schönes, aber die am wenigsten schöne Art ist das Mitgefühl mit dem Leiden. Es ist mit Egoismus befleckt. Es trägt den Keim der Krankheit in sich. Es liegt darin auch eine gewisse Angst für die eigenen Sicherheit. Wir

fürchten, selbst in den gleichen Zustand wie die Aussätzigen oder der Blinde zu geraten; wir fürchten, daß dann niemand für uns sorgen werde. Es hat auch eine seltsame Begrenztheit. Man sollte mit der Fülle des Lebens Sympathie empfinden, nicht bloß mit seinen Schmerzen und Krankheiten, sondern mit der Bejahung, Schönheit, Kraft, Gesundheit und Freiheit des Daseins. Je weiter das Mitgefühl reicht, desto schwerer ist dies natürlich. Es verlangt mehr Selbstlosigkeit. Jedermann vermag mit den Leiden eines Freundes Sympathie zu empfinden, aber es setzt ein erlesenes Wesen voraus – es setzt in der Tat das Wesen eines echten Individualisten voraus -, an dem Erfolg eines Freundes teilzunehmen. In dem modernen Ungestüm der Konkurrenz, in dem Kampf um den Platz im Leben findet sich natürlich solche Teilnahme selten, sie wird auch sehr durch das unsittliche, jetzt allgemein verbreitete Ideal der Gleichförmigkeit des Typus und durch die Anpassung an die Regel erstickt, ein Ideal, das jetzt vielleicht am schädlichsten in England wirkt.

Mitgefühl mit dem Leiden wird selbstverständlich immer bestehen. Es ist einer der primären Instinkte des Menschen. Die Tiere, die individuell sind, das heißt die höher organisierten Tiere, teilen diese Empfindung mit uns. Aber man muß hier daran erinnern, daß zwar das Mitgefühl mit der Freude die Summe der Lebensfreudigkeit in der Welt steigert, das Mitgefühl mit dem Leiden dagegen keineswegs die Fülle des Leidens wirklich verringert. Der Mensch kann dadurch das Übel wohl leichter ertragen, aber das Übel selbst bleibt. Das Mitgefühl mit den Opfern der Schwindsucht heilt die Schwindsucht nicht. Das ist Aufgabe der Wissenschaft. Und wenn einmal der Sozialismus das Problem der Armut und die Wissenschaft das Problem der Krankheit gelöst hat, dann werden dem Reich der Sentimentalen engere Grenzen gezogen sein, und das Mitgefühl der Menschen wird ein umfassendes, ein gesundes, natürliches sein. Der Mensch wird an der Betrachtung des freudigen Daseins der anderen selbst Freude finden.

Denn nur durch die Freude wird der Individualismus der Zukunft sich entfalten. Christus hat keinen Versuch gemacht, die Gesellschaft neu auszubauen; so ist es natürlich, daß der von ihm gepredigte Individualismus nur durch Leiden oder in der Einsamkeit sich verwirklichen ließ. Die Ideale, die wir Christus verdanken, sind die Ideale eines Menschen, der die Gesellschaft ganz aufgegeben hat oder der ihr völligen Widerstand entgegengesetzt. Aber der Mensch ist von Natur aus ein geselliges Wesen. Selbst die Thebais wurde schließlich bevölkert. Und wenn auch der Mönch seine Persönlichkeit auslebt, ist es oft eine ärmliche Persönlichkeit, die er so auslebt. Andererseits hat die furchtbare Wahrheit, daß der Mensch durch das Leiden sich selbst verwirklichen

könne, auf die Welt eine wunderbar bezaubernde Wirkung ausgeübt. Seichte Redner und seichte Denker schwätzen oft von den Tribünen und Kanzeln herab über die Genußsucht der Welt und jammern darüber. Aber in der Weltgeschichte ist nur selten ihr Ideal das der Freude und der Schönheit gewesen. Die Anbetung des Leidens hat in der Welt weit öfter geherrscht. Das Mittelalter mit seinen Heiligen und Märtyrern, mit seiner Vorliebe für die Selbstquälerei, seiner wilden Leidenschaft für die Selbstverwundung, seinem Losgehen mit Messern und seinen Geißelungen – das Mittelalter ist das wirkliche Christentum, der Christus des Mittelalters ist der wirkliche Christus. Als die Renaissance über der Welt aufdämmerte und die neuen Ideale von Lebensschönheit und Lebensfreudigkeit mit sich führte, verstanden die Menschen Christus nicht mehr. Selbst die Kunst zeigt uns das. Die Maler der Renaissance stellten Christus als ein Knäblein dar, das mit einem anderen Knaben in einem Palast oder einem Garten spielt oder im Arm der Mutter ruht und ihr oder einer Blume oder einem glänzenden Vogel zulächelt; oder sie malten ihn als vornehme, würdevolle Gestalt, die erhaben die Welt durchschreitet; oder als eine wundervolle Gestalt, die sich in einer Art Ekstase vom Tod zum Leben erhebt. Selbst wenn sie den gekreuzigten Christus malen, bilden sie ihn als den herrlichen Gott, über den die bösen Menschen Leiden verhängt haben. Aber er beschäftigte die Maler nicht sehr. Was diese entzückte, war die Darstellung der Männer und Frauen, die sie bewunderten, war, die Lieblichkeit dieser lieblichen Erde zu zeigen. Sie haben viele religiöse Gemälde gemalt, in der Tat viel zu viele, und die Einförmigkeit der Typen und Motive ermüdet; sie war für die Kunst nicht vorteilhaft. Sie war das Ergebnis der Autorität des Volkes in Sachen der Kunst und ist zu bedauern. Aber ihre Seele war nicht dabei. Raffael war ein großer Künstler, als er sein Bildnis des Papstes schuf. Als Maler seiner Madonnen und Christusknäblein ist er es durchaus nicht. Christus hatte der Renaissance keine Botschaft zu bringen, der Renaissance, die so wundervoll war, weil sie ein Ideal brachte, das von dem seinen völlig verschieden gewesen; um den wirklichen Christus zu finden, müssen wir uns der Kunst des Mittelalters zuwenden. Da erscheint er als der Verstümmelte und Gemarterte; als einer, der nicht mit lieblichem Gewande bekleidet ist, denn auch dies könnte Freude gewähren: er ist ein Bettler mit einer wundervollen Seele; er ist ein Aussätziger mit einer göttlichen Seele; er bedarf weder des Besitzes noch der Gesundheit; er ist ein Gott, der seine Vollkommenheit durch Leiden gewinnt.

Die Entwicklung des Menschen schreitet langsam vor. Die Ungerechtigkeit der Menschen ist groß. Es war notwendig, das Leiden als

eine Form, sich selbst zu verwirklichen, hinzustellen. Selbst jetzt ist noch für manche Stätte der Welt die Botschaft Christi notwendig. Keiner, der im modernen Rußland lebt, könnte seine Vollkommenheit anders, als durch das Leiden gewinnen. Einige wenige russische Künstler haben sich in der Kunst zu verwirklichen gewußt, in Romanen, deren Charakter das mittelalterliche Gepräge bewahrt, denn die verherrschende Note ist die Verwirklichung des Menschen durch das Leiden. Aber für die, welche keine Künstler sind und kein anderes Leben, als das äußerlichtätige kennen, führt nur ein Tor zur Vollendung, das Leiden. Ein Russe, der unter dem gegenwärtigen russischen Regierungssystem glücklich zu leben vermag, glaubt entweder, der Mensch habe keine Seele oder es sei diese Seele der Entwicklung unwert. Der Nihilist, der jede Autorität verwirft, da er diese als Übel erkannt hat und der alles Leiden willkommen heißt, weil er dadurch seine Persönlichkeit verwirklicht, ist ein echter Christ. Für diesen bedeutet das christliche Ideal die Wahrheit.

Und doch bäumte sich Christus nicht wider die Autorität auf. Er ließ die Regierungshoheit des römischen Kaisertums gelten und zahlte Tribut. Er ertrug die Gewalt der jüdischen Kirche und widersetzte sich ihrer Gewaltsamkeit nicht durch irgendwelche eigene Gewaltsamkeit. Er hatte, wie ich früher sagte, keinen Plan, die Gesellschaft neu aufzubauen. Aber die moderne Welt besitzt solche Pläne. Sie schlägt vor, die Armut und das daraus erwachsende Leiden zu vernichten. Sie will des Leidens und der daraus fließenden Qualen Herr werden. Sie hat sich dem Sozialismus und der Wissenschaft als ihren Methoden anvertraut. Ihr Ziel ist ein Individualismus, der sich durch Freude ausdrückt. Dieser Individualismus wird weiter, an Fülle reicher, lieblicher sein, als irgendeine bisherige Form des Individualismus. Das Leiden ist nicht die letzte Stufe der Vollendung. Es ist nur ein vorläufiger Zustand und ein Protest. Es steht im Zusammenhange mit schlechten, ungesunden, ungerechten Verhältnissen. Wenn einmal die Schlechtigkeit, die Krankheit und die Ungerechtigkeit aus der Welt geschwunden sein werden, dann wird es fürder keinen Platz mehr finden. Es wird sein Werk vollbracht haben; es war ein bedeutendes Werk, aber es ist bereits beinahe vorüber. Sein Reich verliert jeden Tag an Umfang.

Auch wird es niemand entbehren. Denn wonach der Mensch gestrebt hat, das ist in der Tat weder Leid noch Freude, sondern einfach das Leben. Der Mensch ist bestrebt, ein voll empfundenes, ganzes Leben zu führen. Wenn er dieses vermag, ohne wider die andern Zwang zu üben oder selbst Zwang zu erdulden, wenn ihm jede Art seiner Lebensbetätigung Freudigkeit erweckt, dann wird er gesunder, kräftiger, kultivierter werden, dann wird er mehr er selbst sein. In der Freude

drückt sich die Natur aus, da stimmt sie bei. Der Glückliche lebt im Einklange mit sich und seiner Umgebung. Der neue Individualismus, in dessen Diensten der Sozialismus, ob er nun will oder nicht, arbeitet, wird vollkommene Harmonie sein. Er wird die Erfüllung dessen bringen, wonach die Griechen sich sehnten und was sie nicht zu erreichen vermochten, außer in Gedanken, weil sie Sklaven besaßen und diesen Nahrung gaben; er wird die Erfüllung dessen sein, wonach sich die Renaissance sehnte, was sie nur in der Kunst völlig zu verwirklichen vermochte, weil sie Sklaven hielt und diese Hungers sterben ließ. Er wird etwas Vollendetes sein, und durch ihn wird jeder Mensch zu seiner Vollendung gelangen. Der neue Individualismus ist das neue Griechentum.

1922

Oscar Wilde

L'ANIMA DELL'UOMO

(traduzione di Marco Vignolo Gargini)

Il vantaggio principale che deriverebbe dalla istituzione del socialismo è, senza dubbio, il fatto che il socialismo ci allevierebbe da quella sordida necessità di vivere per gli altri che, allo stato attuale delle cose, opprime così tanto praticamente tutti. In realtà, quasi nessuno vi si sottrae. Ogni tanto, nel corso del secolo, un grande uomo di scienza, come Darwin, un grande poeta come Keats, un raffinato spirito critico come M. Renan e un artista supremo come Flaubert sono stati capaci di isolarsi, di tenersi fuori dalla portata delle fragorose pretese altrui, di rimanere "sotto il riparo della parete", per dirla con Platone, e così realizzare la perfezione di ciò che era in lui, con suo incomparabile guadagno e con incomparabile e duraturo guadagno del mondo intero. Queste, tuttavia, sono eccezioni. La maggioranza della gente rovina la propria vita con un altruismo malsano ed esagerato: in realtà, è costretta a rovinarla. Si trovano circondati da una povertà ripugnante, da una bruttezza ripugnante, da una fame ripugnante. È inevitabile che se ne lascino fortemente commuovere. Le emozioni dell'uomo sono stimolate più rapidamente della sua intelligenza; e come ho messo in evidenza qualche tempo fa in un articolo sulla funzione della critica, è molto più facile avere simpatia per la sofferenza che per il pensiero. Di conseguenza essi si dedicano con ammirabili, seppur mal dirette, intenzioni al compito di porre rimedio ai mali che vedono. Ma i loro rimedi non curano il male: lo prolungano soltanto. Anzi, i loro rimedi sono parte del male.

Tentano di risolvere il problema della povertà, per esempio, tenendo in vita il povero; oppure, nel caso di una scuola molto avanzata, divertendolo.

Ma questa non è una soluzione: è un peggioramento delle difficoltà. Il giusto scopo è quello di provare a ricostruire la società in modo tale che la povertà risulti impossibile. E le virtù altruistiche hanno davvero impedito che si realizzasse questo scopo. Allo stesso modo i peggiori proprietari di schiavi erano quelli gentili con loro, impedendo così che l'orrore del sistema fosse percepito da chi lo subiva e compreso da chi lo osservava, e così in Inghilterra, allo stato attuale delle cose, coloro che fanno più danni sono proprio quelli che più cercano di fare del bene; e alla fine abbiamo avuto lo spettacolo di uomini che hanno davvero studiato il problema e conoscono la vita — persone colte che vivono nell'*East End* — che si fanno avanti implorando la società di trattenere i suoi impulsi altruistici di carità, benevolenza e simili. Lo fanno per il semplice motivo che questa carità degrada e demoralizza. Hanno perfettamente ragione: la carità crea una gran quantità di peccati.

Occorre dire anche questo. è immorale usare la proprietà privata per alleviare gli orribili mali che risultano dalla sua istituzione. è sia immorale che ingiusto.

Sotto il socialismo tutto ciò, naturalmente, cambierà. Nessuno vivrà più in fetide tane o con fetidi stracci addosso, né alleverà più figli malati e tormentati dalla fame in ambienti impossibili e assolutamente ripugnanti. La sicurezza della società non dipenderà più, come succede oggi, dalle condizioni del tempo. Se viene una gelata non avremo più centinaia di migliaia di uomini senza lavoro che sfilano per le strade in uno stato di miseria disgustosa, o che chiedono gemendo l'elemosina ai loro vicini o si affollano davanti alle porte di nauseanti rifugi cercando di assicurarsi un tozzo di pane e un alloggio sporco per la notte. Ogni membro della società condividerà la generale prosperità e felicità della società, e se viene una gelata nessuno in pratica avrà la peggio.

D'altronde, il socialismo avrà un valore di per sé, semplicemente perché porterà all'individualismo.

Il socialismo, il comunismo, o comunque lo si voglia chiamare, convertendo la proprietà privata in ricchezza pubblica, e sostituendo la cooperazione alla concorrenza, riporterà la società alle sue condizioni originarie di organismo del tutto sano, e assicurerà il benessere materiale di ogni membro della comunità. Di fatto, conferirà alla vita le basi e l'ambiente a lei più idonee. Però, perché la vita si sviluppi nella sua perfezione massima, occorre qualcos'altro. Ciò che è necessario è l'Individualismo. Se il Socialismo è autoritario; se vi sono governi armati di potere economico come lo sono ora di potere politico; se, in una parola, dobbiamo avere delle tirannie industriali, allora l'ultima condizione dell'uomo sarà peggiore della prima. Al momento, in conseguenza dell'esistenza della proprietà privata, moltissima gente è capace di sviluppare un certo valore limitatissimo di Individualismo. C'è chi o non ha bisogno di lavorare per vivere, oppure chi è in grado di scegliere la sfera dell'attività che gli è veramente congeniale e gli offre piacere. Questi sono i poeti, i filosofi, gli uomini di scienza, di cultura – in una parola, i veri uomini, gli uomini che hanno realizzato se stessi, e nei quali tutta l'umanità guadagna una parziale realizzazione. D'altro canto, vi sono moltissime persone che, non avendo di suo alcuna proprietà privata, e essendo semplicemente sull'orlo della fame, sono costrette a fare il lavoro delle bestie da soma, il lavoro che non è affatto loro congeniale e al quale sono forzate dalla perentoria, irragionevole, degradante tirannia del volere. Questi sono i poveri; e tra questi non c'è grazia di costumi, o fascino di parola, o civilizzazione, o cultura, o raffinamento di piaceri, o gioia di vita. Dalla loro forza collettiva l'umanità ricava molto in

prosperità materiale. Ma è solo il risultato materiale che ricava, e l'uomo che è povero è in se stesso assolutamente di nessuna importanza. Il povero è soltanto la particella infinitesimale di una forza che, lungi dal considerarlo, lo schiaccia: e difatti preferisce schiacciarlo perché, in tal caso, è molto più obbediente.

Naturalmente, si potrebbe dire che l'individualismo generato nelle condizioni di proprietà privata non è sempre, o almeno di regola, di natura raffinata o meravigliosa, e che i poveri, se non hanno cultura o fascino, hanno comunque molte virtù. Entrambe queste affermazioni sarebbero del tutto vere. Il possesso della proprietà privata è molto spesso estremamente demoralizzante e questo è, naturalmente, uno dei motivi per cui il socialismo se ne vuole liberare. Di fatto la proprietà è davvero una seccatura. Alcuni anni fa c'era gente che si aggirava per il paese affermando che la proprietà ha i suoi doveri. Lo dicevano così spesso e così insistentemente che alla fine ha cominciato a dirlo anche la Chiesa. Ora lo si sente da tutti i pulpiti. è perfettamente vero. La proprietà non solo ha i suoi doveri, ma ne ha così tanti che il suo possesso in gran quantità risulta essere una noia. Comporta infinite pretese, infinita attenzione agli affari, infinite grane. Se la proprietà implicasse semplicemente piaceri, potremmo sopportarla; sono i suoi doveri a renderla intollerabile. Dobbiamo liberarcene nell'interesse dei ricchi. Le virtù dei poveri possono essere facilmente ammesse e sono da deplorare assai. Spesso si dice che i poveri sono grati per la carità che ricevono. Alcuni di loro lo sono, senza dubbio, ma i migliori tra i poveri non sono mai grati. Sono ingratiti, insoddisfatti, disobbedienti e ribelli. Hanno proprio ragione ad esserlo. La carità che loro percepiscono è alla stregua di un modo inadeguato e ridicolo di restituzione parziale, un sussidio sentimentale, spesso accompagnato da qualche impertinente tentativo sul versante del sentimentalista di esercitare la sua tirannia sulla loro vita privata. Perché dovrebbero essere grati per le briciole che cadono dalla tavola del ricco? Dovrebbero essersi seduti al bordo e cominciare a saperlo. Riguardo all'insoddisfazione, un uomo che non fosse insoddisfatto di tali contorni e di un tale basso livello di vita sarebbe un perfetto bruto. La disobbedienza, agli occhi di chiunque abbia letto la storia, è la virtù originale dell'uomo. è attraverso la disobbedienza che il progresso si è realizzato, attraverso la disobbedienza e la ribellione. Talvolta i poveri sono lodati per la loro parsimonia, ma raccomandare la parsimonia a un povero è sia grottesco che offensivo. è come consigliare a uno che stia morendo di fame di mangiare meno. Per un operaio cittadino o agricolo, praticare la parsimonia sarebbe assolutamente immorale. L'uomo non dovrebbe essere pronto a mostrare che può vivere come una

bestia mal nutrita. Dovrebbe rifiutare di vivere così, e pure rubare o andare a vivere negli ospizi, che da molti è considerata una forma di furto. Riguardo l'accattonaggio, è più sicuro mendicare che prendere, ma è più bello prendere che mendicare. No: un povero che è ingrato, prodigo, scontento e ribelle, è probabilmente una vera personalità, ed ha molto in sé. Egli è comunque una protesta salutare. Per ciò che concerne i poveri virtuosi, si può compatirli, naturalmente, ma certamente non si può ammirarli. Essi hanno preso accordi privati con il nemico, e venduto la loro primogenitura per una pessima minestra. Debbono anche essere straordinariamente stupidi. Io posso capire facilmente un uomo che accetta le leggi che proteggono la proprietà privata, e ammette la sua accumulazione, fino a quando egli stesso è in grado, sotto queste condizioni, di realizzare qualche forma di vita bella e intellettuale. Ma è per me quasi incredibile come un uomo, la cui vita sia rovinata e resa ignobile da tali leggi, possa assolutamente acconsentire alla loro continuità.

A ogni modo, la spiegazione non è poi tanto difficile da trovare. È semplicemente così. La miseria e la povertà sono assolutamente degradanti ed esercitano un effetto talmente paralizzante sulla natura dell'uomo che nessuna classe è mai davvero cosciente delle propria sofferenza. Occorre che siano gli altri a parlargliene e spesso non gli credono neanche un po'. Ciò che i grandi industriali dicono degli agitatori è indiscutibilmente vero. Gli agitatori sono un gruppo di persone che interferiscono e si intromettono, approcciano una qualsiasi classe perfettamente soddisfatta e seminano al suo interno i semi dell'insoddisfazione. Questo è il motivo per cui gli agitatori sono così assolutamente necessari. Senza di loro, nel nostro stato incompleto, non si avrebbe alcun progresso verso la civiltà. La schiavitù fu abolita in America, non in seguito a una qualche azione da parte degli schiavi, o anche a un qualche desiderio espresso da loro di libertà. Fu abolita soltanto in seguito alla condotta grossolana e illegale di certi agitatori di Boston e altrove che non erano schiavi né proprietari di schiavi e non avevano davvero nulla a che fare con la faccenda. Indubbiamente furono gli abolizionisti ad accendere la torcia e a dare inizio a tutta la vicenda. Ed è curioso notare come dagli stessi schiavi essi abbiano ricevuto non solo pochissima assistenza, ma quasi nessuna simpatia; e quando alla fine della guerra gli schiavi si ritrovarono liberi, si ritrovarono così assolutamente liberi che erano liberi di morire di fame e molti di loro depolarono amaramente la nuova situazione. Per chi rifletta, l'evento più tragico di tutta la Rivoluzione francese non è che Maria Antonietta fu uccisa perché era una regina, ma che i contadini affamati della Vandea

andassero volontariamente incontro alla morte per l'odiosa causa del feudalesimo.

È chiaro, quindi, che nessun socialismo autoritario potrà funzionare. Perché mentre nel sistema attuale un gran numero di persone possono condurre una vita che abbia una certa dose di libertà, espressività e felicità, in un sistema di baracche industriali, o in un sistema di tirannia economica, nessuno potrebbe assolutamente godere di tale libertà. È deplorevole che parte della nostra comunità debba vivere praticamente in schiavitù, ma proporre di risolvere il problema riducendo in schiavitù l'intera comunità è infantile. Ogni uomo deve essere lasciato completamente libero di scegliersi il proprio lavoro. Nessuna forma di costrizione deve essere esercitata su di lui. Altrimenti, il suo lavoro non sarà buono per lui, non sarà buono in sé, non sarà buono per gli altri. E per lavoro io intendo semplicemente qualunque genere d'attività.

Io non riesco a credere che qualsiasi socialista, oggigiorno, possa seriamente proporre che un ispettore si presenti ogni mattina in tutte le case per controllare che ciascun cittadino si sia alzato e abbia svolto le sue otto ore di lavoro manuale. L'umanità ha superato quello stadio e riserva una forma di vita tale a coloro che, in modo molto arbitrario, essa sceglie di chiamare criminali. Ma confesso che molte delle opinioni socialiste che ho incontrato mi sembrano maculate da idee autoritarie, se non di reale coercizione. Naturalmente, autoritarismo e coercizione sono fuori discussione. Tutte le associazioni debbono essere volontarie. È solo nelle associazioni volontarie che l'uomo si trova bene.

Ci si potrebbe chiedere come l'individualismo, che adesso è più o meno dipendente dall'esistenza della proprietà privata, beneficerà dell'abolizione di tale proprietà. La risposta è molto semplice. È vero che, nelle attuali condizioni, pochi uomini che hanno avuto mezzi privati propri, come Byron, Shelley, Browning, Victor Hugo, Baudelaire e altri, sono stati in grado di realizzare la loro personalità più o meno completamente. Nessuno di questi uomini ha mai lavorato un solo giorno per il salario. Essi erano affrancati dalla povertà. Avevano un vantaggio immenso. La domanda è se sia per il bene dell'individualismo che tale vantaggio debba essere abolito. Supponiamo che lo sia. Cosa accadrebbe allora all'individualismo? Come ne beneficerà?

Ne beneficerà in questo modo. Nelle nuove condizioni l'individualismo sarà di gran lunga più libero, più raffinato e più intensificato di quanto non lo sia adesso. Non sto parlando del grande individualismo fantasiosamente realizzato dai poeti che ho menzionato, ma del grande vero individualismo generalmente latente e potenziale nel genere umano. Perché il riconoscimento della proprietà privata ha

veramente nuociuto all'Individualismo, e lo ha oscurato, confondendo un uomo con ciò che possiede. Questo ha portato l'Individualismo completamente fuori strada. Ha reso il guadagno, non la crescita, il suo scopo ultimo. Cosicché l'uomo s'è messo a pensare che la cosa importante è l'avere, non sapendo che invece è l'essere. La vera perfezione dell'uomo sta non in ciò che l'uomo possiede, ma in ciò che l'uomo è.

La proprietà privata ha schiacciato il vero individualismo e ha instaurato un individualismo che è falso. Ha precluso a una parte della comunità di essere individuale facendola morire di fame. Ha precluso all'altra parte della comunità di essere individuale mettendola sulla strada sbagliata e intralciandola. Infatti, la personalità dell'uomo è stata talmente assorbita dai suoi possedimenti che la legge inglese ha sempre trattato i reati contro la proprietà con molta più severità dei reati contro la persona, e la proprietà continua a essere la prova della cittadinanza completa. L'industria necessaria per fare denaro è inoltre molto demoralizzante. In una comunità come la nostra, dove la proprietà conferisce distinzione, posizione sociale, onore, rispetto, titoli immensi, e altre piacevolezze del genere, l'uomo, essendo ambizioso di natura, si prefigge lo scopo di accumulare questa proprietà, e continua ad accumularne tra fatica e tedio anche molto dopo che ha acquisito assai più di ciò che vuole e può usare o godere, o forse anche conoscere. L'uomo si ucciderà con il superlavoro per difendere la proprietà, e davvero, considerando gli enormi vantaggi arrecati dalla proprietà, non c'è da meravigliarsi. Dispiace che la società sia costruita su tali basi, che l'uomo è stato forzato in una routine in cui non può sviluppare liberamente ciò che in lui è meraviglioso e affascinante e delizioso – routine nella quale, di fatto, egli si perde il vero piacere e la vera gioia di vivere. È inoltre, nelle attuali condizioni, molto insicuro. Un mercante estremamente ricco può essere – spesso lo è – in ogni momento della sua vita alla mercé di cose che non sono sotto il suo controllo. Se il vento soffia un nodo in più, o il clima cambia repentinamente, o accadono altre cose da niente, la sua nave può affondare, le sue speculazioni possono andare male ed egli si ritrova a essere un povero, con la sua posizione sociale perduta. Ora, niente dovrebbe essere in grado di danneggiare un uomo, se non egli stesso. Niente dovrebbe essere in grado di rapinare un uomo. Quel che un uomo ha davvero è ciò che è in lui. Ciò che è fuori di lui dovrebbe essere una faccenda di nessuna importanza.

Con l'abolizione della proprietà privata, allora, noi potremo avere un Individualismo vero, bello, salutare. Nessuno sprecherà la sua vita ad

accumulare cose e simboli di cose. Si vivrà. Vivere è la cosa più rara al mondo. Infatti molti si limitano ad esistere, ecco tutto.

La domanda da porsi è se abbiamo mai visto la piena espressione di una personalità, se si eccettua il piano immaginifico dell'arte. Nell'azione non l'abbiamo mai vista. Cesare, dice Mommsen, era l'uomo completo e perfetto. Ma quanto tragicamente insicuro era Cesare! Ovunque vi sia un uomo che esercita l'autorità, là c'è un uomo che oppone resistenza all'autorità. Cesare era perfetto, ma la sua perfezione percorse strade troppo pericolose.

Marco Aurelio era l'uomo perfetto, dice Renan. Sì, il grande imperatore era un uomo perfetto. Ma quanto erano intollerabili le infinite richieste a lui rivolte! Egli barcollava sotto il fardello dell'impero. Era cosciente di quanto un solo uomo fosse inadeguato per portare il peso di quel Titano e di quell'orbe troppo vasto. Ciò che intendo con uomo perfetto è uno che si sviluppa in condizioni perfette; uno che non è ferito, o preoccupato, o menomato, o in pericolo. Molte personalità sono state obbligate a essere ribelli. Metà della loro forza è andata perduta nell'attrito. La personalità di Byron, per esempio, andò terribilmente sprecata nella sua battaglia contro la stupidità e l'ipocrisia e il filisteismo degli Inglesi. Queste battaglie non sempre intensificano la forza: spesso esse esagerano la debolezza. Byron non fu mai capace di darci ciò che avrebbe potuto darci. Shelley se la cavò meglio. Come Byron, lasciò l'Inghilterra appena fu possibile. Ma non era altrettanto famoso. Se gli Inglesi avessero mai avuto la minima idea di quanto fosse un grande poeta, gli si sarebbero gettati addosso con le unghie e con i denti rendendogli la vita insopportabile, con tutte le loro forze. Egli però non era una figura di spicco in società, e di conseguenza se la cavò, fino a un certo punto. Tuttavia anche in Shelley la nota di ribellione è talvolta troppo forte. La nota della personalità perfetta non è la ribellione, ma la pace.

Sarà una cosa meravigliosa, la vera personalità dell'uomo, quando finalmente la vedremo.

Crescerà naturalmente e semplicemente, come cresce un fiore o un albero. Non sarà in discordia. Mai si troverà a discutere o litigare. Non dimostrerà alcunché. Saprà tutto. Eppure senza faticare troppo per la conoscenza. Sarà saggia. Il suo valore non si misurerà con le cose materiali. Non avrà niente. E tuttavia avrà tutto, e qualsiasi cosa le si

tolga, avrà ancora, da quanto sarà ricca. Non si intrometterà negli affari degli altri, né chiederà loro di essere come se stessa. Li amerà perché saranno diversi. E tuttavia, pur non intromettendosi negli affari degli altri, aiuterà tutti, perché una cosa bella ci aiuta essendo ciò che è.

La personalità dell'uomo sarà meravigliosa. Sarà meravigliosa come la personalità di un bambino.

Nel suo sviluppo sarà assistita dal Cristianesimo, se l'uomo lo desidera; ma se non lo desidera, si svilupperà senz'altro sicuramente. Perché non si preoccuperà del passato né si curerà se le cose sono accadute o meno. Né ammetterà altre leggi se non le proprie, o altra autorità se non la propria. Tuttavia amerà coloro che abbiano cercato di intensificarla e di loro parlerà spesso. E Cristo fu uno di questi.

«Conosci te stesso!» era scritto sul portale del mondo antico. Sul portale del nuovo mondo sarà scritto «Sii te stesso». E il messaggio di Cristo agli uomini era semplicemente «Sii te stesso». Questo è il segreto di Cristo.

Quando Gesù parla dei poveri intende semplicemente le personalità, come quando parla dei ricchi intende semplicemente persone che non hanno sviluppato le loro personalità. Gesù si muoveva in una comunità che permetteva l'accumulazione della proprietà privata proprio come la nostra, e il vangelo da lui predicato non affermava che in una comunità siffatta sia un vantaggio per l'uomo vivere di cibo insufficiente e avariato, indossare abiti stracciati e sudici, dormire in case orride e insalubri, e uno svantaggio vivere in condizioni salubri, piacevoli e decenti. Tale opinione sarebbe stata sbagliata là e allora, e naturalmente sarebbe ancora più sbagliata adesso e in Inghilterra, perché quanto più ci si sposta a Nord tanto più le necessità materiali divengono di importanza vitale, e la nostra società è infinitamente più complessa e presenta condizioni estreme maggiori di lusso e povertà di qualsiasi altra società nel mondo antico. Ciò che Gesù voleva dire era questo. Egli disse: «Tu hai una personalità meravigliosa. Sviluppala. Sii te stesso. Non immaginare che la tua perfezione consista nell'accumulare o nel possedere cose esteriori. Il tuo amore è dentro di te. Se solo tu potessi rendertene conto, tu non vorresti essere ricco. I ricchi comuni possono essere derubati da qualcuno. Ma i veri ricchi no. Nel forziere della tua anima vi sono cose infinitamente preziose che non possono esserti tolte. E allora, cerca di plasmare la tua vita in modo che le cose esteriori non ti danneggino. E cerca pure di sbarazzarti della proprietà personale. Essa comporta preoccupazioni sordide, attenzioni illimitate, mali continui. La proprietà personale ostacola l'Individualismo ad ogni passo».

Va notato che Gesù non dice mai che i meno abbienti siano necessariamente buoni o che i più abbienti siano necessariamente cattivi. Non sarebbe stato vero. I ricchi sono, come classe, migliori di chi è caduto in povertà, sono più morali, più intellettuali, più beneducati. C'è una sola classe nella comunità che pensa al denaro più dei ricchi, ed è

quella dei poveri. I poveri non sanno pensare ad altro. Ecco la miseria dell'essere poveri. Quel che Gesù dice davvero è che l'uomo raggiunge la sua perfezione non attraverso ciò che ha, nemmeno tramite ciò che fa, ma interamente attraverso ciò che è. E così il giovane ricco che va da Gesù è rappresentato del tutto come un ottimo cittadino, che non ha infranto né le leggi del suo Stato né i comandamenti della sua religione. È piuttosto rispettabile, nel senso ordinario che si attribuisce a questa parola straordinaria. Gesù gli dice: «Dovresti rinunziare alla proprietà privata. La proprietà provata ti impedisce di raggiungere la perfezione. È un ostacolo, un peso. La tua personalità non ne ha bisogno. È dentro di te e non fuori di te che troverai ciò che sei davvero e ciò che vuoi davvero». Egli dice la medesima cosa ai suoi stessi amici. Dice loro di essere se stessi e di non stare sempre a preoccuparsi per le altre cose. Che cosa importano le altre cose? L'uomo è completo di per sé. Quando andranno nel mondo, il mondo li contrasterà. È inevitabile. Il mondo odia l'individualismo. Ma questo non deve preoccuparli. Debbono essere calmi ed egocentrici. Se qualcuno toglie loro il mantello, che gli diano anche la veste, proprio per dimostrare che le cose materiali non hanno alcuna importanza. Se la gente li insulta, loro non devono rispondere. Che significa? Le cose che la gente dice di un uomo non lo alterano. Egli è ciò che è. L'opinione pubblica non ha il benché minimo valore. Persino se la gente usa loro violenza non dovranno essere a loro volta violenti: significherebbe scendere allo stesso basso livello. Dopo tutto un uomo può essere libero anche in prigione. La sua anima può essere libera. La sua personalità può essere imperturbabile. Egli può essere in pace. E, soprattutto, essi non dovranno interferire con gli altri o giudicarli in alcun modo. La personalità è una cosa molto misteriosa. Non sempre un uomo può essere giudicato per ciò che fa. Egli può rispettare la legge eppure non valere niente. Egli può infrangere la legge eppure essere buono. Può essere cattivo senza mai fare niente di cattivo. Può commettere un peccato contro la società eppure realizzarne, con quel peccato, la sua vera perfezione.

Ci fu una donna colta in flagrante adulterio. Non ci riferiscono la storia del suo amore, ma quell'amore doveva essere grandissimo: Gesù disse infatti che i suoi peccati le erano perdonati non perché si era pentita, ma perché il suo amore era così intenso e meraviglioso. In seguito, poco tempo prima della sua morte, mentre Gesù si trovava a un banchetto, quella donna gli si avvicinò per versargli sui capelli profumi costosi. Gli amici di Gesù cercarono di interferire, di dire che si trattava di un atto stravagante e che il costo di quel profumo avrebbe potuto essere speso per soccorrere gente in difficoltà, o qualcosa del genere. Gesù non

accettò questo punto di vista. Egli sottolineò che i bisogni materiali dell'uomo sono molto grandi e permanenti, ma che i bisogni spirituali dell'uomo sono ancora più grandi e che in un solo momento divino, scegliendo il proprio modo di esprimersi, una personalità può diventare perfetta. Ancora oggi il mondo adora quella donna come santa.

Sì, nell'individualismo ci sono elementi suggestivi. Il socialismo, per esempio, annienta la vita della famiglia. Con l'abolizione della proprietà privata il matrimonio nella sua forma presente dovrà scomparire. Questo è parte del programma. L'individualismo l'accetta e lo rende più raffinato: converte l'abolizione del vincolo legale in una forma di libertà che aiuterà il pieno sviluppo della personalità e renderà l'amore tra uomo e donna più meraviglioso, più bello e più nobilitante. Gesù lo sapeva. Egli respingeva le rivendicazioni della vita familiare, che pure ai suoi giorni e nella sua comunità esistevano in forma molto marcata. «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?», disse quando fu informato che essi desideravano parlargli. Quando uno dei suoi discepoli gli chiese di potersi allontanare per andare a seppellire suo padre la sua terribile risposta fu: «Lasciate che i morti seppelliscano i morti». Non avrebbe permesso che fosse mai imposta alcuna rivendicazione alla personalità.

E così sarebbe simile a Cristo colui che è perfettamente e assolutamente se stesso. Può trattarsi di un grande poeta o di un grande uomo di scienza; di un giovane studente universitario o di uno che sorveglia le pecore sulle rive di uno stagno; di uno che scrive drammatici, come Shakespeare, o di uno che riflette su Dio, come Spinoza; di un bambino che gioca in un giardino o di un pescatore che getta la sua rete nel mare. Non importa ciò che è, purché realizzi la perfezione dell'anima che è dentro di lui. Ogni imitazione, nella vita e nella morale, è sbagliata. Per le strade di Gerusalemme, oggigiorno, si aggira un matto che porta sulle spalle una croce di legno. È un simbolo delle vite che sono guastate dall'imitazione. Padre Damiano fu simile a Cristo quando andò a vivere con i lebbrosi, perché in tale servizio egli realizzò appieno quanto c'era di meglio in lui. Ma non fu più simile a Cristo di Wagner che realizzava la sua anima nella musica, o di Shelley, quando realizzava la sua anima nella poesia. Non c'è un tipo unico per l'uomo. Ci sono tante perfezioni quanto sono imperfetti gli uomini. E mentre alle esigenze della carità si può cedere eppure rimanere liberi, nessun uomo può cedere alle esigenze del conformismo e rimanere libero.

L'individualismo, quindi, è ciò che cerchiamo di realizzare attraverso il socialismo. Come effetto naturale lo Stato deve rinunciare all'idea di governare. Deve rinunziarvi perché, come disse un uomo

saggio molti secoli prima di Cristo, si dà il caso di lasciare l'umanità da sola, ma non lo si dà di governarla. Tutte le forme di governo sono dei fallimenti. Il dispotismo è ingiusto per tutti, incluso il despota, che probabilmente fu creato per fini migliori. Le oligarchie sono ingiuste per i più, e le oclocrazie sono ingiuste per i pochi. Un tempo le grandi speranze erano state nutritate dalla democrazia; ma la democrazia significa soltanto il randello del popolo su mandato del popolo per il popolo. Lo si è scoperto. Debbo dire che era anche l'ora, poiché l'autorità è sempre piuttosto degradante. Degrada coloro che la esercitano e degrada coloro sui quali è esercitata. Quando è usata in modo violento, rozzo e crudele, produce effetti positivi, creando o comunque provocando lo spirito di rivolta e l'individualismo che è destinato a ucciderla. Quando è usata con una certa gentilezza, e accompagnata da premi e riconoscimenti, è terribilmente demoralizzante. La gente, in tal caso, è meno cosciente dell'orrenda pressione cui è sottoposta, e vive la propria vita in una specie di comodità grossolana, come animali coccolati, senza mai accorgersi che probabilmente pensano i pensieri degli altri, vivono secondo gli standard altrui e vestono quelli che si potrebbero chiamare abiti di seconda mano, senza mai essere se stessi, neppure per un istante. «Chi vuole essere libero», sostiene un raffinato pensatore, «non si deve conformare». E l'autorità, corrompendo la gente al conformismo, produce tra di noi una gran quantità di barbarie ipernutrita.

Con l'autorità le punizioni cesseranno. Questo sarà un gran guadagno, un guadagno davvero di valore incalcolabile. Se si legge la storia, non quella purgata per gli scolari o gli studentelli universitari, ma quella delle autorità originali di ogni tempo, si è assolutamente sbagliati non dai crimini commessi dai cattivi, ma dalle punizioni che i buoni hanno inflitto, e una comunità diventa infinitamente più brutale grazie all'uso abituale delle punizioni, che dal verificarsi del crimine. Da ciò ne consegue che più punizioni vengono inflitte più crimini si producono, e la legislazione più moderna ne ha chiaramente preso atto, prefiggendosi come obiettivo di diminuire le punizioni finché le sembra possibile. Ovunque le abbia davvero diminuite i risultati sono stati estremamente positivi. Quante meno punizioni, tanti meno crimini. Quando non ci sono assolutamente punizioni, i crimini cessano di esistere o, se si verificano, saranno trattati dai medici come una forma assai penosa di demenza, da curarsi con attenzioni e gentilezza. Perché coloro che oggigiorno sono chiamati criminali non lo sono affatto. La fame e non il peccato è la madre del moderno crimine. Questo infatti è il motivo per cui i nostri criminali sono, come classe, così assolutamente poco interessanti da ogni punto di vista psicologico. Non sono meravigliosi Macbeth o terribili

Vautrin. Sono semplicemente ciò che la gente comune, rispettabile e banale sarebbe se non avesse avuto abbastanza da mangiare. Quando sarà abolita la proprietà privata non ci sarà né necessità né richiesta di crimini: cesseranno di esistere. Naturalmente, non tutti i crimini sono reati contro la proprietà, per quanto siano questi i reati che la legge inglese, valutando quel che un uomo possiede più di quello che è, punisce con la più dura e orribile severità, se eccettuiamo l'omicidio e consideriamo la morte peggiore dei lavori forzati, un punto su cui i nostri criminali, io credo, non si trovano d'accordo. Ma per quanto un crimine possa non essere contro la proprietà, può sgorgare dalla miseria e dalla rabbia e dalla depressione prodotte dal nostro sistema sbagliato basato sulla proprietà, e così quando quel sistema sarà abolito il crimine scomparirà. Quando ogni membro della comunità è autosufficiente per i propri bisogni e non subisce le interferenze dei suoi vicini, non avrà alcun interesse a interferire con chiunque altro. La gelosia, che è una fonte straordinaria di crimini nella vita moderna, è un'emozione strettamente connessa alle nostre concezioni di proprietà, e sotto il socialismo e l'individualismo essa si estinguerà. È da notare il fatto che nelle tribù comuniste la gelosia è del tutto sconosciuta. Ora, dal momento che allo Stato non spetta di governare, si può chiedere che cosa debba fare. Lo Stato dovrà essere un'associazione volontaria che organizzerà il lavoro, e sarà il manifattore ed il distributore dei prodotti necessari. Lo Stato farà ciò che è utile. L'individuo ciò che è bello. E poiché ho menzionato la parola «lavoro», non posso fare a meno di dire che ai giorni nostri sulla dignità del lavoro manuale si scrivono e si dicono una gran quantità di sciocchezze. Non c'è proprio niente di necessariamente dignitoso nel lavoro manuale, e in massima parte esso è assolutamente degradante. È mentalmente e moralmente offensivo per un uomo fare qualcosa nel quale egli non trovi piacere, e molte forme di lavoro sono attività davvero spiacevoli e come tali andrebbero considerate. Spazzare per otto ore un incrocio fangoso in un giorno in cui soffia un vento di levante è un'occupazione disgustosa. Spazzarlo con dignità mentale, morale o fisica mi sembra impossibile. Spazzarlo con gioia sarebbe terribile. L'uomo è fatto per qualcosa di meglio della sporcizia che lo disturba. Tutti i lavori di questo genere dovrebbero essere svolti da macchine. E non ho dubbi che sarà così.

Fino ad oggi l'uomo è stato, in una certa misura, lo schiavo delle macchine, e c'è qualcosa di tragico nel fatto che non appena ebbe inventato una macchina che facesse il suo lavoro l'uomo cominciò a morire di fame. Questo è tuttavia il risultato, naturalmente, del nostro sistema basato sulla proprietà e la concorrenza. Un uomo possiede una

macchina che svolge il lavoro di cinquecento uomini. Cinquecento uomini, di conseguenza, perdono l'impiego, e non avendo lavoro da svolgere patiscono la fame e si danno al furto. Un solo uomo si assicura il prodotto della macchina e se lo tiene, e ha cinquecento volte di più di quanto dovrebbe, e probabilmente, cosa questa molto più importante, anche molto di più di quanto davvero vuole. Se quella macchina fosse proprietà di tutti, ciascuno ne trarrebbe beneficio. Sarebbe un immenso vantaggio per la comunità. Tutto il lavoro non intellettuale, tutto il lavoro monotono e noioso, tutto il lavoro che si occupa di cose orribili e implica condizioni spiacevoli deve essere fatto dalle macchine. Le macchine devono lavorare per noi nelle miniere di carbone, fare tutti i servizi sanitari, fare i fuochisti nei piroscafi, spazzare le strade, consegnare i messaggi nei giorni di pioggia e fare tutto ciò che sia noioso o desolante. Attualmente le macchine competono contro l'uomo. Nelle condizioni giuste saranno un servitore dell'uomo. Non c'è alcun dubbio che questo sia il futuro delle macchine, e come gli alberi crescono mentre il signorotto di campagna dorme, così, mentre l'umanità si diverte o gode di piaceri culturali – i quali, e non il lavoro manuale, sono il fine dell'uomo – o fa cose piacevoli o legge cose piacevoli, o semplicemente contempla il mondo con ammirazione e delizia, le macchine faranno ogni lavoro necessario e spiacevole. Il fatto è che la civilizzazione richiede degli schiavi. I greci avevano proprio ragione. Fino a che vi sono schiavi che fanno lavori brutti, orribili, per nulla interessanti, la cultura e la contemplazione diventano pressoché impossibili. La schiavitù umana è sbagliata, insicura e demoralizzante. Il futuro del mondo dipende dalla schiavitù meccanica, dalla schiavitù della macchina. E quando gli uomini di scienza non saranno più chiamati a recarsi in un deprimente East End per distribuire agli affamati un pessimo cacao e coperte anche peggiori, essi godranno di un piacevole ozio, durante il quale escogitare cose stupende e meravigliose per la propria gioia loro e per quella di tutti gli altri. Ci saranno grandi riserve di energia per ogni città, per ogni casa che le richieda, e questa energia l'uomo la convertirà in calore, luce o movimento, a seconda dei suoi bisogni. È utopistico? Una cartina del mondo che non contenga Utopia non è degna neppure di uno sguardo, perché lascia fuori l'unico paese sul quale l'umanità è sempre atterrata. E, quando vi attracca, l'umanità si guarda intorno, vede un paese migliore e issa nuovamente le vele. Il progresso è la realizzazione di Utopia.

Ora, ho detto che la comunità fornirà attraverso l'organizzazione delle macchine le cose utili, e che le cose belle saranno fatte dall'individuo. Ciò non solo è necessario, ma è il solo modo in cui

possiamo assicurarci sia le une che le altre. Un individuo che debba fare cose per altri, con riferimento ai loro bisogni e ai loro desideri, non lavora con interesse e, di conseguenza, non può infondere nel suo lavoro il meglio di sé. D'altro canto ognqualvolta una comunità o una potente parte di essa, o un governo di qualsiasi genere, cercano di imporre all'artista ciò che deve fare, l'arte svanisce completamente o si fa stereotipa o degenera in una bassa e ignobile forma di artigianato. Un'opera d'arte è il risultato unico di un temperamento unico. La sua bellezza deriva dal fatto che l'autore è ciò che è. Non ha niente a che vedere col fatto che gli altri vogliono ciò che vogliono. Di fatto nel momento in cui un artista prende atto dei bisogni degli altri e tenta di ottemperare alle loro richieste, egli cessa di essere un artista e diventa noioso o divertente artigiano, un onesto o disonesto commerciante. Non ha più diritto di essere considerato un artista. L'Arte è l'espressione più intensa di Individualismo che il mondo abbia conosciuto. Sono propenso a dire che è l'unica vera espressione di Individualismo che il mondo abbia conosciuto. Il crimine, che, sotto certe condizioni, può sembrare aver creato l'Individualismo, deve prendere cognizione delle altre persone e interferire con esse. Appartiene alla sfera dell'azione. Ma soltanto l'artista può creare cose belle senza alcun riferimento a ciò che è a lui contiguo, senza alcuna interferenza; e se non crea unicamente per il suo proprio piacere non è per niente un artista. E c'è da notare che è proprio il fatto che l'Arte sia questa intensa forma di Individualismo a fare in modo che il pubblico cerchi di esercitare su di essa un'autorità, che è immorale quanto ridicola, e corruttrice quanto disprezzabile. Ma la colpa non è proprio del pubblico. In ogni tempo, il pubblico è sempre stato educato male. Esso ha chiesto di continuo all'Arte di essere popolare, di deliziare la sua pretesa di gusto, di blandire la sua assurda vanità, di raccontargli ciò che aveva già sentito dire prima, di mostrargli ciò che avrebbe dovuto essere stanco di vedere, di divertirlo quando si sentiva appesantito per aver mangiato troppo, e di distrarre il suo pensiero quando era stanco della propria stupidità. Ora, l'Arte non dovrebbe mai cercare d'essere popolare. Il pubblico dovrebbe cercare di diventare artistico. C'è una differenza molto grande. Se a un uomo di scienza fosse detto che i risultati dei suoi esperimenti e le conclusioni cui perviene debbono essere tali da non sconvolgere le cognizioni popolari sull'argomento, o disturbare i pregiudizi popolari, o urtare la sensibilità della gente che non sa niente di scienza; se a un filosofo fosse detto che ha perfettamente ragione a speculare nelle più alte sfere di pensiero, a condizione che arrivi alle stesse conclusioni sostenute da coloro che non hanno mai pensato in nessuna sfera? orbene, i nostri uomini di scienza e i

nostri filosofi ne sarebbero notevolmente divertiti. Eppure sono passati davvero pochi anni da quando sia la filosofia che la scienza erano di fatto soggette a un controllo popolare brutale, all'autorità: l'autorità della generale ignoranza della comunità, oppure del terrore e della volontà di potenza di una classe ecclesiastica o governativa. Naturalmente ci siamo di gran lunga liberati di qualsiasi tentativo da parte della comunità o della chiesa o del governo di interferire con l'individualismo del pensiero speculativo, ma il tentativo di interferire con l'individualismo dell'arte immaginativa permane. In realtà, questo tentativo fa più che permanere: è aggressivo, offensivo e brutale.

In Inghilterra le arti che più vi si sono sottratte sono quelle per le quali il pubblico non nutre alcun interesse. La poesia è un esempio di ciò che intendo. Siamo stati capaci di avere una buona poesia in Inghilterra perché il pubblico non la legge e di conseguenza non la influenza. Il pubblico ama insultare i poeti perché sono individui ma, una volta che li ha insultati, li lascia in pace. Nel caso del romanzo e del dramma, arti per le quali il pubblico nutre un interesse, il risultato dell'esercizio dell'autorità popolare è stato assolutamente ridicolo. Nessun paese come l'Inghilterra produce una narrativa così mal scritta, così noiosa e banale nella forma del romanzo, opere teatrali così stupide e volgari. Non può essere altrimenti. Il livello popolare ha una tale caratteristica che nessun artista vi si può adattare. È al contempo troppo facile e troppo difficile essere un romanziere popolare. È troppo facile, perché le richieste del pubblico per quel che riguarda l'intreccio, lo stile, la psicologia, la trattazione della vita e la trattazione della letteratura sono alla portata della capacità più infima e della mente meno colta. È troppo difficile, perché per far fronte a simili richieste l'artista dovrebbe violentare il proprio temperamento, dovrebbe scrivere non per la gioia artistica della scrittura ma per il divertimento di persone semicolte e dovrebbe così sopprimere il proprio individualismo, dimenticare la propria cultura, annullare il proprio stile e rinunciare a tutto ciò che in lui vale qualcosa. Nel caso delle opere teatrali le cose vanno un po' meglio: al pubblico che va a teatro piacciono le cose ovvie, è vero, ma non quelle noiose; e la commedia burlesca e farsesca, le due forme più popolari, sono due forme d'arte ben distinte. Possono essere prodotte opere deliziose sotto le forme del burlesco e del farsesco, e in opere di questo tipo gli artisti in Inghilterra godono di grande libertà. È quando si giunge alle forme di teatro più elevate che si vede il risultato del controllo pubblico. L'unica cosa che non piace al pubblico è la novità: ogni tentativo di estendere i soggetti dell'arte è estremamente sgradito al pubblico, e tuttavia la vitalità e il progresso dell'arte dipendono in grande misura dalla continua

estensione dei suoi soggetti. Al pubblico la novità non piace perché ne ha paura. Rappresentano, a suo parere, una modalità dell'individualismo, una rivendicazione da parte dell'artista del diritto di scegliersi i propri soggetti e di trattarli come gli pare. Il pubblico ha ragione, in questo suo atteggiamento. L'arte è individualismo e l'individualismo è una forza che disturba e disintegra. In ciò sta il suo immenso valore. Perché quello che cerca di disturbare è la monotonia del tipo, la schiavitù dei costumi, la tirannia dell'abitudine e la riduzione dell'uomo al livello di una macchina. Nell'arte il pubblico accetta ciò che è stato perché non può modificarlo, non perché lo apprezza. Inghiotte i suoi classici interi e non li assapora mai. Li sopporta come inevitabili e, poiché non può rovinarli, ne ciancia a vanvera. Abbastanza strano, o niente affatto strano, a seconda dei punti di vista, è il fatto che questa accettazione dei classici arrechi loro un gran danno. L'accettazione acritica della Bibbia e di Shakespeare in Inghilterra è un esempio di ciò che intendo. Riguardo alla Bibbia, le considerazioni dell'autorità ecclesiastica entrano nella materia, per cui non occorre che mi soffermi su questo punto. Ma nel caso di Shakespeare è abbastanza ovvio che il pubblico non vede davvero né i pregi né i difetti delle sue opere. Se ne vedesse i pregi, non muoverebbe obiezioni al loro sviluppo; e se ne vedesse i difetti, parimenti non muoverebbe obiezioni al loro sviluppo. Il fatto è che il pubblico si serve dei classici di un paese come un mezzo per ostacolare il progresso dell'Arte. Il pubblico degrada i classici in autorità. Esso li usa come randelli per impedire la libera espressione della Bellezza in nuove forme. Chiede sempre a uno scrittore perché non scrive come un altro, o a un pittore perché non dipinge come un altro, dimenticando del tutto il fatto che se entrambi si mettessero a fare una cosa del genere smetterebbero di essere artisti. Un nuovo modello di Bellezza è assolutamente estraneo al gusto del pubblico, e quand'anche si manifestasse il pubblico diventerebbe così furioso e stordito da usare sempre due stupide espressioni – una è che quell'opera d'arte è grossolanamente incomprensibile; l'altra, che quell'opera d'arte è volgarmente immorale. Ciò che il pubblico intende dire con queste parole mi sembra sia così. Quando dice che un'opera è grossolanamente incomprensibile, vuol dire che l'artista ha detto o fatto una cosa bella che è nuova; quando descrive un'opera come volgarmente immorale, vuol dire che l'artista ha detto o fatto una cosa bella che è vera. La prima espressione si riferisce allo stile, la seconda all'argomento. Ma probabilmente il pubblico usa le parole molto vagamente, come una folla ordinaria adopera i sassi già pronti per il selciato.

Non c'è un singolo vero poeta o prosatore di questo secolo, per esempio, a cui il pubblico britannico non abbia solennemente conferito diplomi di immoralità, e questi diplomi praticamente prendono il posto, da noi, di quello che in Francia è un riconoscimento formale da parte dell'Accademia delle Lettere, e fortunatamente rendono del tutto superflua la nascita di un'istituzione analoga in Inghilterra. Naturalmente il pubblico è molto sprezzante nell'uso della parola. Che avrebbe definito Wordsworth un poeta immorale, c'era soltanto da aspettarselo. Wordsworth era un poeta. Ma che abbia definito Charles Kingsley un romanziere immorale è straordinario. La prosa di Kingsley non era di raffinatissima qualità. Eppure la parola c'è e il pubblico la usa come meglio può. L'artista naturalmente non ne è disturbato. Il vero artista è un uomo che crede assolutamente in se stesso, perché egli è assolutamente se stesso. Ma io posso immaginare che se un artista producesse in Inghilterra un'opera d'arte che al suo apparire fosse immediatamente riconosciuta dal pubblico, tramite il suo mezzo che è la stampa pubblica, come un'opera intelligibile e altamente morale, egli comincerebbe seriamente a domandarsi se nella sua creazione sia stato davvero del tutto se stesso e, di conseguenza, se quell'opera non sia stata indegna di lui o addirittura un'opera di seconda categoria, di nessun valore artistico.

Forse, comunque, ho fatto un torto al pubblico nel limitare il suo lessico a parole come «immorale», «inintelligibile», «esotico» e «malsano». C'è un'altra parola che il pubblico usa. Questa parola è «morboso». Non la usa spesso. Il significato di questa parola è tanto semplice che ha quasi paura a usarla. Nondimeno talvolta la usa, e, ogni tanto, la si trova sui giornali popolari. Naturalmente è ridicolo applicare questa parola a un'opera d'arte. Perché che cos'è la morbosità se non uno stato emotivo o una modalità di pensiero che non si possono esprimere? Tutto il pubblico è morboso, perché il pubblico non può mai trovare l'espressione per niente. L'artista non è mai morboso. Egli esprime tutto. Egli è al di fuori del suo soggetto e con il suo mezzo produce effetti incomparabili ed artistici. Definire un artista morboso perché sceglie quale soggetto la morbosità è altrettanto stupido quanto definire Shakespeare pazzo perché ha scritto *Re Lear*.

Nel complesso un artista in Inghilterra guadagna qualcosa dall'essere attaccato. La sua individualità ne è intensificata. Egli diventa più compiutamente se stesso. Naturalmente gli attacchi sono molto grossolani, molto impertinenti e molto spregevoli. Ma nessun artista si aspetta grazia da una mente volgare o stile da un intelletto suburbano. Volgarità e stupidità sono due fatti molto vividi nella vita moderna. Si

deplorano, naturalmente, ma ci sono. Sono soggetti di studio, come qualsiasi altra cosa. Ed è soltanto giusto affermare, con riferimento ai giornalisti moderni, che essi si scusano sempre privatamente con chi abbiano attaccato pubblicamente.

Proprio negli ultimi anni si potrebbero menzionare altri due aggettivi che sono stati aggiunti al limitatissimo vocabolario di abuso dell'arte a disposizione del pubblico. Uno è la parola «malsano», l'altro è la parola «esotico». L'ultima esprime soltanto la collera del momentaneo fungo contro l'immortale, l'estasiante, e la squisita orchidea. è un tributo, ma un tributo di nessuna importanza. La parola «malsano» , invece, necessita di un'analisi. è una parola piuttosto interessante. Infatti, è così interessante che la gente che la usa non ne conosce il significato.

Che cosa significa? Che cos'è un'opera d'arte sana o malsana? Tutti i termini che si applicano a un'opera d'arte, a patto che li si applichi razionalmente, hanno un riferimento al suo stile o al suo soggetto, oppure ad entrambi insieme. Dal punto di vista dello stile, una sana opera d'arte è quella il cui stile riconosce la bellezza del materiale che impiega, sia esso composto di parole o di bronzo, di colore o di avorio, e usa quella bellezza come un fattore nella produzione dell'effetto estetico. Dal punto di vista del soggetto, una sana opera d'arte è quella ove la scelta del soggetto è condizionata dal temperamento dell'artista, e deriva direttamente da quello. In conclusione, una sana opera d'arte è quella che possiede sia perfezione che personalità. Ovviamente, la forma e la sostanza non possono essere separate in un'opera d'arte; esse sono sempre una cosa sola. Ma per gli scopi dell'analisi, e mettendo da parte per un momento l'interesse dell'impressione estetica, possiamo intellettualmente separarle così. Una malsana opera d'arte, d'altro canto, è un'opera il cui stile è ovvio, datato e comune, e il cui soggetto è scelto deliberatamente, non perché l'artista trovi alcun piacere in esso, ma perché egli pensa che il pubblico lo pagherà per quello. Difatti, il romanzo popolare che il pubblico definisce un romanzo malsano è sempre un'opera d'arte bella e sana.

Non ho bisogno di dire che non mi lamento, nemmeno per un istante, del fatto che il pubblico e la stampa pubblica abusano di queste parole. Non vedo come, con la mancanza di comprensione di ciò che è l'arte, essi potrebbero forse usarle nel senso che è loro proprio. Sto semplicemente segnalando l'uso improprio; quanto alla sua origine e al significato che sta dietro a tutto ciò, la spiegazione è molto semplice. Deriva dalla barbara concezione di autorità. Deriva dalla naturale incapacità di una comunità corrotta dall'autorità di comprendere o apprezzare l'individualismo. In una parola, deriva da quella cosa

mostruosa e ignorante che è detta opinione pubblica e che, cattiva e benintenzionata com'è quando cerca di controllare l'azione, è infame e malintenzionata quando cerca di controllare il pensiero o l'arte.

Invero, c'è molto più da dire in favore della forza fisica del pubblico che in favore dell'opinione pubblica. La prima può essere buona. La seconda deve essere stupida. Si dice spesso che la forza non è un argomento. Il che, tuttavia, dipende interamente da ciò che si vuole provare. Molti dei problemi più importanti degli ultimi pochi secoli, come la prosecuzione del governo personale in Inghilterra o del feudalesimo in Francia, sono stati risolti soltanto con l'impiego della forza fisica. La violenza stessa della rivoluzione può rendere il pubblico grandioso e splendido per un momento. Fu un giorno fatale, quello in cui il pubblico scoprì che la penna è più potente delle pietre e che può essere offensiva come i mattoni. Subito si è messo in cerca del giornalista, lo ha trovato, sviluppato e trasformato nel suo industrioso e ben pagato servitore. C'è davvero da dolersene, per il bene di entrambi. Dietro le barricate può esserci molto di nobile ed eroico. Ma cosa c'è dietro l'articolo di fondo se non pregiudizi, stupidità, pregiudizi, ipocrisia e chiacchieire? E quando questi quattro elementi si uniscono danno luogo a una forza tremenda e costituiscono la nuova autorità.

Nei vecchi tempi gli uomini avevano la greppia. Oggi hanno la stampa. È certamente un miglioramento. Ma è tuttora una cosa molto cattiva e sbagliata e demoralizzante. Qualcuno – era Burke? – definì il giornalismo il quarto stato. All'epoca era vero, non c'è dubbio. Ma ai giorni nostri è davvero il solo stato. Ha divorziato gli altri tre. I Lords temporali non dicono niente, i Lords spirituali non hanno niente da dire, e la Camera dei Comuni non ha niente da dire e lo dice. Siamo dominati dal giornalismo. In America il presidente regna per quattro anni e il giornalismo governa sempre e per sempre. Fortunatamente in America il giornalismo ha spinto la sua autorità agli estremi più volgari e brutali. Come conseguenza naturale ha cominciato a provocare uno spirito di rivolta. La gente ne è divertita o disgustata, a seconda del temperamento. Ma il giornalismo non è più quella vera forza che era. Non è preso sul serio. In Inghilterra il giornalismo, non avendo raggiunto, tranne pochi esempi ben noti, simili eccessi di brutalità, è tuttora un fattore rilevante, un potere davvero considerevole. La tirannia che esso propone di esercitare sulla vita privata della gente mi sembra davvero straordinaria. Il fatto è che il pubblico ha una curiosità insaziabile di conoscere tutto, tranne ciò che vale la pena di conoscere. Il giornalismo, consci di questo e avendo un'attitudine commerciale, soddisfa queste esigenze. Nei secoli precedenti al nostro il pubblico inchiodava le orecchie i giornalisti alla

gogna. Era una cosa veramente odiosa. In questo secolo i giornalisti hanno inchiodato le proprie orecchie al buco della serratura. Questo è molto peggio. E quel che aggrava il danno è il fatto che i giornalisti che sono più da biasimare non sono quelli divertenti che scrivono per i cosiddetti giornali mondani. Il danno è arrecato dai giornalisti seri, riflessivi e zelanti, i quali solennemente, come fanno adesso, trascinano davanti agli occhi del pubblico qualche incidente occorso nella vita privata di uno statista, di un uomo leader di un pensiero politico che ha creato una forza politica, e invitano il pubblico a discutere l'incidente in questione, a esercitare la sua autorità in proposito, a esprimere il suo punto di vista e non solo a dare il proprio parere, ma anche a trasformarlo in azione, a imporre all'uomo anche in merito a ogni altro punto, a imporli al suo partito, a imporli al paese; di fatto, invitano il pubblico a rendersi ridicolo, offensivo e nocivo. La vita privata di uomini e donne non dovrebbe essere raccontata al pubblico. Il pubblico non ha proprio niente a che fare con loro. In Francia gestiscono meglio queste cose. È proibito pubblicare i particolari dei processi che si svolgono nei tribunali dei divorzi per il piacere o le critiche del pubblico. Tutto ciò che al pubblico è consentito sapere è che il divorzio è stato accordato, su richiesta dell'una o dell'altra o di entrambe le parti in causa. In Francia, infatti, pongono dei limiti al giornalista, mentre accordano all'artista una libertà quasi perfetta. Noi qui consentiamo al giornalista una libertà assoluta e limitiamo completamente l'artista. L'opinione pubblica inglese, va detto, cerca di costringere e impedire e sviare chi fa cose di bell'effetto, e obbliga il giornalista ad annotare minuziosamente cose che sono brutte o disgustose o ributtanti, tanto che abbiamo i giornalisti più seri e i giornali più indecenti del mondo. Non è un'esagerazione parlare di coercizione. Forse sono solo alcuni i giornalisti che provano davvero piacere nel pubblicare cose orribili e che, essendo poveri, vanno in cerca di scandali come base permanente per assicurarsi un reddito. Ma ci sono anche altri giornalisti, ne sono certo, uomini di cultura ed educazione, cui davvero non piace pubblicare queste cose, che sanno che è sbagliato fare così, e lo fanno soltanto perché le condizioni malsane in cui svolgono la loro professione li obbligano a offrire al pubblico ciò che il pubblico vuole e a competere con gli altri giornalisti nel rendere tale offerta la più completa e soddisfacente possibile per il volgare appetito popolare. È una posizione molto degradante per qualsiasi persona colta, e non dubito che la maggior parte di loro lo senta acutamente.

Comunque, lasciamo perdere quello che è davvero un aspetto molto sordido della faccenda e torniamo al problema del controllo popolare in materia di arte, e con ciò mi riferisco all'opinione pubblica

che detta all'artista quale forma debba usare, il modo di usarla e il materiale con cui lavorare. Ho puntualizzato che le arti che meglio si sono sottratte a questo controllo in Inghilterra sono quelle in cui il pubblico non ha mostrato interesse. Tuttavia è interessato al teatro e, dal momento che un certo progresso c'è stato a teatro negli ultimi dieci o quindici anni, è importante sottolineare come questo progresso sia interamente dovuto a pochi singoli artisti, i quali si sono rifiutati di accettare la popolare mancanza di gusto e di considerare l'arte semplicemente una questione di domanda e di offerta. Con la sua meravigliosa e vivida personalità, con uno stile che contiene davvero un reale elemento cromatico, con il suo straordinario potere, non solo sul mero piano imitativo, ma sulla creazione immaginativa e intellettuale, Mr. Irving, se avesse avuto come solo scopo quello di dare al pubblico ciò che questo desiderava, avrebbe potuto realizzare le più banali commedie nella maniera più banale, e riscuotere tanto successo e tanto denaro quanto un uomo possa desiderarne. Ma il suo scopo non era questo. Il suo scopo era quello di realizzare la propria perfezione come artista, in certe condizioni e con certe forme di arte. All'inizio lui si rivolse ai pochi: adesso ha educato i molti. Ha creato nel pubblico sia gusto che temperamento. Il pubblico apprezza immensamente il suo successo artistico. Spesso io mi chiedo, comunque, se il pubblico capisca che quel successo è interamente dovuto al fatto che egli non ha accettato gli standard del pubblico, ma ha realizzato i propri. Con gli standard del pubblico il teatro Lyceum sarebbe stata una cabina di seconda classe, come lo sono attualmente alcuni dei teatri popolari di Londra. Che lo capisca o no, rimane comunque il fatto che nel pubblico sono stati creati, in una certa misura, gusto e temperamento, e che il pubblico è capace di sviluppare queste qualità. Il problema allora è: perché il pubblico non diventa più文明ized? Ne ha la capacità. Cosa lo ferma?

La cosa che lo ferma, occorre ripeterlo, è il desiderio di esercitare la propria autorità sugli artisti e sulle opere d'arte. In certi teatri, come il Lyceum e lo Haymarket, il pubblico sembra andare con lo stato d'animo adatto. In entrambi i teatri ci sono stati singoli artisti che sono riusciti a creare nel pubblico – e ogni teatro di Londra ha il proprio pubblico – il temperamento al quale l'arte fa appello. E qual è questo temperamento? È il temperamento ricettivo. Questo è tutto.

Se un uomo si avvicina ad un'opera d'arte con qualche desiderio di esercitare su di essa e sull'artista un'autorità, egli si avvicina con un tale spirito che non può ricevere alcuna impressione artistica in qualche modo. L'opera d'arte deve dominare lo spettatore: lo spettatore non deve dominare l'opera d'arte. Lo spettatore deve essere ricettivo. Egli deve

essere il violino sul quale il maestro suona. E quanto più completamente egli è in grado di sopprimere le proprie sciocche opinioni, i propri stupidi pregiudizi, le proprie assurde idee su ciò che l'arte dovrebbe o non dovrebbe essere, tanto più è probabile che comprenda e apprezzi l'opera d'arte in questione. Questo è, ovviamente, del tutto evidente nel caso del volgare pubblico teatrale degli uomini e delle donne inglesi. Ma è altrettanto vero per coloro che sono dette persone istruite. Perché le idee che una persona istruita ha dell'arte derivano naturalmente da quello che l'arte è stata, mentre la nuova opera d'arte è bella perché è quello che l'arte non è mai stata; e misurarla secondo gli standard del passato significa misurarla con lo standard del rifiuto di ciò da cui la vera perfezione dipende. Un temperamento capace di ricevere, tramite un mezzo immaginativo e in condizioni immaginative, impressioni nuove e belle, è il solo temperamento che può apprezzare un'opera d'arte. E questo, se è vero nel caso dell'apprezzamento della scultura e della pittura, è ancora più vero nel caso dell'apprezzamento delle opere teatrali. Perché un dipinto e una statua non sono in guerra con il tempo. Non tengono conto della sua scansione. La loro unità può essere percepita in un solo momento. Nel caso della letteratura è diverso. Deve passare del tempo prima che sia realizzata l'unità dell'effetto. E così, nell'arte drammatica, può accadere qualcosa nel primo atto della commedia il cui vero valore artistico può non essere evidente per lo spettatore finché non si raggiunge il terzo o il quarto atto. Lo sciocco deveadirarsi e gridare e disturbare la rappresentazione e dare fastidio agli artisti? No. L'uomo onesto deve stare seduto tranquillo e conoscere le deliziose emozioni della meraviglia, della curiosità e dell'incertezza. Non deve andare a teatro per dare sfogo alla propria volgarità. Deve andare a teatro per realizzare un temperamento artistico. Deve andare a teatro per guadagnare un temperamento artistico. Egli non è l'arbitro dell'opera d'arte. è uno che è ammesso a contemplare l'opera d'arte e, se l'opera è bella, a dimenticare nella sua contemplazione tutto l'egotismo che lo guasta – l'egotismo della sua ignoranza, l'egotismo della sua informazione. Questo punto sull'arte drammatica è a malapena, credo, sufficientemente riconosciuto.

Posso quasi comprendere che se *Macbeth* fosse messo in scena per la prima volta davanti a un pubblico londinese, molti si opporrebbero violentemente all'introduzione delle streghe nel primo atto, con le loro frasi grottesche e le loro parole ridicole. Ma quando l'opera si chiude ci si rende conto che le risa delle streghe nel *Macbeth* sono terribili come quelle della pazzia del *Lear*, più terribili delle risa di Iago nella tragedia del Moro. Nessun spettatore d'arte necessita di un umore più perfetto di quello dello spettatore di un'opera teatrale. Nel momento in cui cerca di

esercitare un'autorità egli diventa un nemico giurato dell'arte e di se stesso. All'arte non importa, ma lui ne soffre.

Con il romanzo è la stessa cosa. L'autorità popolare e il riconoscimento dell'autorità popolare sono fatali. *L'Esmond* di Thackeray è una bella opera d'arte, perché egli la scrisse per compiacere se stesso. Negli altri romanzi, in *Pendennis*, in *Philip*, persino in *Vanity Fair*, egli è talvolta consapevole del suo pubblico e rovina la sua opera facendo direttamente appello alle simpatie del pubblico o prendendosene direttamente gioco. Un vero artista non si cura minimamente del pubblico. Il pubblico per lui non è esistente. Non ha dolcetti oppiati o al miele con i quali addormentare il mostro e dargli sostentamento: lo lascia fare ai romanzieri popolari. Adesso in Inghilterra abbiamo un romanziere incomparabile, Mr. George Meredith. In Francia ci sono artisti migliori, ma la Francia non ha nessuno la cui visione della vita è così ampia, così varia, così vera sul piano immaginativo. Ci sono cantastorie in Russia che hanno un senso più vivido di quello che potrebbe essere il dolore nella narrativa. Ma nella sua narrativa c'è filosofia: i suoi personaggi non si limitano a vivere, vivono nel pensiero. Li si può osservare da una miriade di punti di vista. Sono suggestivi. C'è un'anima in loro e intorno a loro. Sono interpretativi e simbolici. E chi li ha realizzati, questi personaggi meravigliosi e vivacissimi, li ha realizzati per il proprio piacere, senza mai domandare al pubblico che cosa volesse, senza mai preoccuparsi di sapere che cosa volesse, senza mai permettere al pubblico di imporgli i suoi dettami o di influenzarlo in alcun modo, ma ha continuato a intensificare la propria personalità e a produrre la sua opera individuale. In un primo momento nessuno gli si avvicinava. E questo non gli importava. Poi furono pochi. E questo non lo cambiò. Adesso vanno da lui in molti, ma egli è rimasto se stesso: un romanziere incomparabile. Con le arti decorative non è diverso. Il pubblico si aggrappava con tenacia davvero patetica a quelle che io credo fossero le tradizioni direttamente pervenuteci dalla Grande Esposizione della volgarità internazionale, tradizioni che erano così orribili che le case in cui la gente viveva erano adatte soltanto ai ciechi. Si cominciarono a fare cose belle, bei colori uscirono dalle mani del tintore e bei modelli dalla mente dell'artista, e l'uso delle cose belle e il loro valore e la loro importanza si affermarono. Il pubblico ne fu veramente indignato. Perse la sua moderazione. Disse cose sciocche. Nessuno ci badò. Nessuno peggiorò di un briciole. Nessuno accettò l'autorità dell'opinione pubblica. E adesso è pressoché impossibile entrare in una casa moderna senza vedere qualche riconoscimento al buon gusto, al valore di un ambiente gradevole, qualche segno di apprezzamento della bellezza. Infatti, le case sono, di solito, molto

gradevoli. Le persone si sono in larga misura civilizzate. è soltanto leale affermare, comunque, che lo straordinario successo della rivoluzione nel campo della decorazione domestica, dell'arredamento e dell'aspetto non è stato assolutamente dovuto al fatto che la maggioranza del pubblico ha sviluppato un ottimo gusto in questo campo. è stato dovuto principalmente al fatto che gli artigiani apprezzavano il piacere di fare cose belle e risvegliavano una consapevolezza così vivida dell'obbrobrio e della volgarità di quanto il pubblico aveva voluto sino a quel momento, che lasciarono a secco il pubblico. Sarebbe impossibile, attualmente, arredare una stanza come qualche anno fa senza cercare ogni oggetto a un'asta di mobili di seconda mano per alberghetti di terz'ordine. Quelle cose non si fabbricano più. Seppur si sia opposto, il pubblico oggi deve avere intorno a sé qualcosa di affascinante. Fortunatamente per lui, ogni tentativo da parte del pubblico di esercitare la propria autorità in queste cose è fallito completamente.

È quindi evidente che, in queste cose, ogni autorità è negativa. La gente talvolta chiede quale forma di governo sia più adatta per la vita di un artista. A questa domanda c'è solo una risposta. La forma di governo che è più adatta a un artista è nessuna forma di governo. L'autorità su di lui e sulla sua arte è ridicola. è stato affermato che sotto il dispotismo gli artisti hanno prodotto opere belle. Non è proprio così. Gli artisti hanno visitato i despoti, non come soggetti da essere tiranneggiati, ma come errabondi creatori di meraviglie, come vaganti personalità che affascinano, per essere intrattenuti, deliziati e tollerati standosene in pace e in condizione di creare. C'è questo da dire in favore del despota, che egli, essendo un individuo, può possedere una cultura, mentre la massa, che è un mostro, non ne ha. Uno che sia un Imperatore o un Re può piegarsi per raccogliere un pennello a un pittore, ma quando la democrazia si piega è soltanto per gettare fango. E inoltre la democrazia non deve piegarsi così tanto quanto l'imperatore. Infatti, quando vuole lanciare fango non deve assolutamente piegarsi. Ma non c'è necessità di separare il monarca dalla plebe; qualsiasi autorità è egualmente cattiva. Ci sono tre specie di despoti. C'è il despota che tiranneggia il corpo. C'è il despota che tiranneggia l'anima. C'è il despota che tiranneggia sia l'anima che il corpo. Il primo si chiama il Principe. Il secondo si chiama il Papa. Il terzo si chiama il Popolo. Il principe può essere colto. Molti lo sono stati. Tuttavia il principe è pericoloso. Si pensi a Dante, con l'amara festa di Verona; al Tasso a Ferrara nella sua cella da folle. Per l'artista è meglio non vivere con i principi. Il papa può essere colto. Molti papi lo sono stati; i cattivi papi lo sono stati. I cattivi papi hanno amato la bellezza quasi con la stessa passione con cui i buoni papi hanno odiato il

pensiero. Alla malvagità del papato l'umanità deve molto. La bontà del papato ha un terribile debito con l'umanità. Eppure, per quanto il Vaticano abbia mantenuto la retorica dei suoi tuoni e perduto la verga dei suoi fulmini, è meglio per l'artista non vivere con i papi. Ci fu un papa che di Cellini disse, durante un conclave di cardinali, che le leggi e l'autorità comuni non erano fatte per uomini come lui; ma ci fu un papa che gettò Cellini in carcere e ve lo tenne finché non si ammalò d'ira, e si creò visioni irreali, vide il sole dorato entrare nella sua cella e se ne innamorò talmente che cercò di evadere, balzò di torre in torre e all'alba cadendo nell'aria che gli dava le vertigini, si infortunò, e fu ricoperto di foglie di vite da un vignaiolo che lo portò su un carro da uno che, amando le cose belle, ebbe cura di lui. I papi sono pericolosi. E per quanto riguarda il Popolo, che dire di esso e della sua autorità? Forse se ne è parlato abbastanza. La sua autorità è una cosa cieca, sorda, orribile, grottesca, tragica, divertente, seria e oscena. è impossibile per l'artista vivere con il popolo. Tutti i despoti corrompono. Il Popolo corrompe e abbrutisce. Chi gli ha detto di esercitare l'autorità? Il Popolo è stato creato per vivere, ascoltare e amare. Qualcuno gli ha fatto un grande torto. Si è rovinato con le sue stesse mani imitando i suoi superiori. Ha preso lo scettro del Principe. Come può usarlo? Ha preso il triregno del Papa. Come può sopportare il suo peso? Il Popolo è come un pagliaccio dal cuore infranto. è come un sacerdote la cui anima non è ancora nata. Tutti quelli che amano la Bellezza devono compatirlo. Sebbene esso stesso non ami la Bellezza, tuttavia deve compatisce se stesso. Chi gli ha insegnato il trucco della tirannide? Si potrebbero sottolineare molte altre cose. Si potrebbe sottolineare come il Rinascimento sia stato grande perché non cercò di risolvere problemi sociali e non si occupò di queste cose, ma permise all'individuo di svilupparsi in bellezza, liberamente e naturalmente, ed ebbe così artisti grandi e individuali e uomini grandi e individuali.

Si potrebbe sottolineare come Luigi XIV, creando lo Stato moderno, abbia distrutto l'individualismo dell'artista e reso le cose mostruose nella loro monotonia della ripetitività e spregevoli nel loro conformismo alle regole, e che abbia distrutto in tutta la Francia quelle belle libertà di espressione che avevano rinnovato la tradizione nella bellezza e creato nuovi modi di armonia con la forma antica. Ma il passato non ha importanza. Il presente non ha importanza. è del futuro che dobbiamo occuparci. Perché il passato è ciò che l'uomo non avrebbe dovuto essere. Il presente è ciò che l'uomo non dovrebbe essere. Il futuro è ciò che sono gli artisti.

Si dirà, naturalmente, che tale schema così come viene qui proposto è piuttosto privo di praticità e va contro la natura umana. È perfettamente vero. È privo di praticità e va contro la natura umana. Ecco perché vale la pena di realizzarlo e perché lo si propone. E allora, che cos'è uno schema pratico? Uno schema pratico è uno schema che esiste già, o uno schema che potrebbe essere realizzato in condizioni esistenti. Ma è esattamente alle condizioni esistenti che ci si oppone; e ogni schema che potrebbe accettare queste condizioni è sbagliato e stupido. Ci si sbarazzerà di queste condizioni, e la natura umana cambierà. L'unica cosa che si sa davvero a proposito della natura umana è che cambia. Il cambiamento è l'unica sua qualità che possiamo predicare. I sistemi che falliscono sono quelli che si basano sulla stabilità della natura umana e non sulla sua crescita e sul suo sviluppo. L'errore di Luigi XIV fu credere che la natura umana non sarebbe stata sempre la stessa. Il risultato del suo errore fu la Rivoluzione francese. Fu un risultato ammirabile. Tutti i risultati degli errori dei governi sono sempre ammirabili.

Occorre anche notare che l'individualismo non si rivolge all'uomo con stucchevoli ipocrisie sul dovere, che significa semplicemente fare quello che gli altri vogliono perché essi lo vogliono; o con orribili ipocrisie sull'auto-sacrificio, che è semplicemente un rimasuglio di selvagge mutilazioni. Infatti esso non si rivolge all'uomo rivendicando su di lui alcunché. È dall'uomo che nasce, naturalmente e inevitabilmente. È il punto verso il quale tende ogni organismo. È la perfezione inherente a ogni modo di vita e verso la quale ogni modo di vita si affretta. E così l'individualismo non esercita costrizione alcuna sull'uomo. Al contrario, dice all'uomo che non dovrebbe tollerare che su di lui sia esercitata alcuna coercizione. Non cerca di costringere la gente a essere buona. Sa che la gente è buona, quando la si lascia stare. L'uomo svilupperà l'individualismo a partire da se stesso. L'uomo sta sviluppando l'individualismo. Domandare se l'individualismo è pratico equivale a domandare se l'evoluzione è pratica. L'evoluzione è la legge della vita, e non c'è evoluzione se non verso l'individualismo. Laddove questa tendenza non è espressa abbiamo una crescita arrestata artificialmente o una malattia o la morte.

L'individualismo sarà anche non egoista e non affettato. È stato messo in evidenza che uno dei risultati della straordinaria tirannia dell'autorità sta nel fatto che le parole sono assolutamente distorte dal loro significato proprio e semplice e sono usate per esprimere il contrario del loro vero significato. Quel che è vero per l'arte è vero per la vita. Un uomo viene detto affettato, al giorno d'oggi, se si veste come gli piace. Ma facendo così egli si comporta in modo perfettamente naturale.

L'affettazione, in questo campo, consiste nel vestirsi secondo le concezioni del proprio vicino, le quali, essendo le concezioni della maggioranza, saranno probabilmente molto stupide. Oppure un uomo viene detto egoista se vive nel modo che gli sembra più adatto alla piena realizzazione della propria personalità; se cioè lo scopo primario della sua vita è l'autosviluppo. Ma questo è il modo in cui tutti dovrebbero vivere. Egoismo non è vivere come si vorrebbe, ma chiedere agli altri di vivere come noi vorremmo vivere. E il non egoismo è lasciare che gli altri vivano come vogliono, senza interferire con loro. L'egoismo mira sempre a creare intorno a sé un'assoluta uniformità di tipi. Il non egoismo considera una delizia l'infinita varietà dei tipi, l'accetta, vi si sottomette, se la gode. Non è egoista pensare a se stessi. Un uomo che non pensa a se stesso non pensa affatto. È volgarmente egoista pretendere che il proprio vicino la pensi come noi e nutra le stesse opinioni. Perché dovrebbe? Se sa pensare, con ogni probabilità la penserà diversamente. Se non sa pensare, è mostruoso pretendere da lui un pensiero di qualunque genere. Una rosa rossa non è egoista perché vuole essere una rosa rossa. Sarebbe orribilmente egoista se volesse che tutti gli altri fiori del giardino fossero sia rossi che rose. Con l'individualismo le persone saranno molto naturali e assolutamente non egoiste, conosceranno il significato delle parole e lo realizzeranno nelle loro vite libere e belle. Né saranno egotisti come lo sono adesso. Perché egotista è chi accampa diritti sugli altri, e l'individualista non lo desidererà mai. Non gli procurerà piacere. Realizzando l'individualismo, l'uomo avrà realizzato anche la simpatia e la eserciterà liberamente e spontaneamente. Finora l'uomo ha difficilmente coltivato del tutto la simpatia. Egli ha solo simpatia per il dolore, e la simpatia per il dolore non è la più alta forma di simpatia. Ogni simpatia è bella, ma quella per la sofferenza è la meno bella. È maculata di egotismo. È pronta a divenire morbosa. V'è in essa un certo elemento di terrore per la nostra propria salvezza. Temiamo di poter essere noi stessi come il lebbroso o il cieco, e che nessuno avrebbe cura di noi. Essa è anche curiosamente limitante. Si dovrebbe simpatizzare con la totalità della vita, non soltanto per le amarezze e le malattie della vita, ma per la gioia, la bellezza, l'energia, la salute e la libertà della vita. La simpatia più grande è naturalmente la più difficile. Essa richiede più altruismo. Ognuno può simpatizzare con le sofferenze di un amico, ma ci vuole una natura molto nobile – infatti ci vuole quella natura di un vero Individualista – per simpatizzare con il successo di un amico. Nella tensione moderna della competizione e nella lotta per il piazzamento, tale simpatia è naturalmente rara, ed è anche soffocata moltissimo dall'idea

immorale dell'uniformità del tipo e dalla conformità alla regola che è così prevalente dappertutto, ed è forse molto sgradevole in Inghilterra.

La simpatia per il dolore ci sarà sempre, naturalmente. è uno dei primi istinti dell'uomo. Gli animali che hanno individualità, gli animali più elevati, la condividono con noi. Ma occorre ricordare che mentre la simpatia per la gioia intensifica la gioia complessiva del mondo, la simpatia per il dolore non ne diminuisce la quantità. Può rendere l'uomo più capace di sopportare il male, ma il male rimane. La simpatia per la tubercolosi non cura la tubercolosi; questo è ciò che fa la scienza. E quando il socialismo avrà risolto il problema della povertà e la scienza avrà risolto il problema della malattia, l'area di intervento dei sentimentalisti si rimpicciolirà e la simpatia dell'uomo sarà grande, sana e spontanea. L'uomo avrà la gioia di contemplare le vite gioiose degli altri.

Perché è attraverso la gioia che si svilupperà l'individualismo del futuro. Cristo non ha tentato di ricostruire la società e, di conseguenza, l'individualismo che egli predicava all'uomo potrebbe essere realizzato soltanto nel dolore o in solitudine. Gli ideali che dobbiamo a Cristo sono gli ideali dell'uomo che abbandona completamente la società o dell'uomo che le oppone una resistenza assoluta. Ma l'uomo è sociale per natura. Persino la Tebaide fu popolata, alla fine. E per quanto il cenobita realizzi la sua personalità, è spesso una personalità impoverita che così realizza. D'altronde, la terribile verità che il dolore sia un modo con il quale l'uomo può prendere coscienza di sé esercita un fascino meraviglioso sul mondo. Scialbi oratori e mediocri pensatori dai pulpiti e sui palchi parlano spesso dell'adorazione del mondo per il piacere, e piagnucolano contro di lei. Ma raramente accade nella storia del mondo che il suo ideale sia stato di gioia e di bellezza. L'adorazione del dolore ha assai più spesso dominato il mondo. Il medievalismo, con i suoi santi e i suoi martiri, col suo culto per l'automortificazione, con la sua passione selvaggia per l'infliggersi ferite, il suo sfregiare coi coltelli e fustigare con le fruste: il medievalismo è il vero Cristianesimo e il Cristo medioevale il vero Cristo. Quando il Rinascimento albeggiò sul mondo portando con sé i nuovi ideali della bellezza della vita e della gioia di vivere, gli uomini non riuscirono più a capire Cristo. Persino l'arte ce lo dimostra. I pittori rinascimentali disegnavano Gesù come un bambino piccolo che giocava con un altro in un palazzo o in un giardino o tra le braccia della mamma, mentre sorride a lei o a un fiore o a un uccellino dai colori brillanti; oppure come figura nobile e prestante che si muove nobilmente per il mondo; oppure come figura meravigliosa che risorge in una sorta di estasi dalla morte alla vita. Anche quando lo disegnavano crocifisso lo

disegnavano come un Dio buono al quale degli uomini cattivi avevano inflitto una sofferenza. Ma non se ne angustiavano più di tanto. Quel che li deliziava era dipingere gli uomini e le donne che ammiravano e mostrare la bellezza di questa terra meravigliosa. Essi dipinsero molti quadri religiosi: infatti, ne hanno dipinto troppi, e la monotonia del tipo e del motivo è pesante, e negativa per l'arte. Fu il risultato dell'autorità del pubblico in materia di arte, e va deplorata. Ma la loro anima non era nel soggetto. Raffaello fu un grande artista quando dipinse il ritratto del papa. Quando dipinse le sue Madonne e i suoi Cristi non fu affatto un grande artista. Cristo non aveva messaggi per il Rinascimento, che fu meraviglioso perché portava un ideale diverso dal suo, e per trovare una presentazione del vero Cristo occorre andare all'arte medioevale. Nell'arte medioevale Cristo è un essere malmenato e deturpato; non è avvenente da guardare, perché la bellezza è una gioia; non un essere con delle belle vesti, perché anche questo può essere una gioia: è un mendicante che ha un'anima meravigliosa; è un lebbroso la cui anima è divina; non ha bisogno né di beni materiali né di salute; è un Dio che realizza la sua perfezione attraverso il dolore.

La simpatia per il dolore ci sarà sempre, naturalmente, è uno dei primi istinti dell'uomo. Gli animali che hanno individualità, gli animali più elevati, la condividono con noi. Ma occorre ricordare che mentre la simpatia per la gioia intensifica la gioia complessiva del mondo, la simpatia per il dolore non ne diminuisce la quantità. Può rendere l'uomo più capace di sopportare il male, ma il male rimane. La simpatia per la tubercolosi non cura la tubercolosi; questo è ciò che fa la scienza. E quando il socialismo avrà risolto il problema della povertà e la scienza avrà risolto il problema della malattia, l'area di intervento dei sentimentalisti si rimpicciolirà e la simpatia dell'uomo sarà grande, sana e spontanea. L'uomo avrà la gioia di contemplare le vite gioiose degli altri.

Perché è attraverso la gioia che si svilupperà l'individualismo del futuro. Cristo non ha tentato di ricostruire la società e, di conseguenza, l'individualismo che egli predicava all'uomo potrebbe essere realizzato soltanto nel dolore o in solitudine. Gli ideali che dobbiamo a Cristo sono gli ideali dell'uomo che abbandona completamente la società o dell'uomo che le oppone una resistenza assoluta. Ma l'uomo è sociale per natura. Persino la Tebaide fu popolata, alla fine. E per quanto il cenobita realizzi la sua personalità, è spesso una personalità impoverita che così realizza. D'altronde, la terribile verità che il dolore sia un modo con il quale l'uomo può prendere coscienza di sé esercita un fascino meraviglioso sul mondo. Scialbi oratori e mediocri pensatori dai pulpiti e sui palchi

parlano spesso dell'adorazione del mondo per il piacere, e piagnucolano contro di lei. Ma raramente accade nella storia del mondo che il suo ideale sia stato di gioia e di bellezza. L'adorazione del dolore ha assai più spesso dominato il mondo. Il medievalismo, con i suoi santi e i suoi martiri, col suo culto per l'automortificazione, con la sua passione selvaggia per l'infliggersi ferite, il suo sfregiare coi coltelli e fustigare con le fruste: il medievalismo è il vero Cristianesimo e il Cristo medioevale il vero Cristo. Quando il Rinascimento albeggiò sul mondo portando con sé i nuovi ideali della bellezza della vita e della gioia di vivere, gli uomini non riuscirono più a capire Cristo. Persino l'arte ce lo dimostra. I pittori rinascimentali disegnavano Gesù come un bambino piccolo che giocava con un altro in un palazzo o in un giardino o tra le braccia della mamma, mentre sorride a lei o a un fiore o a un uccellino dai colori brillanti; oppure come figura nobile e prestante che si muove nobilmente per il mondo; oppure come figura meravigliosa che risorge in una sorta di estasi dalla morte alla vita. Anche quando lo disegnavano crocifisso lo disegnavano come un Dio buono al quale degli uomini cattivi avevano inflitto una sofferenza. Ma non se ne angustiavano più di tanto. Quel che li deliziava era dipingere gli uomini e le donne che ammiravano e mostrare la bellezza di questa terra meravigliosa. Essi dipinsero molti quadri religiosi: infatti, ne hanno dipinto troppi, e la monotonia del tipo e del motivo è pesante, e negativa per l'arte. Fu il risultato dell'autorità del pubblico in materia di arte, e va deplorata. Ma la loro anima non era nel soggetto. Raffaello fu un grande artista quando dipinse il ritratto del papa. Quando dipinse le sue Madonne e i suoi Cristi non fu affatto un grande artista. Cristo non aveva messaggi per il Rinascimento, che fu meraviglioso perché portava un ideale diverso dal suo, e per trovare una presentazione del vero Cristo occorre andare all'arte medioevale. Nell'arte medioevale Cristo è un essere malmenato e deturpato; non è avvenente da guardare, perché la bellezza è una gioia; non un essere con delle belle vesti, perché anche questo può essere una gioia: è un mendicante che ha un'anima meravigliosa; è un lebbroso la cui anima è divina; non ha bisogno né di beni materiali né di salute; è un Dio che realizza la sua perfezione attraverso il dolore.

L'evoluzione dell'uomo è lenta. L'ingiustizia degli uomini è grande. Era necessario opporre il dolore come modalità di autorealizzazione. Anche adesso, in alcune parti del mondo, il messaggio di Cristo è necessario. Nessuno che sia vissuto nella Russia moderna avrebbe potuto realizzare la propria perfezione se non tramite il dolore. Pochi artisti russi si sono realizzati nell'arte, in una narrativa che è medioevale, perché la sua nota dominante è proprio la realizzazione

dell'uomo nella sofferenza. Ma per coloro che non sono artisti e per i quali non c'è altra modalità di vita se non quella dei fatti, il dolore è l'unica porta che conduce alla perfezione. Un russo che viva felicemente sotto l'attuale sistema di governo in Russia deve credere che l'uomo non abbia anima o che, se ce l'ha, essa non sia degna di sviluppo. Un nichilista, che rifiuta ogni autorità perché sa che l'autorità è un male e accoglie ogni sofferenza perché attraverso la sofferenza realizza la sua personalità, è un vero cristiano. Per lui l'ideale cristiano è una cosa vera.

E tuttavia Cristo non si ribellò all'autorità. Accettò l'autorità dell'Impero romano e pagò il tributo. Sopportò l'autorità ecclesiastica della chiesa israelitica, e non rispose alla sua violenza con una violenza propria. Come ho detto, non aveva uno schema di ricostruzione della società. Ma il mondo moderno ha schemi. Propone di sbarazzarsi della povertà e della sofferenza che essa implica. Desidera sbarazzarsi del dolore, e della sofferenza che il dolore implica. Si affida al socialismo e alla scienza come suoi metodi. Il suo scopo è un individualismo che si esprima attraverso la gioia. Questo individualismo sarà più ampio, più pieno, più bello di quanto non sia stato qualsiasi altro individualismo. Il dolore non è la modalità ultima della perfezione. È soltanto provvisorio ed è una protesta. Si riferisce a circostanze sbagliate, malsane e ingiuste. Quando si rimuovono gli errori e le malattie e le ingiustizie non c'è più posto per il dolore. Avrà fatto il suo lavoro. È stato un lavoro duro, ma è quasi finito. La sua sfera si rimpiccolisce ogni giorno.

Né l'uomo ne sentirà la mancanza. Perché quel che l'uomo ha sempre cercato, in realtà, non era né il dolore né il piacere, ma semplicemente la vita. Ha cercato di vivere intensamente, pienamente, perfettamente. Quando potrà farlo senza esercitare restrizioni sugli altri e senza soffrirne a sua volta, e tutte le sue attività saranno tutte piacevoli per lui, egli sarà più equilibrato, più sano, più civilitzato, più se stesso. Il piacere è il test della natura, il suo segno di approvazione. Quando l'uomo è felice, è in armonia con se stesso e col suo ambiente. Il nuovo individualismo al cui servizio lavora il socialismo, che lo voglia o no, sarà perfetta armonia. Sarà ciò che i Greci cercavano ma non riuscirono a realizzare completamente, se non nel pensiero, perché avevano degli schiavi e li sfamavano; sarà ciò che il Rinascimento cercava ma non riuscì a realizzare completamente se non nell'arte, perché avevano degli schiavi e li affamavano. Sarà completo, e per mezzo suo ogni uomo giungerà alla perfezione. Il nuovo individualismo è il nuovo ellenismo.

Oscar Wilde

EL ALMA DEL HOMBRE

La principal ventaja que acarrearía la implantación del Socialismo es, sin duda, la de relevarnos de la sordida necesidad de vivir para otros que, en el actual estado de cosas, tanto presiona sobre casi todos. En realidad, casi nadie escapa a ella.

De tanto en tanto, en el curso del siglo, un gran hombre de ciencia como Darwin; un gran poeta como Keats; un fino espíritu crítico como el del señor Renan; un artista supremo como Flaubert, ha podido aislar, mantenerse fuera del alcance de los clamorosos reclamos de los demás, mantenerse al resguardo del muro como dice Platón, y así realizar la perfección que había dentro suyo, para su propio incomparable beneficio, y para el incomparable y duradero beneficio de todo el mundo. Estas, sin embargo, son las excepciones. La mayoría de la gente arruina su vida por un malo y exagerado altruismo; en realidad, se ven forzados a arruinarse así. Es inevitable que se convuelvan, al verse rodeados de tan tremenda pobreza, tremenda fealdad, tremenda hambre. En el hombre, las emociones se suscitan más rápidamente que la inteligencia; y como señalara hace algún tiempo en un artículo sobre la función de la crítica, es mucho más fácil solidarizarse con el sufrimiento que con el pensamiento. De esta forma, con admirables, aunque mal dirigidas intenciones, en forma muy seria y con mucho sentimiento, se abocan a la tarea de remediar los males que ven. Pero sus remedios no curan la enfermedad: simplemente la prolongan. En realidad sus remedios son parte de la enfermedad.

Tratan de resolver el problema de la pobreza, por ejemplo, manteniendo vivos a los pobres; o, como lo hace una escuela muy avanzada, divirtiendo a los pobres.

Pero ésta no es una solución; es agravar la dificultad. El objetivo adecuado es tratar de reconstruir la sociedad sobre una base tal que la pobreza resulte imposible. Y las virtudes altruistas realmente han evitado llevar a cabo este objetivo. Así como los peores dueños de esclavos fueron los que trataron con bondad a sus esclavos, evitando así que los que sufrían el sistema tomaran conciencia del horror del mismo, y los que observaban lo comprendiesen, igual sucede con el estado actual de cosas en Inglaterra, donde la gente que más daño hace es la que trata de hacer más bien; y por fin hemos tenido hombres que estudiaron realmente el problema y conocen la vida — hombres educados que viven en el East End — adelantándose e implorando a la comunidad para que restrinja sus impulsos altruistas de caridad, benevolencia y otros parecidos. Se basan en la afirmación de que la caridad degradada y desmoraliza. Están perfectamente en lo cierto. La caridad crea una multitud de pecados. También debe decirse esto al respecto. Es inmoral usar la propiedad

privada a fin de aliviar los terribles males que resultan de la misma institución de la propiedad privada. Es a la vez inmoral e injusto.

Bajo el Socialismo todo esto, naturalmente, se modificará. No habrá gente viviendo en fétidas pocilgas, vestida con hediondos andrajos, criando niños débiles, acosados por el hambre, en medio de circunstancias absolutamente imposibles y repulsivas. La seguridad de la sociedad no dependerá, como sucede ahora, del estado del tiempo. Si llega una helada no tendremos a cien mil hombres sin trabajo, deambulando por las calles miserablemente, o pidiendo limosna a sus vecinos, o apiñándose ante las puertas de detestables albergues para tratar de asegurarse un pedazo de pan y un sucio lugar donde pasar la noche. Cada miembro de la sociedad compartirá la prosperidad y felicidad general, y si cae una helada, prácticamente nadie estará peor.

Por el otro lado, el Socialismo por sí mismo será valioso simplemente porque conducirá al Individualismo.

El Socialismo, el Comunismo, o como uno quiera llamarlo, al convertir la propiedad privada en riqueza pública, y al reemplazar la competencia por la cooperación, restituirá a la sociedad su condición de organismo sano, y asegurará el bienestar material de cada miembro de la comunidad. Dará a la Vida una base y un medio adecuados. Pero algo más se necesita para que la Vida en su desarrollo completo, logre su más alta forma de perfección. Se necesita el Individualismo. Si el Socialismo es Autoritario; si hay Gobiernos armados de poder económico, como lo están ahora de poder político; si, en una palabra, llegamos a Tiranías Industriales, entonces la condición del hombre sería peor que la actual. Mucha gente, en el presente, a raíz de la existencia de propiedad privada, puede desarrollar un muy limitado Individualismo. Son los que no necesitan trabajar para vivir, o pueden elegir la esfera de actividad que realmente se aviene a su personalidad y les brinda placer. Son los poetas, los filósofos, los hombres de ciencia; en una palabra, los hombres auténticos, los hombres que se han realizado, y con los que la Humanidad entera logra una parcial realización. Hay en cambio mucha gente que, sin propiedad privada y estando siempre al borde del hambre, se ve obligada a hacer el trabajo de bestias de carga, tareas que nada tienen que ver con ellos y a las cuales se ven forzados por la perentoria, irracional, degradante tiranía de la necesidad. Estos son los pobres; no hay gracia en sus maneras ni en sus palabras, ni educación, cultura o refinamiento en sus placeres, ni gozo por la vida. La Humanidad se beneficia en prosperidad material, con el aporte de su fuerza colectiva. Pero solamente el aspecto material es el que se beneficia; y el hombre que es pobre, en sí mismo no tiene absolutamente ninguna importancia. Es meramente el

átomo infinitesimal de una fuerza que, en lugar de tomarlo en cuenta, lo destroza; en realidad, lo prefiere destrozado, ya que de esta forma es mucho más obediente.

Podrá decirse, por supuesto, que el Individualismo generado bajo las condiciones de la propiedad privada no es siempre, o por lo general, bueno ni maravilloso, y que si bien los pobres no tienen cultura ni encanto, tienen sin embargo muchas virtudes. Estas dos afirmaciones serían perfectamente ciertas. La posesión de propiedad privada resulta a menudo extremadamente desmoralizadora y ésta es por supuesto, una de las razones por las cuales el Socialismo quiere librarse de esta institución. En realidad, la propiedad resulta un estorbo. Años atrás hubo gente que recorría el país afirmando que la propiedad genera obligaciones; la proclamaban tanto y en forma tan tediosa que, al final, la Iglesia comenzó a decirlo a su vez. Se escucha ahora desde cada púlpito. Es perfectamente cierto. La propiedad tiene obligaciones y tiene tantas, que poseer propiedades resulta una carga. Genera constantes reclamaciones, interminable atención a los negocios, perpetuos malestares. Si la propiedad sólo ofreciera placeres, la podríamos soportar; pero sus obligaciones la hacen insopportable. En el propio interés de los ricos, debemos desembarazarnos de ella. Las virtudes de los pobres pueden reconocerse fácilmente, y mucho deben lamentarse. Con frecuencia se nos dice que los pobres están agradecidos a la beneficencia. Algunos de ellos lo están, sin duda, pero los mejores entre los pobres nunca están agradecidos. Están descontentos, desagradecidos, son desobedientes y rebeldes. Y tienen mucha razón de sentirse así. Sienten que la caridad es un modo ridícularmente inadecuado de restitución parcial, o una limosna sentimental, acompañada habitualmente por un impertinente intento por parte del sentimentalista de tiranizar sus vidas privadas. ¿Por qué sentir agradecimiento por las migajas que caen de la mesa del rico? Debieran estar sentados compartiendo la mesa, y lo están empezando a saber. Y en cuanto a estar descontentos, un hombre que no lo estuviera en ese medio y llevando tan baja forma de vida, sería un perfecto bruto. La desobediencia, a los ojos de cualquiera que haya leído historia, es la virtud original del hombre. A través de la desobediencia es que se ha progresado, a través de la desobediencia y a través de la rebelión. Algunas veces se alaba a los pobres por ser ahorrativos. Pero recomendar el ahorro a un pobre es a la vez grotesco e insultante. Es como recomendar a un hombre que se está muriendo de hambre, que coma menos. Sería absolutamente inmoral que un trabajador del campo o de la ciudad practique la frugalidad. El hombre no debiera estar dispuesto a demostrar que puede vivir como un animal mal alimentado. Debiera negarse a vivir

así, y robar o pedir ayuda pública, cosa que muchos consideran una forma de robo. En cuanto a la mendicidad, es más seguro pedir que tomar; pero es más grato tomar que pedir. No: aquel pobre que es desagradecido, que no es ahorrativo, que está descontento y en rebeldía, ese hombre probablemente tiene una verdadera personalidad, y tiene mucho dentro suyo. De cualquier forma, representa una protesta saludable. En cuanto a los pobres virtuosos, uno bien puede sentir lástima de ellos, sin duda, pero no se les puede admirar. Han llegado a un acuerdo privado con el enemigo, y vendido su derecho de nacimiento por un mal plato de comida. También tienen que ser enormemente estúpidos. Puedo comprender a aquel hombre que acepta las leyes que protegen la propiedad privada, admitiendo que ésta se acumule, en tanto él mismo, bajo estas circunstancias, esté en condiciones de realizar alguna forma de vida hermosa e intelectual. Pero no puedo comprender que aquel a quien esas leyes destrozan y hacen horrible la vida, pueda estar de acuerdo con que las mismas continúen.

No es difícil, sin embargo, encontrar la explicación a esto. Es simplemente que la miseria y la pobreza son tan absolutamente degradantes, y ejercen un efecto tan paralizante sobre la naturaleza humana, que ninguna clase tiene realmente conciencia de su propio sufrimiento. Debe decírselo otra gente, y con frecuencia son absolutamente incrédulos. Lo que dicen los patrones acerca de los agitadores es incuestionablemente cierto. Los agitadores son un conjunto de personas que interfiere, que perturba, que llega a una clase perfectamente contenta de la comunidad y siembra en ella la semilla del descontento. Es por esta razón que los agitadores son tan absolutamente necesarios. Sin ellos, en el estado incompleto en que nos hallamos, no se produciría adelanto alguno hacia la civilización. La esclavitud se abolió en Norteamérica, pero no como consecuencia de la acción de los propios esclavos, o por algún expreso deseo de su parte para que se los libere. El sistema fue abolido como resultado de la acción abiertamente ilegal de algunos agitadores, en Boston y en otras partes, que no eran esclavos, ni propietarios ellos mismos de esclavos, ni tenían realmente nada que ver con la cuestión. Fueron, indudablemente, los Abolicionistas los que encendieron la llama de la antorcha, los que comenzaron todo. Y es curioso notar que, de los mismos esclavos, no recibieron solamente muy poca colaboración sino ni siquiera alguna comprensión; y cuando, al terminar la guerra, los esclavos se vieron libres, se encontraron tan absolutamente libres que estaban libres para morir de hambre y muchos de ellos amargamente lamentaron el nuevo estado de cosas. Para el pensador, el hecho más trágico de toda la Revolución Francesa no es que

María Antonieta muriera por ser una reina, sino que el campesino hambriento de la Vendée voluntariamente saliera a morir por la horrible causa del feudalismo.

Queda claro, entonces, que ningún sistema de Socialismo Autoritario servirá. Pues mientras bajo el actual sistema bastante gente puede vivir con una cierta cantidad de libertad y expresión y felicidad, bajo un sistema industrial cuartelario, o bajo un sistema de tiranía económica, nadie tendría esa libertad. Debe lamentarse que una parte de nuestra comunidad viva prácticamente en la esclavitud, pero es infantil proponer que se resuelva el problema con la esclavitud de toda la comunidad. Cada hombre debiera ser libre para escoger el propio trabajo. No debiera ejercerse sobre él ninguna compulsión. Existiendo compulsión, el trabajo no será bueno para él, no será bueno en sí mismo, y no será bueno para los demás. Y por trabajo me refiero simplemente a cualquier tipo de actividad.

Me cuesta pensar que, hoy en día, un Socialista proponga seriamente que un inspector visite todas las mañanas cada casa para controlar que cada ciudadano se levante y haga un trabajo manual por espacio de ocho horas. La Humanidad ha ido más allá de esa etapa y reserva tal forma de vida para la gente a quienes, en una forma muy arbitraria, elige llamar criminales. Pero confieso que muchos de los puntos de vista socialistas con los que me he encontrado, parecen estar manchados por ideas de autoritarismo, cuando no de cruel compulsión. Por supuesto, autoridad y compulsión, quedan fuera de toda cuestión. Toda asociación debe ser voluntaria. Es únicamente en asociaciones voluntarias que el hombre puede sentirse realmente bien.

Podrá preguntárseme cómo es que el Individualismo, que prácticamente depende de la existencia de la propiedad privada para su desenvolvimiento, pudiera beneficiarse con la abolición de la misma. La respuesta es muy simple. Es verdad que, en las condiciones actuales, algunos hombres con medios privados propios, tales como Byron, Shelley, Browning, Víctor Hugo, Baudelaire y otros, han podido, en forma más o menos completa, realizar sus personalidades. Ninguno de estos hombres dio un solo día de su trabajo por un salario. Pudieron librarse de la pobreza. Tenían con ello una enorme ventaja. La cuestión es decidir si el Individualismo se beneficiaría con la supresión de dicha ventaja. Supongamos que no existe esa ventaja. ¿Qué le sucede entonces al Individualismo? ¿Cómo se beneficiará?

El beneficio será éste. Bajo las nuevas condiciones, el Individualismo será mucho más libre, más bello y más intenso que ahora. No estoy hablando del gran Individualismo imaginativamente realizado

por poetas tales como los que he mencionado, sino del gran Individualismo real, latente y potencial del género humano en general. Pues el reconocimiento de la propiedad privada ha dañado realmente al Individualismo, y lo ha oscurecido, confundiendo al hombre con lo que él posee. Ha desviado totalmente al Individualismo. Ha hecho su finalidad de las ganancias, y no del desarrollo. De manera que el hombre creyó que lo importante es tener, y no supo que lo importante es ser. La verdadera perfección del hombre reside, no en lo que el hombre tiene sino en lo que el hombre es. La propiedad privada ha destrozado el verdadero Individualismo, y establecido un Individualismo que es falso. Ha prohibido a una parte de la comunidad alcanzar su individualidad, haciéndola morir de hambre. Ha prohibido a la otra parte de la comunidad llegar al Individualismo, colocándola sobre un camino erróneo y poniéndole obstáculos. En realidad, la personalidad del hombre ha sido tan completamente absorbida por sus posesiones que la ley inglesa trata las ofensas contra la propiedad de un hombre con mucha más severidad que las ofensas contra su persona, y la propiedad es todavía la prueba distintiva de completo derecho cívico. También muy desmoralizadora es la industria necesaria para hacer dinero. En una comunidad como la nuestra, donde la propiedad confiere inmensa distinción, posición social, honor, respeto, títulos y otras agradables cosas semejantes, el hombre que es naturalmente ambicioso, hace suya la meta de acumular esta propiedad, y sigue tediosamente acumulándola largo tiempo después de haber conseguido mucho más de lo que desea, o puede usar, o gozar, o quizás aún conocer. El hombre se matará trabajando a fin de asegurarse propiedades y, verdaderamente, considerando las enormes ventajas que trae la propiedad, uno no puede sorprenderse. Lo que uno puede lamentar es que la sociedad esté construida sobre bases tales que el hombre se vea encasillado sin poder desarrollar libremente todo lo maravilloso, fascinante y exquisito que hay dentro suyo; con lo cual, en verdad, pierde el verdadero placer y alegría de vivir. Se encuentra también muy inseguro bajo las condiciones existentes. Un comerciante rico puede estar – a menudo lo está – en cada momento de su vida a merced de las cosas que no quedan bajo su control. Si el viento sopla demasiado, o si el tiempo cambia de repente, o si sucede algo trivial, su barco se puede hundir, sus especulaciones pueden fallar, y se convierte en un hombre pobre, con una posición social que se le fue. Nada debiera poder dañar a un hombre más que él mismo. Lo que un hombre tiene realmente, es lo que está dentro suyo. Lo que está afuera no debiera tener importancia.

Con la abolición de la propiedad privada tendremos, entonces, un verdadero, hermoso, sano Individualismo. Nadie perderá su vida en acumular cosas y los símbolos para las cosas. Se vivirá. Vivir es la cosa menos frecuente en el mundo. La mayoría de la gente existe, eso es todo.

Podemos preguntarnos si hemos tenido alguna vez la oportunidad de ver la expresión completa de una personalidad, excepto en el plano imaginativo del arte. En la acción, no lo hemos visto nunca. César, dice Mommsen, era el hombre completo y perfecto. Pero, ¡qué trágicamente inseguro era César! Siempre que exista un hombre ejerciendo autoridad, existe un hombre que resiste la autoridad. César era muy perfecto, pero su perfección transitaba por un camino demasiado peligroso. Marco Aurelio era el hombre perfecto, dice Renan. Sí, el gran emperador era un hombre perfecto. ¡Pero qué intolerables eran las interminables reclamaciones sobre él! Se tambaleaba bajo la carga del imperio. Estaba consciente de lo inadecuado que era que un hombre soportara el peso de ese Titán y de ese orbe demasiado vasto. Lo que quiero significar por hombre perfecto es alguien que se desarrolla bajo condiciones perfectas; alguien que no está herido, o preocupado, o mutilado, o en peligro. La mayor parte de las personalidades se vieron obligadas a ser rebeldes. La mitad de sus fuerzas se perdió en la lucha. La personalidad de Byron se desgastó terriblemente en su batalla contra la estupidez, la hipocresía y el Filisteísmo de los ingleses. Tales batallas no siempre intensifican la fuerza; a menudo aumentan la debilidad. Byron nunca pudo darnos lo que hubiera podido darnos. Shelley escapó mejor. Como Byron, se fue de Inglaterra lo antes que pudo. Si los ingleses se hubiesen dado cuenta qué gran poeta era en realidad, hubiesen caído sobre él con dientes y uñas, haciéndole la vida insoportable. Pero como no fue una figura destacada en sociedad, hasta cierto punto pudo escapar. Hasta en Shelley la señal de rebelión es aún a veces demasiado fuerte. La característica de la personalidad perfecta no es de rebelión sino de paz.

Será maravilloso ver la verdadera personalidad del hombre. Se desarrollará natural y simplemente, como crece una flor o un árbol. No estará en discordia. Nunca argumentará ni disputará. No tendrá que demostrar cosas. Lo sabrá todo, y sin embargo, no se preocupará por el conocimiento. Tendrá sabiduría. Su valor no se medirá con cosas materiales. No tendrá nada. Y sin embargo, tendrá todo y aunque se le saque, siempre le quedará, tan rico será. No estará siempre entrometiéndose con los demás, o pidiéndoles que sean como él. Los amará por ser diferentes. Y si bien no se entrometerá en la vida de los demás, los ayudará a todos, de la misma forma que una cosa hermosa nos

ayuda, por ser lo que es. La personalidad del hombre será verdaderamente maravillosa. Será tan maravillosa como la personalidad de un niño.

En su desarrollo se podrá apoyar en el Cristianismo, si así lo deseara; pero si no fuera ése el deseo de los hombres, seguramente se desarrollará lo mismo. Pues no se preocupará por el pasado, ni se preocupará de si las cosas sucedieron o no sucedieron. No admitirá más leyes que las propias, ni otra autoridad que su propia autoridad. Pero amará a aquellos que busquen intensificarla y hablará a menudo de ellos. Cristo fue uno de ellos.

¡Conócete a ti mismo!, era la inscripción que se leía en el portal del mundo antiguo. Sobre el portal del nuevo mundo la inscripción *¡Será sé tú mismo!* Y el mensaje de Cristo al hombre fue simplemente *Sé tú mismo*. Ese es el secreto de Cristo.

Cuando Cristo habla de los pobres, simplemente se refiere a las personalidades, así como cuando habla de los ricos, simplemente se refiere a aquellos que no han desarrollado su personalidad. Jesús se movía en una comunidad que permitía la acumulación de propiedad privada, tal como lo hace la nuestra, y el evangelio que él predicaba no decía que fuese una ventaja para el hombre en una comunidad tal vivir mal alimentado, vestir harapos, dormir en viviendas horrendas y malsanas, ni que fuese una desventaja para el hombre vivir en condiciones decentes, agradables y sanas. Tal punto de vista hubiese sido equivocado para aquel lugar y en aquel entonces, pero naturalmente estaría mucho más equivocado aplicado a este tiempo y a Inglaterra; pues a medida que el hombre avanza, sus necesidades materiales adquieren mayor importancia vital, y nuestra sociedad es infinitamente más compleja y despliega extremos de lujo y pobreza mucho mayores que los que existían en cualquier sociedad del mundo antiguo. Lo que Jesús quiso decir era esto. Le dijo al hombre: Tienes una magnífica personalidad. Desarróllala. Sé tú mismo. No imagines que tu perfección resida en acumular o poseer cosas externas. Tu afecto está dentro tuyo. Si solamente te dieras cuenta de esto, no querrías ser rico. Las riquezas ordinarias le pueden ser robadas a un hombre. Las verdaderas riquezas, no. En el tesoro de tu alma hay cosas infinitamente preciosas, que no te pueden quitar. Trata entonces de modelar tu vida en forma tal que las cosas externas no te dañen. Y trata también de librarte de la propiedad privada. Implica sórdida preocupación, infinito trabajo, continuo mal. La propiedad personal, obstaculiza a cada paso al Individualismo. Debe notarse que Jesús nunca dice que la gente pobre sea necesariamente buena, ni que la gente adinerada sea necesariamente mala. La gente adinerada, como clase, es mejor que la gente pobre, más moral, más intelectual, con mejores

maneras. Existe solamente una clase dentro de la comunidad que piensa más sobre el dinero que los ricos, y es la de los pobres. Los pobres no pueden pensar en nada más. Esa es la miseria de ser pobre. Lo que Jesús sí dice es que el hombre llega a su perfección, no a través de lo que tiene, ni aún a través de lo que hace, sino exclusivamente por lo que es. Y así el joven rico que llega hasta Jesús está representado como un buen ciudadano que ha cumplido con las leyes de su Estado y los mandamientos de su religión. Es bien respetable, en el sentido ordinario de esa extraordinaria palabra. Jesús le dice:

Debieras desprenderte de la propiedad privada. Te impide darte cuenta de tu perfección. Es una traba sobre ti, una carga. Tu personalidad no la necesita. Es dentro tuyo y no fuera donde encontrarás lo que realmente eres, y lo que realmente quieras. A sus propios amigos les dice lo mismo. Les dice que sean ellos mismos, y que no estén siempre preocupados por otras cosas. ¿Qué importan las otras cosas? El hombre es completo por sí mismo. Cuando entren en el mundo, el mundo estará en desacuerdo. Eso es inevitable. El mundo odia el Individualismo. Pero eso no les deberá preocupar. Deberán tener calma y centrarse en sí mismos. Si un hombre toma su abrigo, deberán darle su saco, para demostrarle que las cosas materiales no tienen importancia. Si la gente se abusa, no se le deberá responder en la misma forma. ¿Qué significa esto? Las cosas que la gente diga de un hombre no lo alteran. Es lo que es. La opinión pública no tiene valor. Aún si la gente utiliza la violencia, no deberá por eso responder con violencia. Eso significaría caer en el mismo bajo nivel. Después de todo, aún en prisión, el hombre puede ser bastante libre. Su alma puede ser libre. Su personalidad puede no alterarse. Puede estar en paz. Y, sobre todas las cosas, no deberá interferir la vida de los demás, ni de ninguna manera juzgarlos. La personalidad es algo muy misterioso. Un hombre no puede ser siempre estimado por lo que hace. Un hombre puede observar las leyes y sin embargo carecer por completo de valor. Puede transgredir la ley, y sin embargo ser bueno. Puede ser malo, sin haber hecho nunca algo malo. Puede cometer un pecado contra la sociedad, y sin embargo realizar a través de ese pecado su verdadera perfección.

Hubo una mujer que cometió adulterio. No se nos cuenta la historia de su amor, pero ese amor debió haber sido muy grande; puesto que Jesús dijo que se le habían perdonado sus pecados, no porque se arrepintiera, sino porque su amor había sido tan intenso y maravilloso. Más adelante, poco antes de su muerte, mientras estaba sentado en una comida, la mujer entró y derramó costosos perfumes sobre los cabellos de Jesús. Sus amigos trataron de interferir diciendo que era una

extravagancia, y que el dinero que los perfumes costaban debiera haberse gastado en dar alivio a los necesitados, o algo semejante. Jesús no aceptó ese punto de vista. Señaló que las necesidades materiales del Hombre eran grandes y muy permanentes, pero que las necesidades espirituales eran mayores aún y que, en un momento divino, una personalidad podía llegar a su perfección. El mundo reverencia aún hoy a esta mujer como una santa.

Sí, existen cosas sugestivas en el Individualismo. El Socialismo termina por completo con la vida familiar, por ejemplo. Con la abolición de la propiedad privada, el casamiento en su forma actual debe desaparecer. Esto forma parte del programa. El Individualismo acepta esto y lo ennoblecce. Convierte la abolición de la restricción legal en una forma de libertad que ayudará al total desarrollo de la personalidad y convierte el amor entre el hombre y la mujer en algo más maravilloso, más hermoso y más ennoblecedor. Jesús sabía esto. Rechazó los reclamos de la vida familiar, aunque existían en su tiempo y en su comunidad en forma muy marcada. *¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos?*, decía cuando se le anunciaba que ellos querían hablarle. Cuando uno de sus discípulos pidió permiso para enterrar a su padre, su terrible respuesta fue: *Dejad que los muertos entierren a los muertos*. No permitía absolutamente ningún reclamo sobre la personalidad.

Y así sólo lleva una vida a imagen de la de Cristo, aquel que se mantiene perfecta y absolutamente él mismo. Puede ser un gran poeta, o un gran hombre de ciencia, o un joven estudiante de la Universidad, o alguien que cuida ovejas en la pradera; o un creador de dramas, como Shakespeare, o un pensador sobre Dios, como Spinoza; o un niño que juega en un jardín, o un pescador que arroja la red al mar. No importa lo que es, mientras realice la perfección del alma dentro suyo. Toda imitación en la moral y en la vida está mal. A través de las calles de Jerusalén se arrastra hoy un loco que lleva una cruz de madera sobre sus espaldas. Es un símbolo de las vidas arruinadas por la imitación. El padre Damien actuó a imagen de Cristo cuando se fue a vivir con los leprosos, porque en ese servicio pudo realizar lo que mejor había dentro suyo. Pero igual fue Wagner, cuando expresó su alma en la música; o Shelley al expresar su alma en la poesía. No existe un tipo único de hombre. Existen tantas perfecciones como hombres imperfectos. Y mientras un hombre puede atender los reclamos de la caridad y ser libre, no lo seguirá siendo si se somete a las exigencias del conformismo.

A través del Socialismo se podrá llegar, pues al Individualismo. Como resultado natural, el Estado debe dejar de lado toda idea de gobierno. Debe dejarlo de lado pues, como dijo un sabio muchos siglos

antes de Cristo, puede existir la humanidad por sí sola, pero no puede existir un gobierno para la humanidad. Todas las formas de gobierno fracasan. El despotismo es injusto con todos, incluso con el déspota que probablemente fue hecho para cosas mejores. Las oligarquías son injustas con las mayorías y las oclocracias con las minorías. Se pusieron ideales en la democracia: pero la democracia significa solamente el aporreamiento del pueblo por el pueblo, para el pueblo. Ya se ha podido comprobar. Debo decir que era hora, pues toda autoridad es bien degradante. Degrada a quien la ejerce y a aquellos sobre quienes se ejerce. Cuando se aplica violenta, grosera y cruelmente, produce un buen efecto creando y fomentando el espíritu de la rebeldía y del Individualismo, que acabará por terminar con ella. Cuando se aplica con una cierta dosis de bondad y está acompañada de premios y recompensas, es tremadamente desmoralizadora. En ese caso, la gente está menos consciente de la horrible presión que se ejerce sobre ella y de esta forma atraviesa la vida en medio de un toso confort, como animales domésticos, sin darse cuenta jamás de que probablemente están pensando los pensamientos de otras gentes, viviendo de acuerdo a los standards de otras gentes, usando lo que prácticamente podría llamarse ropa de segunda mano, y nunca siendo ellos mismos, ni por un solo momento. Aquél que fuere libre, dice un gran pensador, no debe conformarse. Y la autoridad, al sobornar a la gente, crea un toso tipo de barbarismo sobrealimentado entre nosotros.

Junto con la autoridad, desaparecerá el castigo. Esto representará un gran beneficio; un beneficio de incalculable valor. A medida que se lee la historia, y no en las versiones expurgadas escritas para escolares y transeúntes, sino la de autoridades originales de cada época, uno se siente enfermo, no por los crímenes cometidos por los malvados, sino por los castigos infligidos por los buenos; y una comunidad se embrutece infinitamente más con el empleo habitual de castigo que con el crimen ocasional. Resulta obvio que cuantos más castigos se infligen más crímenes se producen, y la legislación más moderna así lo reconoce, y se ha propuesto disminuir lo más posible el castigo, y donde éste ha podido realmente disminuirse, los resultados han sido extremadamente buenos. Cuanto menos castigo, menos crimen. Allí donde no existe castigo, el crimen dejará de existir, o si ocurre será tratado por los médicos como una forma lamentable de demencia que será curada con cuidados y bondad. Pues aquellos a quienes se llama criminales hoy día, de ninguna manera lo son. El hambre, y no el pecado, es el padre del crimen moderno. Esa es, en realidad, la razón por la que nuestros criminales son, como clase, tan absolutamente poco interesantes desde el punto de vista psicológico. No son ni los maravillosos Macbeths ni los terribles

Vautrins. Son simplemente lo que sería la gente ordinaria, respetable y común si no hubiese tenido bastante para comer.

Cuando quede abolida la propiedad privada, no habrá necesidad del crimen, nadie se interesará por él; dejará de existir. Por supuesto, no todos los crímenes son crímenes contra la propiedad, aunque esos sean los crímenes que la ley inglesa, valorando más lo que el hombre tiene que lo que el hombre es, castiga con la más tremenda y horrible severidad (si exceptuamos el crimen del asesinato, y consideramos a la muerte como peor que la servidumbre penal, punto sobre el cual entiendo que nuestros criminales discrepan). Pero aunque un crimen pueda no ser contra la propiedad, puede surgir de la miseria, la rabia y la depresión producidas por nuestro equivocado sistema de tenencia de propiedad, de modo que cuando el sistema quedeabolido, desaparecerá. Cuando cada miembro de la comunidad tenga lo necesario para sus necesidades y su vecino no interfiera en su vida, no tendrá ningún interés en interferir en la vida de los demás. Los celos, que son una extraordinaria fuente de crimen en la vida moderna, son una emoción estrechamente ligada a nuestra concepción de la propiedad que, bajo el Socialismo y el Individualismo, desaparecerá. Es notable comprobar que en tribus de tipo comunitario, los celos son enteramente desconocidos.

Ahora bien, si el Estado no va a gobernar, uno se puede preguntar qué es lo que irá a hacer. El Estado deberá ser el voluntario fabricante y distribuidor de los bienes necesarios. El Estado deberá hacer lo que es útil. El individuo deberá hacer lo que es hermoso. Y como he mencionado la palabra trabajo, no puedo dejar de decir que se escriben y se dicen actualmente muchas tonterías sobre la dignidad del trabajo manual. No hay nada necesariamente significativo en la tarea manual, y la mayor parte de la misma es absolutamente degradante. Es mental y moralmente ofensivo para el hombre hacer algo en lo que no encuentra placer, y muchas formas de actividad no brindan absolutamente ningún placer. Barrer una plazoleta enfangada durante ocho horas al día cuando sopla el viento este, es una actividad repulsiva. Barrerla con dignidad mental, moral o física me parece algo imposible. Barrerla con alegría me parecería sobrecogedor. El hombre se hizo para algo mejor que para remover la suciedad. Todo trabajo de ese tipo debiera efectuarse con máquinas.

Y no tengo dudas que se hará. Hasta este momento el hombre ha sido, hasta cierto punto, el esclavo de la máquina, y hay algo trágico en el hecho de que tan pronto un hombre inventó una máquina para que realice su trabajo, él comienza a pasar hambre. Naturalmente, este es el resultado de nuestro sistema de propiedad y nuestro sistema de competencia. Un

hombre posee la máquina que hace el trabajo de quinientos hombres. Quinientos hombres son, por consiguiente, echados de su trabajo, y sin trabajo sufren hambre y se dedican a robar. Un hombre se asegura el producto de la máquina y la mantiene, y tiene quinientas veces más de lo que debiera tener y probablemente, aunque no tenga realmente importancia, mucho más de lo que él puede necesitar. Si esa máquina perteneciera a todos, todos se beneficiarían con ella. Proporcionaría una enorme ventaja a la comunidad. Todo trabajo no intelectual, toda tarea monótona, aburrida, toda tarea relacionada con cosas feas que implique condiciones desagradables, debiera hacerse con máquinas. Las máquinas debieran trabajar por nosotros en las minas de carbón, encargarse de los servicios sanitarios, encargarse del fogeo en los barcos, limpiar las calles, llevar mensajes en días de lluvia, y hacer cualquier cosa tediosa o deprimente. En la actualidad, la máquina compite con el hombre. Bajo condiciones favorables, la máquina servirá al hombre. No existe ninguna duda de que éste es el futuro de la máquina, y así como los árboles crecen mientras el campesino duerme, de la misma manera, las máquinas se encargarán de todo el trabajo necesario y desagradable mientras la Humanidad se divierte, o goza con un descanso cultivado — que ésa es la finalidad del hombre, y no la tarea —, o haciendo hermosas cosas, o leyéndolas, o simplemente contemplando el mundo con admiración y delicia. El hecho es que la civilización reclama esclavos. Los griegos tenían mucha razón en eso. Si no existen esclavos para hacer el trabajo desagradable, horrible, no interesante, la cultura y la contemplación se hacen casi imposibles. La esclavitud humana es insegura y desmoralizadora. El futuro del mundo depende de la esclavitud mecánica, de la esclavitud de la máquina. Y cuando los científicos no deban ir al deprimente East End a distribuir un mal cacao y peores mantas a gente hambrienta, gozarán de un delicioso descanso en el cual podrán crear cosas maravillosas para su propio gozo y para el de todos los demás. Existirán grandes depósitos de energía en todas las ciudades y si se necesitara, para cada casa, y esta energía el hombre la convertirá en calor, luz o movimiento, de acuerdo a sus necesidades. ¿Es esto utópico? Un mapa del mundo que no incluya Utopía no merece ni mirarse pues deja fuera el país en el que la Humanidad está siempre desembarcando. Y al desembarcar allí la Humanidad y ver un país mejor, vuelve a poner proa hacia ella. El progreso es la realización de las utopías.

Ahora bien, he dicho que la comunidad, por medio de la organización de maquinarias, abastecerá las cosas útiles, y que las cosas hermosas las hará el individuo. Esto no solamente es necesario sino que es la única forma posible por la que podemos conseguir lo uno y lo otro.

Un individuo que debe hacer cosas para uso de otros, atendiendo las necesidades y los deseos de los demás, no trabaja con interés, y por consiguiente no puede poner en su trabajo lo que hay mejor dentro suyo. Por otra parte, cuando una comunidad o una importante parte de una comunidad, o un gobierno de cualquier tipo, trata de dictar al artista lo que debe hacer, el Arte, o desaparece totalmente, o se estereotipa, o se degenera en una forma baja e innoble de artesanía. Una obra de arte es el resultado único de un temperamento único. Su belleza es la consecuencia de que el autor sea lo que es. No tiene nada que ver con lo que otra gente pueda querer. En realidad, en el momento en que el artista se da cuenta de lo que quiere la otra gente, y trata de satisfacer la demanda, deja de ser un artista y se convierte en un artesano, aburrido o divertido, un comerciante honesto o deshonesto. No tiene derecho a exigir que se lo considere un artista. El arte es la forma más intensa de Individualismo que el mundo ha conocido. Me inclino a decir que es la única forma real de Individualismo que el mundo ha conocido. El crimen, que bajo ciertas condiciones puede parecer como creador de Individualismo, debe tomar conocimiento de otra gente y relacionarse con ella. Pertece a la esfera de la acción. Pero el artista puede modelar una cosa hermosa; lo hace solo, sin tener en cuenta a sus vecinos y sin interferir con los demás; y si no hace su obra para su exclusivo placer, no es de ninguna manera un artista.

Y debe notarse que siendo el Arte esta forma intensa de Individualismo, el público trata de ejercer sobre él una autoridad que es tan inmoral como ridícula y tan corruptora como despreciable. No es toda su culpa. El público ha sido siempre, en todos los tiempos, mal educado. Constantemente se pide que el Arte sea popular para satisfacer su falta de gusto, para adular su absurda vanidad, para decirles lo que ya se les dijo antes, para mostrarles lo que debieran estar cansados de ver, para divertirlos cuando se sienten pesados después de haber comido demasiado, y para distraer sus pensamientos cuando están cansados de su propia estupidez. El Arte nunca debiera ser popular. Es el público quien debiera tratar de hacerse artístico. Existe entre esto una gran diferencia. Si a un hombre de ciencia se le dijese que los resultados de sus experiencias, y las conclusiones a las que llegare, no deben alterar los conocimientos populares sobre el tema, no deben molestar los prejuicios populares, o lastimar la sensibilidad de aquella gente que nada sabía sobre ciencia; si a un filósofo se le dijera que tiene todo el derecho de especular en las más altas esferas del pensamiento, siempre que llegue a las mismas conclusiones sostenidas por los que nunca pensaron en esfera alguna; bueno, actualmente al filósofo y al hombre de ciencia esto les

haría mucha gracia. Sin embargo, hasta hace pocos años la filosofía y la ciencia estaban sometidas a un brutal control popular, en realidad, a la autoridad: autoridad, ya sea de la ignorancia general de la comunidad, o del terror y la avidez de poder de una clase eclesiástica o gubernamental. Por supuesto, nos hemos liberado en gran parte de cualquier tentativa de la comunidad, o de la Iglesia, o del Gobierno, de interferir con el individualismo del pensamiento especulativo, pero todavía subsiste el deseo de tratar el individualismo del arte imaginativo. En realidad, esta tentativa hace más que subsistir: es agresiva, ofensiva y brutalizadora.

En Inglaterra, las artes que han podido escapar más son aquellas por las que el público no muestra gran interés. La poesía es un ejemplo de lo que quiero decir. Hemos podido tener buena poesía en Inglaterra porque el público no la lee, y por lo tanto no la influye. Al público le gusta insultar a los poetas porque son individuales, pero una vez que los han insultado, los dejan en paz. En el caso de la novela y el teatro, artes por las cuales el público sí se interesa, el resultado del ejercicio de la autoridad popular ha sido absolutamente ridículo. Ningún país produce ficción tan mal escrita, trabajo tedioso y trivial en forma de novela, y piezas de teatro tan tontas y vulgares como en Inglaterra. Tiene necesariamente que ser así. El estándar popular es tal que ningún artista puede adaptarse a él. Es a la vez demasiado fácil y demasiado difícil ser un artista popular. Es demasiado fácil, porque los requisitos del público en materia de argumento, estilo, psicología, tratamiento de la vida y tratamiento de la literatura, están al alcance de la capacidad más elemental y la mente menos cultivada. Es demasiado difícil pues para llenar esos requisitos el artista debería violentar su temperamento, escribir no por el goce artístico que esto le brinda sino para el entretenimiento de gente semieducada, suprimir así su individualismo, olvidando su cultura, aniquilando su estilo, dejando de lado todo lo que es valioso en él. En el caso del teatro, la situación es algo mejor: el público que concurre al teatro gusta de lo obvio, es verdad, pero no le agrada lo tedioso; y la comedia burlesca y bufa, las dos formas más populares, son formas de carácter particular. Dentro de este género se pueden producir trabajos encantadores y en obras de este tipo se le concede al artista en Inglaterra gran libertad. Es al llegar a las formas más elevadas del drama cuando se ve el resultado del control popular. Lo que al público le disgusta es la novedad. Cualquier intento de ampliar el tema del arte resulta sumamente desagradable; y sin embargo, la vitalidad y el progreso del arte dependen en gran medida de su continua expansión. A la gente no le agrada la novedad porque le teme. Representa para ellos una forma de Individualismo, una demostración del artista de que es él quien elige

su tema, y lo trata como le gusta. El público tiene perfecta razón en su actitud. Arte es Individualismo y el Individualismo es una fuerza perturbadora y desintegradora. Ese es su inmenso valor. Porque lo que trata de perturbar es la monotonía del género, la esclavitud de la costumbre, la tiranía del hábito, y la reducción del hombre al nivel de una máquina. En el Arte, el público acepta lo que se ha hecho ya, no porque lo aprecie sino porque no lo puede alterar. Tragan a sus clásicos, pero nunca los saborean. Los toleran como algo inevitable, y como no los pueden desfigurar, los proclaman. Es raro, o quizás no, de acuerdo a los puntos de vista que se tengan, pero esta aceptación de los clásicos hace mucho daño. La admiración sin crítica de la Biblia, o de Shakespeare en Inglaterra, es un ejemplo de lo que quiero decir. Con respecto a la Biblia, entra a incidir sobre este tema la autoridad eclesiástica, de manera que no me explayaré sobre el mismo.

Pero en el caso de Shakespeare, es bien obvio que el público realmente no percibe ni las bellezas ni los defectos de sus obras. Si vieran las bellezas, no objetarían el desarrollo del drama; y si vieran los defectos, tampoco objetarían el desarrollo del drama. Lo que sucede es que el público utiliza los clásicos de un país como medio de controlar los progresos del Arte. Degradan a los clásicos al convertirlos en autoridades. Los utilizan como garrotes para evitar la libre expresión de la Belleza en nuevas formas. Preguntan siempre al escritor por qué no escribe como otros, o a un pintor, por qué no pinta como otros, sin darse cuenta de que si alguno de ellos hiciera algo así dejaría de ser artista. Cualquier forma fresca de Belleza les resulta desagradable y cuando aparece se enojan y extrañan tanto, que utilizan siempre dos estúpidas expresiones: una es que la obra de arte es absolutamente incomprensible; la otra, que la obra de arte es absolutamente inmoral. Lo que quieren decir con estas palabras a mi parecer es lo siguiente: cuando dicen que una obra es absolutamente incomprensible, quieren decir que el artista ha dicho o hecho una cosa hermosa que es nueva; cuando describen una obra como absolutamente inmoral, quieren decir que el artista ha dicho o hecho una cosa hermosa que es verdadera. La primera expresión hace referencia al estilo; la segunda al tema. Pero, probablemente, usan palabras en forma vaga. Así como una muchedumbre utilizaría adoquines para apedrear. No existe un solo poeta auténtico, o escritor en prosa de este siglo, por ejemplo, a quienes el público inglés no haya solemnemente conferido diplomas de inmoralidad y estos diplomas, entre nosotros, prácticamente ocupan el lugar de lo que en Francia es el formal reconocimiento de una Academia de Letras y, afortunadamente, hacen que el establecimiento de una institución tal, sea completamente innecesario en Inglaterra. Por

supuesto, el público utiliza esta palabra en forma temeraria. Podía esperarse que llamaran a Wordsworth un poeta inmoral. Wordsworth era un poeta. Pero que hayan llamado a Charles Kingsley novelista inmoral, es extraordinario. La prosa de Kingsley no era de muy buena calidad. Sin embargo, he ahí la palabra, y la utilizan en la mejor forma posible. Por supuesto, un artista no se altera por ello. El verdadero artista es el hombre que cree absolutamente en sí mismo, porque es absolutamente él mismo. Pero puedo imaginar que si un artista produjese en Inglaterra una obra de arte que inmediatamente de aparecer fuese reconocida por el público, a través de su medio que es la prensa pública, como trabajo inteligible y muy moral, empezaría seriamente a dudar si en su creación se habría mostrado realmente él mismo, y por lo tanto, si el trabajo fuera digno de él, o era de segundo orden, y no tenía ningún valor artístico.

Quizás me haya equivocado frente al público al limitarlo al empleo de palabras tales como inmoral, exótico, inteligible y malsano. Hay una palabra que utilizan y que es morboso. No la utilizan con frecuencia. El significado de la palabra es tan simple que tienen miedo de usarla. Sin embargo, a veces la emplean, y ocasionalmente uno se cruza con ella en los periódicos populares. Es por supuesto una palabra ridícula para usar con referencia a una obra de arte, pues ¿qué es lo morboso sino un estado de emoción o una forma de pensamiento que uno no puede expresar? El público es totalmente morboso, porque el público nunca puede encontrar expresión para nada. El artista nunca es morboso. Expresa todo. Está fuera de su tema y a través de una forma de expresión produce efectos incomparables y artísticos. Llamar a un artista morboso porque utiliza como tema la morbosidad es tan tonto como llamar a Shakespeare loco porque escribió *El Rey Lear*.

Finalmente, un artista en Inglaterra se beneficia cuando se le ataca. Se hace completamente él mismo. Por supuesto, los ataques son muy burdos, muy impertinentes y muy despreciables. De todas maneras, ningún artista espera gracia de la mente vulgar, o estilo en el intelecto suburbano. La vulgaridad y la estupidez son dos hechos muy vividos en la vida moderna. Naturalmente, uno los lamenta, pero allí están. Son temas de estudio, como todo lo demás. Y es justo declarar, con respecto a los modernos periodistas, que siempre se disculpán ante uno en privado por lo que han escrito contra uno en la prensa.

En los últimos años se han agregado otros dos adjetivos al muy limitado vocabulario de abuso del arte que está a disposición del público. Uno es la palabra malsano; el otro, la palabra exótico. Esta última simplemente expresa la rabia del hongo efímero frente a la inmortal, fascinante y exquisitamente encantadora orquídea. Es un tributo, pero un

tributo sin importancia. La palabra malsano admite, sin embargo, un análisis. Es una palabra bastante interesante. En realidad es tan interesante que la gente que la usa no sabe lo que significa.

¿Qué significa, a qué se llama una obra de arte saludable, y a qué una obra de arte malsana? Todos los términos que se aplican a una obra de arte, siempre que se los aplique racionalmente, hacen referencia a su estilo, a su tema, o a ambos. Desde el punto de vista del estilo, una obra de arte sana es aquella cuyo estilo aprecia la belleza del material que emplea, ya sea éste palabras o bronce, color o marfil, y emplea esta belleza para producir el efecto estético. Desde el punto de vista del tema, una obra de arte sana es aquella en la que la elección del tema está condicionada por el temperamento del artista y surge directamente de él. En fin, una obra de arte sana es aquella que tiene perfección y personalidad. Por supuesto, la forma y la sustancia no pueden separarse en una obra de arte; forman una unidad. Pero con fines de análisis y dejando de lado por un momento la unidad de la impresión estética, intelectualmente podemos separarlas. Una obra de arte malsana, por otra parte, es una obra cuyo estilo es obvio, anticuado y común, y cuyo tema es elegido deliberadamente, no porque el artista encuentre placer en él, sino porque cree que el público se lo pagará. En realidad, la novela popular que el público llama sana es siempre un trabajo malsano, y lo que el público llama novela malsana es siempre una hermosa y saludable obra de arte.

De ninguna manera quiero decir que me estoy quejando de que el público y la prensa pública utilicen mal estas palabras. No sabría cómo, con su falta de comprensión de lo que es Arte, pudieran utilizarlas en el sentido adecuado. Simplemente señalo su mal empleo; y en cuanto al origen de ese mal empleo y el significado que se esconde detrás de todo eso, la explicación es muy simple. Proviene de la bárbara concepción de autoridad. Proviene de la incapacidad natural de una comunidad corrompida por la autoridad, para comprender y apreciar el Individualismo. En una palabra, proviene de algo monstruoso e ignorante que se llama Opinión Pública, la cual, bien o mal intencionada como es cuando trata de controlar la acción, se hace infame y baja cuando trata de controlar el Pensamiento o el Arte.

En realidad, hay mucho más para decir a favor de la fuerza física del público que a favor de la Opinión Pública. La primera puede ser buena. La segunda es tonta. Con frecuencia se dice que la fuerza no es argumento. Eso sin embargo depende enteramente de lo que uno quiera probar. Muchos de los más importantes problemas de los últimos siglos, tales como la continuación del gobierno personal en Inglaterra o del

Feudalismo en Francia, fueron enteramente resultado de la fuerza física. La misma violencia de una revolución puede hacer, por un momento, grande y espléndido al público. Fue un día fatal aquel en que el público descubrió que la pluma es más poderosa que el adoquín y puede hacerse tan ofensiva como un ladrillo. De inmediato buscaron al periodista, lo encontraron, lo desarrollaron e hicieron de él un industrioso y bien pagado sirviente. Es muy lamentable, para ambas partes. Detrás de la barricada puede haber mucha nobleza y heroísmo. Pero, ¿qué hay detrás del artículo de fondo sino prejuicio, estupidez, hipocresía y disparate? y cuando estos cuatro se unen constituyen una fuerza terrible y se transforman en la nueva autoridad.

Antiguamente existía la tortura. Ahora tienen la prensa. Ciertamente esto constituye un adelanto. Pero todavía el medio es malo, equivocado y desmoralizador. Alguien — ¿fue Burke? — llamó al Periodismo el cuarto estado. Eso sin duda era cierto en ese momento. Pero en el presente es el único estado. Se ha comido a los otros tres. Los Señores Temporales no dicen nada, los Señores Espirituales no tienen nada que decir; y la Casa de los Comunes no tiene nada que decir y lo dice. Estamos dominados por el Periodismo. En Norteamérica, el Presidente reina por cuatro años, y el Periodismo gobierna por siempre jamás. Por suerte, en Norteamérica el Periodismo ha llevado su autoridad a los extremos más burdos y brutales y como consecuencia natural, ha comenzado a crear un espíritu de rebelión. A la gente le divierte, o le disgusta, de acuerdo a su temperamento. Pero ya no es más la fuerza que era. No se la considera seriamente. El Periodismo en Inglaterra, exceptuando algunos pocos ejemplos conocidos, como no ha sido llevado a tales extremos de brutalidad, es todavía un gran factor, un poder realmente importante. Considero verdaderamente extraordinaria la tiranía que se propone ejercer sobre las vidas privadas de la gente. El hecho es que el público tiene una curiosidad insaciable por conocer todo, excepto aquello que vale la pena conocer. El Periodismo, consciente de esto y con sus hábitos comerciales, satisface sus demandas. En siglos anteriores al nuestro, el público clavaba a los periodistas por las orejas en la picota. Eso era terrible. En este siglo, los periodistas han clavado sus propias orejas en los agujeros de la cerradura. Eso es aun peor. Y lo que agrava esta desgracia es que los periodistas más culpables no son los periodistas divertidos que escriben para los llamados periódicos de sociedad. El daño lo hacen los periodistas serios, reflexivos, sinceros, quienes solemnemente, como lo están haciendo actualmente, mostrarán ante los ojos del público algún incidente de la vida privada de un gran estadista, de algún líder del pensamiento político, ya que se trata de un creador de

fuerza política, e invitan al público a discutir el incidente, a ejercer su autoridad sobre el asunto, dar su punto de vista, y no solamente dar su punto de vista sino también llevarlo a la acción, imponiendo sus ideas sobre otros puntos al hombre, a su partido, al país; en otras palabras, se hacen ridículos, ofensivos y dañinos. Las vidas privadas de los hombres y las mujeres no debieran contarse en público. El público no tiene absolutamente nada que ver con ellos.

En Francia las cosas se arreglan mejor. No se permite que los detalles de los juicios por divorcio se publiquen para la diversión o la crítica del público. Todo lo que el público puede conocer es que se ha llevado a cabo un divorcio y que fue concedido a pedido de una, u otra, o ambas partes. En Francia, en realidad, se limita al periodista y se permite al artista casi perfecta libertad. Aquí otorgamos absoluta libertad al periodista y limitamos enteramente al artista. La opinión pública inglesa trata de constreñir y obstaculizar al hombre que hace cosas que son hermosas y obliga al periodista a detallar cosas que son feas, desagradables o asqueantes, de modo que tenemos los más serios periodistas del mundo y los periódicos más indecentes. No es exagerado hablar de compulsión. Posiblemente existan periodistas que encuentran placer en publicar cosas horribles, o quienes, siendo pobres, buscan escándalos como fuente permanente de ingresos. Pero existen otros periodistas, estoy seguro, hombres de educación y cultivados, a quienes realmente disgusta publicar estas cosas, que saben que está incorrecto hacerlo, y solamente lo hacen porque las condiciones malsanas en que ejercen su profesión les obligan a dar al público lo que el público demanda, y competir con otros periodistas significa proporcionar este material en la forma más completa y satisfactoria posible, para satisfacer el burdo apetito popular. Es una posición muy degradante para cualquier persona educada, y no me cabe duda que la mayoría de ellos lo siente intensamente.

Dejemos sin embargo lo que es realmente un aspecto muy sórdido del tema y volvamos a la cuestión del control popular del Arte, con lo que quiero decir la Opinión Popular dictando al artista la forma que debe usar, el modo de usarla y los materiales con los que deberá trabajar. He señalado que las artes que mejor han escapado en Inglaterra son aquéllas por las que el público no muestra interés. Se interesan, sin embargo, por el teatro, y como se ha logrado un cierto adelanto en el teatro en los últimos diez o quince años, es importante señalar que este avance se debe enteramente al hecho de que algunos pocos artistas individuales rechazaron aceptar como guía la falta de gusto del público, y se negaron a considerar el Arte como mera cuestión de oferta y demanda. Con su

maravillosa y vívida personalidad, con un estilo que tiene en sí un verdadero elemento de color, con su extraordinario poder, no solamente sobre la mímica sino sobre la creación imaginativa e intelectual, si el solo objeto del señor Irving hubiese sido dar al público lo que éste quería, hubiese podido producir las obras más comunes en la forma más común, y obtener tanto éxito y dinero como cualquier hombre hubiese podido desear. Pero su objetivo no era ése. Su objetivo era realizar su propia perfección como artista, bajo ciertas condiciones y con ciertas formas del Arte. Al principio gustó a unos pocos; ahora ha educado a una mayoría. Ha creado en el público gusto y temperamento. El público aprecia inmensamente su éxito artístico. Me pregunto a menudo si el público comprende que su éxito se debe enteramente a que él no aceptó su criterio, sino a que siguió el suyo propio. De haber seguido el criterio del público, el *Lyceum* hubiese sido una barraca de segunda categoría, como son algunos de los teatros de Londres actualmente. Lo comprendan o no, es un hecho sin embargo que el gusto y el temperamento fueron creados hasta cierto punto en el público y que el público es capaz de desarrollar estas cualidades. El problema reside entonces en saber por qué el público no se educa y refina más. Si tienen la capacidad de hacerlo, ¿qué los detiene?

Lo que los detiene, debe decirse nuevamente, es su deseo de ejercer autoridad sobre los artistas y sobre las obras de arte. Hay ciertos teatros, como el *Lyceum* y el *Haymarket*, a donde el público parece concurrir con la disposición apropiada. En estos dos teatros ha habido artistas individuales que han logrado crear entre sus audiencias – y cada teatro en Londres tiene su propia audiencia – el temperamento necesario para apreciar el arte. ¿Cuál es este temperamento? Es el temperamento de la receptividad. Eso es todo.

Si un hombre se aproxima a una obra de arte con el deseo de ejercer autoridad sobre ella y sobre el artista, se aproxima con una disposición tal que ya no puede recibir ninguna impresión artística de la misma. La obra de arte debe dominar al espectador y no el espectador a la obra de arte. El espectador debe ser receptivo. Debe ser el violín con el que ejecutará el maestro. Cuanto más absolutamente suprime sus necias opiniones, sus tontos prejuicios y sus absurdas ideas sobre lo que debiera o no ser el Arte, mejor comprenderá y apreciará la obra de arte en cuestión. Esto resulta obvio en el caso del público vulgar de hombres y mujeres, de Inglaterra, que concurren al teatro. Pero es igualmente cierto cuando se aplica a la llamada gente educada. Pues las ideas que la gente educada tiene sobre el arte provienen naturalmente de lo que el Arte ha sido, mientras que la obra de arte nueva es hermosa por ser lo que el Arte

nunca ha sido; y medirla con las pautas del pasado es medirla con una pauta que debe ser rechazada para poder valorar la real perfección de la obra. Aquel temperamento que es capaz de recibir, a través de la imaginación y bajo circunstancias imaginativas, nuevas y hermosas impresiones, es el único temperamento capaz de apreciar una obra de arte. Y cierta como es esta afirmación en el caso de una escultura y una pintura, más cierta aún es en el caso de un arte como el teatro.

Pues un retrato y una escultura no están en lucha con el Tiempo. No toman en cuenta su devenir. Su unidad puede aprehenderse en un momento. En el caso de la literatura es diferente. Debe transcurrir un lapso antes de poder apreciar la unidad del efecto. De esta forma, en la obra de teatro puede ocurrir algo en el primer acto cuyo real valor artístico podrá no hacerse evidente al espectador hasta llegar al tercer o cuarto acto. ¿Debe por ello ese imbécil enojarse, y gritar, y perturbar la obra y molestar a los artistas? No, la persona sensata debe permanecer sentada, con tranquilidad, y saborear las deliciosas emociones de la expectación, la curiosidad, y el suspenso. No debe ir a ver la obra para perder los estribos. Debe ir a ver la obra para satisfacer su temperamento artístico. No es árbitro de la obra de arte, y si la obra de arte es bella, olvidará en su contemplación todo el egotismo que lo perturba, el egotismo de su ignorancia, o el egotismo de su información. Creo que este aspecto del teatro no ha sido suficientemente reconocido. Puedo muy bien creer que si *Macbeth* hubiese sido presentado por primera vez ante el público del Londres actual, mucha de la gente hubiese objetado vigorosamente por la introducción de las brujas en el primer acto, con sus frases grotescas y sus palabras ridículas. Pero cuando la obra termina, uno se da cuenta de que la risa de las brujas en *Macbeth* es tan terrible como la risa de locura de Lear, más terrible que la risa de Yago en la tragedia del Moro. Ningún espectador de arte necesita una forma más perfecta de receptividad que el espectador de una obra de teatro. En el momento en que busca ejercer su autoridad se convierte en enemigo abierto del Arte y de sí mismo. Al Arte esto no le afecta; es él quien sufre.

Con la novela sucede lo mismo. La autoridad popular y la aceptación de la autoridad popular son fatales. El *Esmond* de Thackeray es una hermosa obra de arte porque la escribió para darse placer a sí mismo. En sus otras novelas, en *Pendennis*, en *Philip*, aún en *Vanity Fair*, hay momentos en que está demasiado consciente del público, y arruina su trabajo al apelar directamente a la simpatía del público, o por burlarse directamente de él. El verdadero artista no toma en cuenta al público. Para él, el público no existe. No lleva tortas llenas de narcóticos o de miel para adormecer o alimentar al monstruo. Deja eso

para el novelista popular. Tenemos ahora en Inglaterra un incomparable novelista, el señor George Meredith. Hay mejores novelistas en Francia, pero Francia no tiene a nadie con una visión tan amplia, tan variada y tan imaginativamente cierta. Hay en Rusia narradores con un sentido más vívido de lo que puede ser el dolor en la ficción. Pero Meredith posee la filosofía de la ficción. Sus personajes no solamente viven, sino que viven en el pensamiento. Uno puede verlos desde un sin fin de puntos de vista. Son sugerentes. Hay alma en ellos y alrededor de ellos. Son interpretativos y simbólicos. Y quien las creó, a esas maravillosas figuras de rápidos movimientos, las hizo para su propio placer, y nunca preguntó al público lo que éste quería, nunca permitió al público que le dictara lo que debía hacer o influyera sobre él de ninguna manera, sino que ha continuado intensificando su propia personalidad y produciendo su propio trabajo individual. Al principio, nadie vino a él. Eso no le importó. Luego, una minoría se le acercó. Eso no lo cambió. La mayoría ha venido ahora. El sigue siendo el mismo. Es un novelista incomparable.

Con las artes decorativas no es diferente. El público se aferró con verdadera y patética tenacidad a lo que yo creo fueron las tradiciones directas de la Gran Exhibición de Vulgaridad Internacional, tradiciones tan lamentables que las casas que se habitaban eran apropiadas para ciegos. Se comenzaron a hacer cosas bellas, salieron bellos colores de las manos del tintorero, formas hermosas del cerebro del artista, y se implantó la costumbre por el uso de cosas hermosas, su valor e importancia. El público se indignó. Perdió los estribos. Se dijeron cosas necias. A nadie importó. Nadie aceptó la autoridad de la opinión pública. Y ahora resulta casi imposible entrar en una casa moderna sin notar algún rasgo de buen gusto, algún reconocimiento del valor de vivir en un medio encantador, alguna señal de aprecio por la belleza. Por lo general, actualmente las casas son bastante encantadoras. La gente ha sido, en gran medida, educada. Y es justo decir que el extraordinario éxito de la revolución en las decoraciones de las casas y en su amueblamiento no se debe al desarrollo del buen gusto en la mayoría del público sino a que los artesanos hallaron placer en hacer cosas hermosas y surgió en ellos una vívida conciencia de la fealdad y la vulgaridad de lo que el público antes quería, de modo que simplemente se negaron a servirles. Sería imposible amueblar hoy una habitación en la forma que se hacía algunos años atrás, sin tener que recurrir para ello a un remate de muebles de segunda mano, en un hotel de tercera categoría. Esas cosas ya no se hacen más. Aunque lo objeten, la gente tiene actualmente algo lindo a su alrededor. Por fortuna para ellos, sus propios intentos de imponer su autoridad sobre esas cosas fracasaron.

Es evidente que toda autoridad en esas materias es perniciosa. La gente a veces se pregunta qué tipo de gobierno es el más conveniente para un artista. Para esta pregunta existe una sola respuesta. La forma de gobierno más conveniente para un artista es que no haya gobierno. La autoridad que se ejerce sobre él y sobre su arte es ridícula. Se dijo que bajo el despotismo los artistas produjeron hermosas obras. Esto no es así. Los artistas visitaron a los déspotas, no como súbditos sobre quienes ejercer su tiranía, sino como ambulantes hacedores de maravillas, como fascinantes personalidades vagabundas, que era preciso recibir, cuidar y dejar en paz, permitiéndoles así crear. A favor del déspota se puede decir esto: que él, siendo un individuo, puede poseer cultura, mientras que la multitud, siendo un monstruo, no tiene ninguna. El Emperador o el Rey pueden agacharse a levantar un pincel para un pintor, pero cuando la democracia se agacha, es simplemente para echar barro. Y sin embargo, hasta ahora la democracia no ha tenido que agacharse como el emperador. En realidad, para echar barro no precisa agacharse. Pero no hay necesidad de separar al monarca de la multitud; toda autoridad es igualmente mala.

Existen tres clases de déspotas. Está el déspota que tiraña el cuerpo. Está el déspota que tiraña el alma. Está el déspota que tiraña igualmente el cuerpo y el alma. Al primero se le llama el Príncipe. Al segundo se le llama el Papa. Al tercero se le llama el Pueblo. El Príncipe puede ser culto. Muchos Príncipes lo han sido. Sin embargo, el Príncipe entraña peligros. Uno piensa en el Dante en la amarga fiesta de Verona, en Tasso en la celda de Ferrara. Es mejor que el artista no viva con Príncipes. El Papa puede ser culto. Muchos Papas lo han sido; los malos Papas lo han sido. Los malos Papas amaron la Belleza casi tan apasionadamente, no, con tanta pasión como los buenos Papas odiaron el Pensamiento. A la maldad del Papado la Humanidad le debe mucho. La bondad del Papado tiene una terrible deuda con la Humanidad. Sin embargo, aunque el Vaticano ha mantenido la retórica de sus truenos y perdido la vara de sus rayos, es mejor para el artista no vivir con Papas. Fue un Papa el que dijo de Cellini, frente a un cónclave de Cardenales, que las leyes comunes y la autoridad común no se hicieron para hombres como él; pero fue un Papa el que arrojó a Cellini a la prisión y lo tuvo allí hasta que enfermó de rabia, y comenzó a tener visiones irreales, y vio al dorado sol entrar en su cuarto, se enamoró tanto de él que buscó escapar, y arrastrándose entre torre y torre al aire del amanecer le dio vértigo y cayó, lastimándose, y cubierto de hojas fue llevado por un viñador en su carro hacia alguien que amaba las cosas hermosas y lo cuidó y curó. Hay peligro en los Papas. En cuanto al Pueblo, ¿qué se puede decir de él y de

su autoridad? Quizás se haya hablado ya bastante de ambos. Su autoridad es ciega, sorda, odiosa, grotesca, trágica, divertida, seria y obscena. Es imposible para el artista vivir con el pueblo. Todos los déspotas sobornan. El Pueblo soborna y brutaliza. ¿Quién les dijo que ejercieran autoridad? Fueron hechos para vivir, para escuchar y para amar. Alguien les ha hecho un gran daño. Se han desfigurado al imitar a sus superiores. Han sacado el cetro al príncipe. ¿Cómo usarlo? Han sacado la triple tiara al Papa. ¿Cómo llevar esa carga? Es como un payaso con un corazón roto. Es como un sacerdote cuya alma todavía no ha nacido. Dejad que todos los que aman la belleza lo compadezcan. Aunque no ame la Belleza, dejad que se compadezca de sí mismo. ¿Quién le enseñó los ardides de la tiranía?

Hay muchas otras cosas que se podrían señalar. Se podría señalar cómo el Renacimiento fue grande porque no buscó solucionar el problema social, y no se ocupó de ese tipo de cosas, pero permitió que el individuo se desarrollara libre, hermosa y naturalmente, y así logró grandes artistas individuales, y grandes hombres individuales. Se podría señalar cómo Luis XIV, creando el estado moderno, destruyó el individualismo del artista e hizo a las cosas monstruosas en la monotonía de su repetición y despreciables en su conformidad con la regla, y destruyó en toda Francia aquellas hermosas libertades de expresión que habían dado a la tradición nueva belleza y creado nuevas formas de formas antiguas. Pero el pasado no tiene importancia. El presente no tiene importancia. Es en el futuro en lo que tenemos que pensar. Pues el pasado es lo que el hombre no debió haber sido. El presente es lo que el hombre no debiera ser. El futuro es lo que son los artistas.

Se dirá que el planteamiento, tal como se presenta aquí, no es práctico y va contra la naturaleza humana. Es absolutamente cierto. No es práctico y va contra la naturaleza humana. Es por eso mismo que vale la pena llevarlo adelante, y por eso es que se propone. ¿Pues cuál sería un planteamiento práctico? Un planteamiento práctico es un planteamiento que ya existe, o un planteamiento que podría realizarse en las condiciones existentes. Pero son precisamente las condiciones existentes las que se objetan; y cualquier planteamiento que pudiera aceptar estas condiciones es erróneo y absurdo. Al librarse de estas condiciones, la naturaleza humana cambiará. Lo único que uno realmente sabe acerca de la naturaleza humana es que ésta cambia. El cambio es la única cualidad que podemos afirmar en ella. Los sistemas que fallan son aquellos que se basan en la inmutabilidad de la naturaleza humana en lugar de hacerlo en su crecimiento y desarrollo. El error de Luis XIV fue pensar que la naturaleza humana sería siempre la misma. El resultado de este error fue

la Revolución Francesa. Fue un resultado admirable. Todos los resultados de los errores de los gobiernos son muy admirables.

Debe entenderse que el Individualismo no llega al hombre con ninguna cantinela enfermante acerca del deber, que simplemente significa hacer lo que otra gente quiere; porque necesitan que uno lo haga, o junto a cualquier odioso sermón acerca del sacrificio personal, que constituye nada más que un resto de lo que antes era la mutilación de los salvajes. En realidad, llega al hombre sin ningún reclamo. Surge natural y espontáneamente de él mismo. Es aquello a lo que tiende el desarrollo. Es la diferenciación a la que llegan todos los organismos. Es la perfección propia de cada modo de vida, y hacia la cual se aprestan. Y así el Individualismo no ejerce compulsión sobre el hombre. Por el contrario, dice al hombre que no debe permitir que se ejerza ninguna compulsión sobre él. No trata de forzar a la gente para que sea buena. Sabe que la gente es buena cuando se la deja sola. El Individualismo surgirá sólo del Hombre. El hombre está ahora desarrollando así el Individualismo. Preguntar si el Individualismo es práctico es como preguntar si la Evolución es práctica. La Evolución es la ley de la vida, y no hay evolución sino hacia el Individualismo. Cuando esta tendencia no se expresa, es que se está frente a un caso de desarrollo detenido artificialmente, o de enfermedad, o de muerte.

El Individualismo no será tampoco egoísta ni afectado. Se ha señalado que uno de los resultados de la extraordinaria tiranía de la autoridad es que las palabras sean absolutamente distorsionadas con respecto a su verdadero y simple significado y que se empleen para indicar lo contrario de su verdadera significación. Lo que es cierto con respecto a la Vida. Se llama extravagante a un hombre si se viste como le gusta. Pero al hacerlo está actuando de manera perfectamente natural. La extravagancia en tales casos consiste en vestirse igual que el vecino, cuyas opiniones, como las de la mayoría, serán seguramente bastante estúpidas. O si no, se llama egoísta a un hombre si vive en la forma que él cree más conveniente para la completa realización de su personalidad, cuando en realidad el principal objetivo de su vida es su propio desarrollo. Pero ésta es la forma en que cada uno debiera vivir. El egoísmo no consiste en vivir como uno desea, sino en pedir a los demás que vivan como uno desea vivir. La falta de egoísmo es la no interferencia en la vida de los demás. El egoísmo siempre tiende a crear alrededor suyo una absoluta uniformidad de tipos. La ausencia de egoísmo reconoce a la variedad infinita de tipos como algo encantador, la acepta, la aprueba y la disfruta. No es egoísta pensar por uno mismo. El hombre que no piensa por sí mismo, no piensa. Es burdamente egoísta exigir que el vecino

piense de la misma forma y tenga las mismas opiniones que uno. ¿Por qué iba a hacerlo? Si puede pensar por sí mismo, probablemente pensará de forma diferente. Si no puede pensar, es monstruoso pedirle algún tipo de pensamiento. Una rosa roja no es egoísta por querer ser una rosa roja, sería horriblemente egoísta si quisiera que las demás flores del jardín fueran rojas y rosas. Bajo el Individualismo la gente será completamente natural y carecerá en absoluto de egoísmo, y conocerá el sentido de las palabras y lo expresará a lo largo de sus vidas hermosas y libres. Ni tampoco serán ególatras los hombres, como lo son ahora. Pues el ególatra es aquel que tiene exigencias sobre los demás, y el Individualista no deseará eso. No le brindará placer. Cuando el hombre haya comprendido el Individualismo comprenderá también lo que es la simpatía y la ejercerá libre y espontáneamente. Hasta el presente el hombre apenas ha podido cultivar la simpatía. Ha sentido simpatía solamente por el dolor, y la simpatía por el dolor no es la forma más elevada de simpatía. Toda simpatía es bella, pero la simpatía por el sufrimiento es la menos bella. Está matizada de egolatría. Puede llegar a ser morbosa. Existe en ella un cierto elemento de terror por nuestra propia seguridad. Es el miedo de ser nosotros mismos el leproso o el ciego, y que a nadie le importe. Así el concepto resulta curiosamente limitativo. Uno debiera simpatizar con la vida en su totalidad, no solamente con los dolores y las enfermedades sino con las alegrías y la belleza, y la energía y la salud, y la libertad de la vida. La simpatía considerada con amplitud es por supuesto la más difícil. Requiere más generosidad. Cualquiera puede simpatizar con los sufrimientos de un amigo, pero se requiere una naturaleza muy bella – se requiere en realidad la naturaleza de un verdadero individualista – para simpatizar con el éxito de un amigo.

En la tensión moderna por la competencia y la lucha por hacerse un lugar, naturalmente tal simpatía es poco frecuente y se ve también muy sofocada por el ideal inmoral de uniformidad de tipo y conformidad a la regla que tanto prevalece en todas partes, siendo quizás en Inglaterra donde llega a ser más odioso.

Siempre habrá por supuesto simpatía hacia el dolor. Es uno de los primeros instintos del hombre. Los animales que son individuales, es decir aquellos más evolucionados, la comparten con nosotros. Pero debe recordarse que si bien la simpatía por la alegría intensifica la suma de alegría en el mundo, la simpatía por el dolor no disminuye realmente la cantidad de dolor. Puede capacitar al hombre para soportar el mal, pero el mal persiste. La simpatía por la tuberculosis no cura la tuberculosis, eso lo hace la ciencia. Y cuando el Socialismo haya resuelto el problema de la pobreza, y la ciencia haya resuelto el problema de la enfermedad, el

campo de los sentimentalistas habrá disminuido y la simpatía del hombre será amplia, sana y espontánea. El hombre encontrará felicidad en la contemplación de la felicidad de los demás.

Pues es a través de la felicidad que se desarrollará el Individualismo del futuro. Cristo no intentó reconstruir la sociedad, y en consecuencia el Individualismo que predicó al hombre podía realizarse únicamente a través del dolor en soledad. Los Ideales que debemos a Cristo son los ideales del hombre que abandona totalmente la sociedad, o del hombre que se resiste absolutamente frente a la sociedad. Pero el hombre es naturalmente social. Aun la Tebaida terminó por poblar, y aunque el cenobita realice su personalidad, es con frecuencia una personalidad pobre la que logra realizar. Por otro lado, la terrible verdad de que el hombre puede realizarse a través del dolor, ejerce una maravillosa fascinación sobre el mundo. Oradores y pensadores superficiales, desde pulpitos y tribunas, hablan con frecuencia de la veneración que el mundo tributa al placer, y lo fustigan. Pero en la historia del mundo muy pocas veces se encuentra que su ideal haya sido la felicidad y la belleza. Con mucha más frecuencia dominó al mundo la veneración por el dolor. El medioevo, con sus santos y mártires, su amor por la autotortura, su salvaje pasión por lastimarse, herirse con cuchillos, flagelarse con varas, representa el verdadero cristianismo, y el Cristo medieval es el Cristo real. Cuando asomó el Renacimiento en el mundo y trajo consigo los nuevos ideales de la belleza de la vida y el gozo del vivir, los hombres no pudieron entender a Cristo. Hasta el arte muestra esto. Los pintores del Renacimiento dibujaron a Cristo como a un niño jugando con otro niño en un palacio o en un jardín, o recostado en los brazos de su madre, sonriéndole a ella, o a una flor, o a un pájaro brillante; o como una figura maravillosa, surgiendo en una suerte de éxtasis de la muerte a la vida. Aún cuando lo dibujaran crucificado, lo dibujaron como a un hermoso Dios a quienes los perversos habían sometido a sufrimientos. Pero él no los preocupaba mucho. Lo que les deleitaba era pintar a los hombres y mujeres a quienes ellos admiraban, y mostrar el encanto de esta encantadora tierra. Pintaron muchos cuadros religiosos, en realidad pintaron demasiados, y la monotonía del tipo y el motivo es cansadora y fue perjudicial para el arte. Fue el resultado de la autoridad del público en cuestiones artísticas y debe deplorase. Pero el alma del artista no estaba en el tema. Rafael fue un gran artista cuando pintó su retrato del Papa. Cuando pintó sus Madonas con los Niños Jesús, no fue de ninguna manera un gran artista. Cristo no tenía mensaje para el Renacimiento, que fue maravilloso porque trajo un ideal diferente al de Cristo, y para hallar la representación del verdadero Cristo debemos

dirigimos al arte medieval. Allí se lo muestra mutilado y lacerado, un hombre desagradable a la vista, pues la Belleza es goce; un hombre sin ropas decentes, pues eso también puede traer goce; es un mendigo que tiene un alma maravillosa; es un leproso con un alma divina; no necesita ni propiedad ni salud; es un Dios realizando su perfección a través del dolor.

La evolución del hombre es lenta. La injusticia de los hombres es grande. Fue necesario hacer del dolor un medio de autorrealización. Aún ahora, en algunos lugares del mundo, el mensaje de Cristo se hace necesario. Nadie que viva en la Rusia moderna podría realizar su perfección sino a través del dolor. Unos pocos artistas rusos se han realizado en el Arte, en una ficción que tiene carácter medioeval, porque su nota dominante es la realización de los hombres a través del sufrimiento. Pero ante aquellos que no son artistas, para quienes no existe otra forma de vida que lo concreto de los hechos, el dolor es la única puerta para llegar a la perfección. Un ruso que viva feliz bajo el actual sistema de gobierno en Rusia debe creer que el hombre no tiene alma, o si la tiene, no vale la pena desarrollarla. El nihilista que rechaza toda autoridad porque sabe que toda autoridad es perniciosa y recibe con alegría el dolor, porque a través de él realiza su personalidad, es un verdadero cristiano. Para él el ideal cristiano es algo auténtico.

Y sin embargo, Cristo no se rebeló contra la autoridad. Aceptó la autoridad imperial del Imperio Romano y le rindió tributo. Soportó la autoridad eclesiástica de la Iglesia judía y no opuso violencia a la violencia. Como dije antes, no tenía ningún plan para la reconstrucción de la sociedad. Pero el mundo moderno sí tiene planes. Se propone terminar con la pobreza y con los sufrimientos que ésta ocasiona. Desea librarse del dolor, y del sufrimiento que el dolor ocasiona. Confía en el Socialismo y en la Ciencia como sus métodos. Lo que se propone es llegar a un Individualismo que se exprese a través de la alegría. Este Individualismo será más amplio, más completo, más encantador que cualquier otro Individualismo que se haya dado hasta ahora. El dolor no es la forma suprema de perfección. Es simplemente una protesta provisional. Se relaciona con medios dañinos, insanos, injustos. Cuando el mal, y la enfermedad, y la injusticia hayan desaparecido, no tendrá razón de ser. Fue un gran trabajo, pero está casi terminado. Su esfera disminuye cada día.

Ni tampoco el hombre la ha de extrañar. Pues lo que el hombre ha buscado no es en realidad ni el dolor ni el placer, sino simplemente la Vida. El hombre ha buscado vivir en forma intensa, completa, perfecta. Cuando pueda hacerlo sin limitar a los demás, y sus actividades le

brinden placer, tampoco sufrirá, será más cuerdo, más sano, más civilizado, más él mismo. El Placer es la prueba de la naturaleza, su señal de aprobación. Cuando un hombre es feliz, está en armonía con él mismo y con su medio. El nuevo Individualismo, a cuyo servicio el Socialismo está trabajando, quiéralo o no, será una perfecta armonía. Será lo que los griegos buscaron, pero no pudieron realizar completamente, sino en la esfera del Pensamiento, porque tenían esclavos y los alimentaban; será lo que el Renacimiento buscó, pero no pudo realizar completamente sino en la esfera del Arte, porque tenían esclavos y los dejaban morir de hambre. Será completo, y a través suyo cada hombre logrará su perfección. El nuevo Individualismo es el nuevo Helenismo.

О ск а р У а й л ь д
Д У Ш А Ч Е Л О В Е К А

(перевод *O.Кириченко*)

Наиважнейшим деянием Социализма после его установления, бесспорно, явится то, что Социализм избавит нас от этой презренной необходимости жить для других, каковая при сложившихся обстоятельствах навязана едва ли не каждому. Воистину редко кому из нас удаётся избежать этого бремени.

Случалось в наш век, что такие выдающиеся учёные, как Дарвин, такие выдающиеся поэты, как Китс, такие утончённые критические умы, как месье Ренан, такие непревзойдённые художники, как Флобер, сумели оградить себя, уберечься от крикливых притязаний толпы, устоять, как сказал Платон, «под прикрытием стены» и воплотить, таким образом, присущий им творческий дар во имя собственных высочайших идеалов и во имя высочайших и непреходящих идеалов всего человечества. Но это, увы, исключения. Большинство калечит жизнь свою опасным и чрезмерным альтруизмом – калечит, собственно, не по своей воле. Человечество видит вокруг чудовищную нищету, чудовищную мерзость, чудовищный голод. Разумеется, это не может не потрясти самым глубочайшим образом. Эмоционально человек гораздо более подвижен, чем интеллектуально, и, как я отмечал в своей недавней статье о задачах критики, страдание несравненно быстрее вызывает в людях отклик, нежели мысль. И естественно, с намерениями, достойными восхищения, но направленными по ложному пути, со всей решимостью и со всей эмоциональностью люди ставят перед собой цель исправить зло, с которым сталкиваются. Однако такими средствами болезнь не излечить: можно лишь продлить её течение. По сути, сами эти средства есть проявление той же болезни.

Скажем, пытаясь покончить с проблемой нищеты, благодетели не дают нищему умереть; или, по почину наиболее передовых, заставляют его улыбаться.

Но это не решает проблему, а лишь усугубляет её. Истинная цель попытаться преобразовать общество на новой основе, при которой нищета сделалась бы невозможной. Но благородные порывы альтруизма до сих пор всерьёз препятствуют осуществлению этой цели. Равно как самим вредоносным оказывается тот рабовладелец, кто мягок к своим рабам и потому мешает угнетаемым ощутить порочность системы, а тем, кто настроен критически, осознать суть порока, так и при нынешнем строе в Англии: именно те, кто причиняет наибольшее зло, как раз и стремятся к наибольшему благу; но наконец-то стали появляться на наших глазах образованные джентльмены из Ист-Энда, которые, серьёзно взвесив ситуацию, смотрят на жизнь реалистически и выступают с призывами к

обществу сдерживать альтруистические порывы милосердия, благотворительности и прочих эмоций. Они исходят из того, что милосердие такого рода растлевает и деморализует человека. И они абсолютно правы. Милосердие порождает множество всяких зол.

Я бы добавил ещё и следующее. Безнравственно использовать частную собственность, дабы залечивать злостные язвы общества, основанного на частной собственности. Не только безнравственно, но и несправедливо.

При Социализме, разумеется, всё будет иначе. Исчезнут нищие в вонючих лохмотьях, обитающие в вонючих хибарах и производящие на свет среди гадких, совершенно омерзительных трущоб золотушных и голодающих детей. Здоровье общества уже не будет, как ныне, зависеть от природных условий. В морозные дни мы не увидим на улицах сотни тысяч доведённых до крайней нищеты безработных, вынужденных торчать под открытым небом, или выклянчивать милостыню у ближнего, или толпиться у дверей отвратительных ночлежек в надежде заполучить кусок хлеба и зловонный приют на ночь. В будущем процветание и счастье станут достоянием каждого члена общества, и стужа тогда вряд ли кому будет страшна.

С другой стороны: сам по себе Социализм будет ценен исключительно потому, что он приведёт к Индивидуализму.

Социализм, Коммунизм – называйте как угодно – благодаря превращению частной собственности в общественное достояние и выдвижению кооперации взамен конкуренции возвращает общество к нормальному виду, преобразуя во вполне здоровый организм и гарантируя материальное благополучие каждого. По сути говоря, он создаёт нормальную основу и нормальную среду для Жизни. Однако для наиболее полного развития Жизни на пути к наивысшему совершенству необходимо нечто большее. И это – Индивидуализм. Если Социализм станет авторитарен, если будущие правления вооружатся экономической властью, как ныне они вооружены властью политической, словом, если нам грозит Индустриальное Самовластье, – то будущее человечества страшней, чем настоящее. Сегодня в условиях частной собственности весьма многим дано право развить в себе некую, очень ограниченную долю Индивидуализма. Это те, у кого нет необходимости зарабатывать на хлеб насущный, или те, кто может позволить себе выбирать область деятельности по своим способностям, – такую, которая доставляла бы им удовольствие. Таковы поэты, философы, учёные, деятели культуры – словом, истинные личности, люди, сумевшие выразить себя и

посредством которых частично выражает себя и всё Человечество. С другой стороны, существует и множество других, не обладающих частной собственностью, постоянно пребывающих на грани нищенского существования и вынужденных трудиться, как выночные животные, выполняя работу, не отвечающую их способностям, на что толкает их властная, тупая, унизительная Деспотия Нужды. Это – бедняки, и в их среде отсутствует изящество манер, изысканность речи, признаки цивилизации, культуры, утончённости вкусов, радости жизни. Множество материальных благ черпается Человечеством из совокупного труда этих людей. Но результат их вклада чисто материален, сам бедняк как личность ни малейшего интереса не представляет. Он всего-навсего бесконечно малая частица той силы, которая, не задумываясь о его существовании, давит на него: да так для неё и спокойней, ибо, будучи подавлен, бедняк становится гораздо покорнее.

Разумеется, следует оговориться: как Индивидуализм, взращённый в условиях частной собственности, не всегда, даже как правило не всегда, может являть достойный и безупречный образец, так и бедняк, пусть лишённый образования и привлекательности, может быть не чужд многих достоинств. И то и другое не было бы прегрешением против истины. Обладание частной собственностью весьма нередко действует растлевающе, и в этом одна из причин, почему Социализм намерен искоренить её. На деле наличие собственности поистине чревато осложнениями. Несколько лет тому назад некие люди принялись распространять по стране слух, будто собственность сопряжена с рядом обязанностей. Они повторяли это так часто и так навязчиво, что даже церковь подхватила этот тезис. Теперь подобное заявление услышишь с каждого амвона. И оно – чистейшая правда. Собственность не просто сопряжена с обязанностями, но этих обязанностей столько, что обладание маломальски значительной собственностью обращается обузой для человека. С ней связаны бесконечные обязательства, бесконечная погружённость в дела, бесконечные хлопоты. Мы бы смирились с частной собственностью, будь она только в радость, однако влекомые ею обязанности превращают собственность в тяжёлую проблему. Необходимо избавиться от неё в интересах её же обладателей. Можно с готовностью твердить о добродетели бедных, однако как жалка эта добродетель. Нам часто толкуют, что бедные люди с благодарностью принимают пожертвования. Не спорю, иные принимают с благодарностью, но достойнейшие из бедняков таковой не испытывают. Их отличают неблагодарность, недовольство,

непокорность, бунтарство. И такая реакция совершенно естественна. Вспомоществование представляется им смехотворно нелепым способом скрашивания неравноправия, а то и просто подачкой под настроение, которая может повлечь за собой бесцеремонную попытку расчувствовавшегося подателя вмешиваться в чужую жизнь с правом властителя. С какой стати бедным испытывать благодарность за объедки с барского стола? За этим столом и им должно найти место, и бедные начинают понимать это. Что до недовольства, то какой здравый человек может быть доволен жизнью в подобных условиях, подобным нищенским существованием? А всякому, кто знаком с историей, непокорность видится свидетельством истинного человеческого достоинства. Именно непокорности обязан прогресс, непокорности и бунтарству. Иной раз бедняков хвалят за проявление экономности. Но навязывать экономность бедняку нелепо и оскорбительно. Это то же, что предлагать голодающему есть меньше. Абсолютно безнравственно побуждать городского или сельскохозяйственного рабочего жить экономно. Зачем заставлять человека делать вид, что он может существовать на уровне полуголодного животного?! Такая жизнь губительна, толкает его на воровство или на содержание к имущим, что многими расценивается как форма воровства. Может, просить милостыню и безопасней, чем красть, однако красть приличней, чем нищенствовать. Нет, тот бедняк, кто не благодарен, не экономит, не доволен, который бунтует, и есть как раз истинная личность, он не примитивен. Протест его, во всяком случае, носит здоровый характер. Что же до бедняка добродетельного, жалость к себе он, безусловно, может вызвать, однако не думаю, чтобы мог вызвать восхищение. Подобные люди ладят со своими врагами, запродают ради жалкой похлебки и мать родную. Ко всему, должно быть, они крайне недалёки. Я вполне могу понять того, кто приемлет закон сохранности частной собственности, равно как поддерживает и её накопление, если такой человек способен при этом вести в своём роде яркую интеллектуальную жизнь. Но мне трудно представить себе, как может тот, чьё существование в силу тех же самых законов изуродовано, обезображенено, хоть как-нибудь примириться с создавшимся положением.

Вместе с тем объяснение этому найти довольно легко. Оно элементарно. Бедность и нищета действуют настолько растлевающе и до такой степени парализуют человеческое естество, что ни один класс не способен до конца осознать, насколько он обездолен. Чтобы ему объяснить это, требуются люди со стороны, но зачастую их

словам не верят. И крупнейшие эксплуататоры труда, бесспорно, правы в своей оценке подобных агитаторов. Агитаторы – кучка неугомонных, активных субъектов, внедряющихся во вполне безмятежную жизнь трудящегося класса и сеющих там семена недовольства. Вот почему агитаторы столь необходимы. Без них в нашем несовершенном обществе не было бы никакого движения к цивилизации. Рабство в Америке уничтожено не вследствие каких-либо выступлений рабов, ни даже просто вследствие их желания стать свободными. Оно было искоренено без остатка благодаря совершенно противозаконной деятельности определённых подстрекателей как в Бостоне, так и по всей стране, которые сами по себе не являлись ни рабами, ни рабовладельцами, да и вообще никакого отношения к рабству не имели. Вне всяких сомнений, именно аболиционисты²¹ зажгли факел борьбы, явились её зacinщиками. Любопытно при этом отметить, что со стороны самих рабов аболиционисты не только не получали особой поддержки, но даже едва ли находили сочувствие; когда же по окончании войны рабы оказались на воле, оказались свободными до такой степени, что были обречены на голод, многие из них горько сожалели о переменах. Из всех событий Великой французской революции человек мыслящий с трагизмом воспримет не тот факт, что Мария-Антуанетта была казнена по причине своего королевского происхождения, но то, что голодающий крестьянин-вандеец добровольно шёл на смерть ради чудовищной идеи феодализма.

Очевидно, однако, что Авторитарному Социализму с сегодняшней проблемой не справиться. Ибо если при существующей системе для жизни весьма многих характерны, в известной степени, свобода, самовыражение и благополучие, то при промышленно-казарменной системе или же при системе экономического диктата никому ни одной из этих свобод не видать. Прискорбно видеть, как часть нашего общества влечит, по существу, рабское существование, однако полагать, что проблему решит порабощение всего общества, – абсурд. Каждому члену общества должна быть предоставлена полная свобода выбирать себе работу. Принудительные меры в этом смысле недопустимы. В противном случае занятие нелюбимой работой плохо скажется и на самом человеке, и на самой работе, и на всех людях. Под работой я имею в виду деятельность любого рода.

Я не могу допустить, чтобы современный социалист стал со всей серьёзностью утверждать, будто необходимо, чтоб каждое утро в каждый дом являлся проверяльщик: все ли граждане поутру поднялись и все ли они трудятся не покладая рук по восемь часов в

сутки. Человечество уже преодолело этот этап и сохраняет подобную практику в принудительном порядке лишь применительно к тем, кого, зачастую весьма произвольно, принято считать преступниками. Однако, признаюсь, многие социалистические воззрения, с которыми мне пришлось столкнуться, показались мне носителями идеи диктата, чуть ли не открытого принуждения. Диктат и принуждение здесь, бесспорно, неуместны. Общественные отношения должны строиться на принципе добровольности. Лишь при наличии добровольных отношений человеку живётся хорошо.

Однако возможен вопрос: насколько благотворно повлияет на Индивидуализм отмена той самой частной собственности, в известном роде благодаря которой он существует в наши дни? Ответ предельно прост. Действительно, в современных условиях небольшому числу лиц, по рождению явившихся обладателями частного капитала, таким, как Байрон, Шелли, Браунинг, Виктор Гюго, Бодлер и им подобным, удалось более или менее полно выразить свою индивидуальность. Ни один из перечисленных мною ни дня в своей жизни не работал по найму. Нищета им была неведома. В том и заключалось их огромное преимущество. Спросим себя, благотворно ли скажется на Индивидуализме, если человека лишить подобного преимущества? Предположим, что он лишён такого преимущества. Как скажется это на Индивидуализме? Выиграет ли он от этого?

Выигрывает, и вот каким образом. В новых условиях Индивидуализм станет гораздо раскрепощённей, гораздо ярче и гораздо насыщенней, чем тот, каким является ныне. Я имею в виду не тот великий, воплощаемый в образах Индивидуализм, какой свойствен упомянутым мною поэтам, но тот великий подлинный Индивидуализм, потенциально и внутренне присущий человеческой природе в целом. Ибо признание обществом частной собственности на самом деле для Индивидуализма пагубно, оно угнетает его, так как о человеке начинают судить, исходя из его достатка, а не из личных его качеств. Оттого и Индивидуализм теперь повлекло по ложному пути. Теперь он не стремится к саморазвитию, он устремлён к выгоде. При этом внушается, будто самое главное – иметь, чтобы человек забыл, что самое главное – быть. Истинное совершенство человека определяется не тем, что у него есть, но тем, что он сам собой представляет. Частная собственность, разрушив истинный Индивидуализм, создала взамен Индивидуализм мнимый. Она лишила одну часть общества индивидуальности, повергнув её в нищету. Она лишила индивидуальности и другую часть общества,

обременив её заботами, толкнув на неверный путь. Что и говорить, понятие собственности настолько возобладало над личностью, что по британским законам посягательство на частную собственность карается с большей суворостью, нежели оскорблении личности, и по масштабам частной собственности до сих пор судят о достоинствах граждан. К тому же весьма разворачивает и предпринимательство, сопряжённое с накопительством средств. В таком обществе, как наше, где частной собственности предоставлены всяческие привилегии, заметное положение в свете, признание, почёт, высокий титул и прочие подобного рода прелести, человек, будучи щёславлен по натуре, ставит перед собой цель преумножать своё состояние и долго, без устали копит и копит, пусть даже давным-давно получил значительно больше, чем ему требуется, чем он сможет воспользоваться или насладиться, – возможно, он и сам не знает, насколько больше. В погоне за собственностью человек готов трудиться до последнего издыхания; и что ж, это неудивительно, если принять во внимание колоссальные блага, приносимые собственностью. Остаётся сожалеть о том, почему общество вынуждено строиться таким образом, что человек поневоле оказывается несвободен и не имеет возможности развить всё то необыкновенное, исключительное, достойное восхищения, что заложено в нём, и тем самым оказывается не способным испытать истинное наслаждение и радость бытия. К тому же при нынешней ситуации положение его весьма нестабильно. Может статья – и нередко случается, – что сказочно богатый торговец в любой момент окажется во власти обстоятельств, ему не подвластных. Задуй чуть сильней ветер, переменись внезапно погода, да мало ли что ещё – и корабль его пойдёт ко дну, сделка может лопнуть, и тогда богач превратится в бедняка, не останется и воспоминания от завидного его положения. Но нет силы, которая могла бы принести вред человеку, кроме него самого. Нет на свете силы, которая могла бы лишить человека того, что он имеет. Всё его богатство заключено в нём самом. Всё, что вне человека, не должно никак влиять на него.

С упразднением частной собственности мы получим истинный, здоровый Индивидуализм. Никто не станет растречивать жизнь на накопление вещей и символов вещей. Человек станет жить. Уметь жить – редчайшая способность в нашем мире. Многие существуют, не более.

Спросим себя: встречались ли мы когда-либо с настоящим воплощением личности – в жизни, а не в умозрительной плоскости искусства? В действительности – никогда. Как свидетельствует

Моммзен, Цезарь был совершенным и идеальным человеком. Но насколько трагически беззащитной оказалась жизнь его! Там, где существует власть предержащий, найдётся и противник той власти. Цезарь – весьма выдающийся человек, но достоинства его развивались в весьма опасном направлении. По словам Ренана, выдающейся личностью был Марк Аврелий. Это верно, великий император выдающаяся личность. Но насколько тяжко было бремя, возложенное на него! Ноги его подкашивались под тяжестью империи. Он сознавал, что одному человеку не по силам нести титанический груз огромной державы. Я же называю совершенной такую личность, которая развивается в совершенных условиях, когда человек не истекает кровью, не обуреваем треволнениями, не покрытувечьями, когда ему ничто не угрожает. Многие личности вынуждены воплощаться в бунтарей. Половина душевных сил уходит у них на борьбу. К примеру, Байрон ужасно растрачивал себя, воюя с глупостью, посредственностью и филистерством англичан. Подобные битвы не всегда способствуют укреплению сил; нередко оне усугубляют слабость. Байрон так и не сумел оставить нам тот дар, что нёс в себе. Шелли повезло более. Подобно Байрону, он поспешил незамедлительно покинуть Англию. Но слава его была не так велика. Если бы соотечественники представляли себе, сколь велик был в действительности этот поэт, с какой кровожадностью они накинулись бы на него, премного постаравшись сделать его жизнь невыносимой. Но Шелли не был знаменит в глазах общества, и потому в какой-то мере он уцелел. Однако порой даже в его стихах весьма ощутимо бунтарское звучание. Истинная личность не должна быть созвучна бунтарству, она созвучна покоя.

Мы увидим её, истинную человеческую личность, и она будет необыкновенна. Она станет развиваться просто и естественно, как распускается цветок или растёт дерево. В ней всё гармонично. Ей будут чужды споры, дискуссии. Она не станет ничего доказывать. Она познает всё. И всё же познание не поглотит её. Она обретёт мудрость. Достоинства её нельзя будет измерить материальными ценностями. И, не имея ничего, она всё же возымете всё, и, сколько бы ни черпали от неё, её не убудет, – так богата человеческая личность. Вечные вмешательства в дела близких, стремление уподобить их себе – не для неё. Близкие станут дороги ей тем, что не схожи с нею. Однако, не вмешиваясь в жизнь других, она станет помогать им, как помогают нам прекрасные вещи простым существованием своим. Личность человека предстанет явлением

воистину удивительным. Столь же удивительным, сколь и естество младенца.

В развитии своём она может ступать рука об руку с христианством, коль скоро люди пожелают того; если же нет, она сможет идти вперёд и без помощи оного. Ибо не будет личность заботиться о прошлом, как и о том, что должно или не должно случиться в грядущем. И не станет она признавать никаких законов, кроме собственных, и ничьей власти, кроме собственной. Но особо благоволит она к тем, кто стремится укрепить в себе волю, и таковые чаще всего отмечены ею. Таким был и Христос.

«Познай самого себя!» – начертано было на вратах античного мира. На вратах грядущего должно быть начертано: «Будь самим собой!». Столь же просто было и напутствие Христа человеку: «Будь самим собой!». В том и заключается таинство Христа.

Говоря о нищих, Иисус, по сути, имеет в виду носителей личности, тогда как, говоря о богатых, Он, по сути, имеет в виду тех, кто личностью не является. Иисус возник в обществе, которое, подобно нашему, благословляло накопление частной собственности, и проповедовал Он отнюдь не то, что влечь в подобном обществе существование, питаясь скудной, гадкой пищей, рядясь в рваную, гадкую одежду, спать в отвратительных, гадких жилищах – благо, а жить в здоровых, приятных, приличных условиях – вредно для человека. Подобное суждение было бы в тех условиях неправомерно, и оно тем более неправомерно для Англии наших дней; чем ближе к северу, тем более жизненно важными становятся бытовые материальные необходимости, а наше общество несравненно более сложно и является гораздо больше крайностей роскоши и нищеты, чем любое общество древнего мира. Вот смысл речей Иисуса. Он говорил человеку: «Тебе дана неповторимая личность. Развивай её. Будь самим собой. Не воображай, будто совершенство твоё в накоплении богатств или в обладании дарами внешнего мира. Твоё совершенство внутри себя. Едва постигнешь это, ты не захочешь богатства. Материальные богатства можно украсть. Подлинные украсть невозможно. В сокровищнице души твоей таятся бесценнейшие богатства, которые никто у тебя украсть не в силах. И потому стремись изменить жизнь свою так, чтобы мирские дела не причиняли тебе зла. И ещё – стремись освободиться от собственности своей. Она влечёт за собой презренную суёту, бесконечную погоню за нею, неизбывное зло. Личная собственность всегда и везде угнетает Индивидуализм.» Надо отметить, что Иисус никогда не заявлял, будто обездоленные непременно хороши, а обеспеченные непременно

плохи. Это было бы прегрешением против истины. В массе своей обеспеченные люди совершенней обездоленных, они более нравственны, более умственно развиты, лучше воспитаны. В нашем обществе единственный лишь класс помышляет о деньгах более, чем богатые: это бедняки. Бедные ни о чём, кроме денег, думать не могут. Вот в чём заключена нищета их. В действительности же Иисус говорил о том, что человек достигает совершенства не благодаря тому, что имеет, даже не благодаря тому, что делает, но всецело благодаря тому, что носит в себе. Тот богатый юноша, который приходит к Иисусу, предстаёт весьма порядочным горожанином, не преступившим никаких законов, не нарушившим ни единой заповеди своей веры. Он вполне респектабелен в самом непосредственном значении этого уникального слова. Иисус говорит ему: «Ты должен отказаться от своей собственности. Она мешает тебе познать своё совершенство. Она помеха тебе. Твоя обуза. Личности твоей чужда она. Познать, что ты есть на самом деле и что надобно тебе, можно, лишь обратив свой взор внутрь себя, не вне себя.» Своим ученикам говорил Он то же. Он учил их быть самими собой, а не предаваться вечно мирской суете. Что есть суета мирская? Человек сам себе начало и конец. Когда познавшие себя пойдут в мир, то мир не примет их. Это неизбежно. Миру Индивидуализм ненавистен.²² Но это не должно поколебать их. Они должны быть покойны и уверены в себе. Если какой человек отберёт у них плащ, они отдадут ему и свою рубаху, дабы показать, что материальное для них не значит ничего. Если люди оскорбят их, те не ответят оскорблением. Что это означает? Слова людей о человеке бессильны повлиять на его сущность. Он таков, каков есть. Мнение толпы ровным счётом ничего не значит. Даже если толпа пустит в ход насилие, познавшие себя не должны отвечать насилием. Это означало бы пасть до уровня толпы. В конечном счёте независимым человек может чувствовать себя даже в тюрьме. Душа его может оставаться свободной. Личность его может остаться непоколебимой. Он может сохранить покой в себе. И самое главное, такие личности не должны вторгаться в судьбы близких или как бы то ни было судить их поступки. Личность – явление воистину загадочное. Человека не всегда характеризуют его поступки. Он может чтить законы, но быть дрянным. Он может преступить закон, но оставаться прекрасным человеком. Быть порочен, ни разу не содеяв ничего дурного. Он может погрешить против общества, однако через этот грех – прийти к истинному своему совершенству.

Вспомним женщину, уличённую в прелюбодеянии. Нам неизвестна история её любви; но, должно быть, любовь та была

велика, ибо Иисус сказал, что её грех ей отпущен, – не потому, что она покаялась, но потому, что любовь её была так сильна и прекрасна. Позже, незадолго до Его распятия, когда восседал Он в кругу учеников, вошла та женщина и окропила главу Его дорогими благовониями. Ученики попытались воспрепятствовать ей, говоря, что это блажь и что деньги, истраченные на те благовония, надобно было бы потратить на милостыню нуждающимся или на какое-либо иное благое деяние. Иисус не поддержал их, дав понять, что хоть материальные потребности Человека огромны и несть им конца, но духовные потребности его ещё огромней и что однажды, в божественный миг, обнаружив в себе индивидуальное волеизъявление, личность способна возвыситься до совершенства. И до сих пор люди почитают ту женщину как святую.

Что же, Индивидуализм содержит и спорные моменты. Скажем, Социализм семьяная жизнь отрицается. С отменой частной собственности брак в его нынешнем виде должен исчезнуть. Такова часть социалистической программы. Индивидуализм, принимая этот тезис, совершенствует его. В результате вместо упраздняемых законодательных уз появится такая разновидность свободы, которая будет способствовать более полному развитию личности и которая сделает любовь между мужчиной и женщиной ещё удивительней, ещё краше, ещё благородней. То же предвидел и Иисус. Он отрицал законы семейственности, хотя они были весьма крепки в те времена и в том обществе. «Кто матерь Моя? и кто братья Мои?» – вопрошал Он, когда услыхал, что те желают говорить с Ним. Когда один из учеников попросил отпустить его, дабы похоронить отца, ужасен был ответ Его: «Предоставь мёртвым погребать своих мертвцевов.» Он никому не желал позволять покушаться на свободу личности.

Следовательно, всякий, кто избирает жизнь по образцу Христа, всецело и безусловно пребывает самим собой. Будь то великий поэт или великий учёный, будь то юный студент университета или тот, кто пасёт овец средь вереска, или же создатель пьес, подобно Шекспиру, или, подобно Спинозе, философ, погружённый в мысли о Боге, или дитя, резвящееся в саду, или рыбак, бросающий невод в море. Кто он, не важно, важно, что он осознаёт величие своей собственной души. Всякое подражание воззрениям других, чужому образу жизни порочно. По улицам Иерусалима влечится нынче юродивый, таша на плечах деревянный крест. Вот символ бытия, исковерканного подражательством. Отец Дамиан уподобился Христу, когда отправился жить среди прокажённых, поскольку в таком служении

людям он смог полнее выявить всё лучшее в себе. Однако он уподобился Христу не более, чем Вагнер, воплотивший в музыке душу свою, не более, чем Шелли, воплотивший душу свою в песне. Сколько людей, столько характеров. На свете так же много совершенных, как и несовершенных людей. Но если человеку можно, подчинившись зову сострадания, остаться при этом свободным, подчиняясь зову приспособленчества, ни один человек уже не будет свободным.

Итак, Индивидуализм – это то, к чему придём мы через Социализм. В итоге Государство должно, естественным образом, отказаться от идеи управления. Эта функция должна отпасть, поскольку, как говорил один мудрец за много столетий до Христа, истина в том, что человечество должно быть свободным, а не в том, что им следует управлять. Все формы правления несостоительны. Деспотия – это несправедливость ко всем, в том числе и к самому деспоту, который, возможно, достоин лучшей участи. Олигархия – несправедливость по отношению ко многим, охлократия – к избранным. Некогда большие надежды связывали с демократией; но демократия – не что иное, как припугивание толпой толпы в интересах толпы. Это очевидно. Должен сказать, что сейчас избавляться от власти самое время, ибо всяческая власть совершенно растлевающа. Она растлевает и властителей, и тех, на кого направлена. Если ей свойственны сила, нажим, жестокость, это приводит к положительному исходу, так как создаются или, по крайней мере, зарождаются дух протesta и Индивидуализм, каковые способны уничтожить её. Если же власть, проявляя определённую мягкость, расточает награды и благодеятельства, она растлевает вдвойне. При такой власти людям менее заметно оказываемое на них пагубное воздействие и они, подобно домашним животным, существуют в состоянии противоестественного комфорта, не осознавая даже, что мысли их, возможно, и не их мысли, что жизненные запросы у них чужие; потому и ходят они, сказал бы я, в понюшенной одежде с чужого плеча, ни на миг не становясь самими собой. «Тот, кто хочет свободы, – заметил один блестящий мыслитель, – тот не должен приспосабливаться.» Власть же, побуждая людей приспосабливаться, порождает в нас весьма примитивную разновидность сытого варварства.

Уйдёт власть, исчезнут и карательные меры. И это явится величайшим, поистине бесценным свершением. Того, кто знакомится с историей не по выхолощенным учебникам для школьников и студентов, но по истинно авторитетным источникам разных эпох,

поражают до глубины души не столько преступления, совершаемые злоумышленниками, сколько наказания, исходящие от добродетельных людей; общество несравненно больше дичает от систематического применения карательных мер, нежели от эпизодически совершаемых преступлений. Совершенно очевидно, чем усердней применяются наказания, тем больше это влечёт за собой преступлений, и в самых новейших законах подобное обстоятельство явно учитывается, ибо видна тенденция хоть в какой-то степени смягчить систему наказания. Там, где карательных мер действительно меньше, результат весьма благоприятен. Чем меньше наказаний, тем меньше и преступлений. Если наказание упразднить полностью, преступления либо сами собой прекратятся, либо если и случатся, то их будут рассматривать как крайне тяжёлую форму психического расстройства, которую следует лечить заботой и добротой. Ибо те, кого мы сегодня именуем преступниками, вовсе не преступники. В наше время преступление порождает не порок, но голод. Именно в этом причина, отчего наши преступники в массе своей психологически совершенно неинтересны. Это отнюдь не зловещие Макбеты или демонические Вотрены. Они – обыкновенные, безобидные, мирные граждане, только оказавшиеся в положении голодающих. Стоит отменить частную собственность, как иссякнет почва для преступления, незачем станет его совершать; преступность исчезнет. Разумеется, не все преступления являются следствием частной собственности, хотя именно таковые английский закон, ставящий превыше всего имущественное, а не нравственное богатство, карает с непомерной, непримиримой жестокостью, – не считая случаев убийства (если, конечно, смертный приговор страшнее каторжных работ, с чем, сдаётся мне, наши преступники могут не согласиться). Но даже если преступление совершено не против частной собственности, оно, возможно, возникает из недр нищеты, и злобы, и унижений, порождённых нашей неправедной собственнической системой, а значит, лишь только система будет упразднена, не станет и подобных преступлений. Лишь только потребности члена общества станут в достаточной мере удовлетворяться, лишь только ближний перестанет быть ему помехой в жизни, ему и в голову не придёт покушаться на что-либо. Зависть, этот ужасающий стимул для преступности в наше время, есть чувство, теснейшим образом связанное с понятием собственности, однако при Социализме и Индивидуализме оно отомрёт. Поразительно, но первобытному коммунизму зависть совершенно неведома.

Итак, если государство не должно управлять, напрашивается вопрос: какова же тогда роль государства? Государство должно стать добровольным объединением организаторов труда, производителем и распределителем необходимых предметов потребления. Государство должно производить полезные вещи. Индивидуум должен создавать прекрасное. Поскольку я употребил слово «труд», следует оговориться: столько чепухи произносится и пишется в наше время насчёт достоинств ручного труда. Сам по себе ручной труд никакими достоинствами не обладает и чаще всего совершенно унизителен. Делать то, что не доставляет удовольствия, морально и интеллектуально губительно для человека, многие разновидности труда вообще абсолютно непривлекательны, и таковыми следует их считать. Препротивное это занятие, восемь часов в сутки на студёном ветру расчищать от талого снега уличный перекрёсток. По-моему, немыслимо орудовать скребком и испытывать при этом чувство нравственного, интеллектуального и физического достоинства. Было бы дико испытывать удовлетворение от подобного труда. Человек рождён ради лучшего, нежели месить грязь. Всякую подобную работу должны выполнять машины.

И я не сомневаюсь, что так и будет. До сих пор человек в какой-то степени являлся рабом техники, и нечто трагическое видится в том, что, придумав машину для облегчения трудов своих, человек немедленно столкнулся с нищетой. Так случилось, разумеется, по вине нашей системы частной собственности и конкуренции. Машиной, заменяющей труд пяти сотен людей, владеет один человек. Соответственно пятьсот рабочих лишаются места и, не имея работы, голодают и прибегают к воровству. Один человек налаживает выпуск машины и, владея ею, имеет в пятьсот раз больше, чем должен иметь, а возможно, — что важнее — и гораздо больше того, что ему в действительности необходимо. Будь эта машина собственностью всех, она принесла бы благо каждому. И это явилось бы огромным прогрессом для общества. Весь неинтеллектуальный труд, всякая монотонная, нудная работа, производимая грубыми орудиями труда в отталкивающих условиях, должна выполняться техникой. Вместо нас машины должны трудиться в заботах, должны выполнять все санитарные работы, быть кочегарами на пароходах, чистить улицы и доставлять почту в ненастье — словом, делать всё, что неприятно и раздражает человека. Сегодня техника и человек конкурируют друг с другом. В нормальных условиях техника должна служить человеку. Всё же несомненно, что именно таково будущее техники, и если известно, что хозяин спит, а сад растёт, значит, и

Человечество сможет предаваться приятным занятиям или наслаждаться возвышенным досугом, ибо в этом, а не в физическом труде призвание человека: создавать произведения искусства, читать прекрасные книги или просто созерцать мир с восхищением и восторгом, – а машины будут вешать всю необходимую и неприятную работу. Приходится признать: цивилизация требует рабства. Греки были совершенно правы. Без рабов, выполняющих грязную, отвратительную, неинтересную работу, невозможно развитие культуры и мысли. Порабощение человека – порочно, ненадёжно и безнравственно. Будущее всего мира зиждется на порабощении техники. И когда мужам науки не нужно будет больше наведываться в трущобы Ист-Энда, чтобы оделять нуждающихся бросовым какао и старыми одеялами, у них появится счастливый досуг для чудесных, необыкновенных изобретений ради собственного блага и блага каждого человека. В любом городе, а если потребуется, и в любом доме будут оборудованы огромные хранилища энергии, которую человек станет преобразовывать в тепло, свет, движение, в зависимости от потребности. Что это, Утопия? Но если в мире она отсутствует, на такую карту мира не стоит и смотреть, потому что мы не увидим на ней той земли, куда всё время стремится Человечество. Однако, лишь ступив на этот берег, оно оглядывает горизонт и, завидев лучшие земли, устремляет свой парус в иные пределы. Прогресс есть претворение Утопий в жизнь.

Итак, я отметил, что посредством организации техники общество станет обеспечивать людей полезным, тогда как прекрасное будет создаваться индивидуумами. Это не просто необходимо, это единственно возможный путь достижения либо полезного, либо прекрасного. Индивид, которому приходится создавать что-либо утилитарное для других, исходя из их потребностей и желаний, работает без энтузиазма и, естественно, не сможет воплотить в своём творчестве всё лучшее, чем обладает. С другой стороны, как только общество или влиятельная его часть или любого вида власть попытается навязать художнику предмет творчества, Искусство либо исчезнет полностью, либо превратится в стандарт, либо скатится до уровня примитивнейшей поделки. Произведение искусства есть уникальное воплощение уникального склада личности. Оно прекрасно потому, что его творец не изменяет себе. Оно совершенно независимо от помыслов окружающих, каковы бы эти помыслы ни были. И в самом деле, лишь только художник начинает учитывать помыслы других людей и пытается воплотить чужие требования, он перестаёт быть художником и становится заурядным или ярким умельцем,

честным или нерадивым ремесленником. С этих пор называться художником он не имеет права. Искусство есть наиаярчайшее проявление индивидуализма во все века. Я бы даже сказал, что это единственное истинное проявление индивидуализма во все века. Преступность, которая при определённых условиях может считаться источником проявления индивидуализма, непременно должна ассоциироваться с людским окружением, вступать с ним во взаимодействие. Она принадлежит сфере поступков. Тогда как художник в одиночестве, вне всякой связи с близкими, без всякого вмешательства со стороны может создать прекрасное произведение; и если он творит не исключительно ради собственного удовольствия, тогда он не художник вовсе.

Но заметим: Искусство, бесспорно, столь яркое проявление индивидуализма, что оно побуждает публику, как известно, пытаться его подчинить диктату, который одинаково безнравствен, нелеп, гадок и ничтожен. Но не только её в том вина. Всегда и во все времена публика остаётся ужасно невежественной. Она постоянно требует от Искусства, чтобы оно было общедоступным, чтобы оно соответствовало её вкусам и потребностям, льстило бы её пустому тщеславию, говорило бы то, что толпа привыкла слышать, показывало бы то, что она лицезрела неоднократно, развлекало бы её, разомлевшую после сытного обеда, уводило бы от назойливого напоминания о её собственной глупости. Отныне Искусство ни в коем случае не должно быть общедоступным. Публике надо стремиться воспитывать в себе артистизм. А это уже совсем другое дело. Если бы учёному сказали, что результаты его исследований и грядущие выводы не должны нарушать общепринятые представления в этой области, не должны покушаться на общественные предрассудки или оскорблять чувства тех, кто несведущ в науке; если бы философу сказали, что ему даётся полное право витать в эмпиреях, при условии, если выводы его совпадут с выводами тех, кто мыслями далёк от каких бы то ни было эмпирей, – пожалуй, и современный учёный, и философ не иначе как от души посмеялись бы в ответ. А всего лишь несколько лет прошло с тех пор, как философия и наука с обречённостью терпели наглый надзор толпы, по существу, диктат либо со стороны абсолютно невежественной публики, либо со стороны напуганных и жаждущих власти клерикальных или правящих сил. Разумеется, мы сумели в значительной мере освободиться от всяческих попыток общества, или Церкви, или Государства вмешаться в индивидуализм теоретического мышления, вместе с тем попытка вмешаться в индивидуализм художественного

творчества имеет место и по сей день. И не просто имеет место: она агрессивна, оскорбительна, дика.

В Англии более всего уцелели те виды искусств, к каковым публика осталась равнодушной. Пример того, о чём говорю я, – поэзия. Мы, англичане, стали обладателями прекрасных образцов поэтического творчества благодаря тому, что публика поэзию не читает, а значит, и не влияет на её развитие. Публика обожает поносить поэтов за проявление индивидуальности, но, уязвив однажды, оставляет затем их в покое. В области же романа и драматургии – искусств, которые представляют для публики интерес, навязывание общепринятых догм приводит прямо-таки к нелепым и возмутительным последствиям. Ни в одной другой стране нет такой слабой прозы, таких скучных, заурядных образчиков романа, такой глупой, вульгарной драматургии, как у нас в Англии. Иначе и быть не могло. Запросы нашей публики таковы, что ни один художник их удовлетворить не сможет. Быть популярным романистом и чересчур легко, и чересчур трудно. Чересчур легко, так как, чтобы удовлетворить требования публики в отношении сюжета, стиля, характеров, восприятия жизни и восприятия литературы, достаточно любых самых убогих способностей, самого непрятательного интеллекта. Чересчур трудно, так как для удовлетворения требований публики художнику пришлось бы совершить насилие над собою, творить не ради удовольствия от процесса, но для услады полуневежд, подавляя тем самым в себе индивидуальное начало, забыв о культурном наследии, не заботясь о стиле, жертвуя всем богатством, присущим личности художника. В драматургии дела обстоят несколько благополучней: конечно же, наши театралы любят то, что им понятно, однако скуки они не выносят; а оба наиболее почитаемых ими жанра – бурлеск и комедия-фарс – входят в разряд известных жанров искусства. Можно создавать восхитительные произведения в области бурлеска и фарса, и на этом поприще английскому драматургу дарована весьма значительная свобода. Когда же речь заходит о более высоких формах драматургии, здесь мы сталкиваемся с общественным давлением. Новаторство – вот что более всего ненавистно нашей публике. Любая попытка расширить предметные рамки искусства чрезвычайно ей претит; но вместе с тем жизненность и прогресс искусства в значительной мере зависят от постоянного расширения тем. Публика не любит новаторства, потому что боится его. Оно для публики олицетворение Индивидуализма, претензии художника на право самостоятельно избирать сюжет и излагать его по собственному усмотрению. Публика этого не

приемлет и правильно делает. Искусство есть проявление Индивидуализма, а Индивидуализм – сила пугающая, разрушительная. В том-то и заключено его колоссальное достоинство. Ибо он прежде всего стремится преодолеть однообразие стандарта, рабскую зависимость от привычного, тиранию традиционности, низведение человека до уровня механизма. Публика воспринимает в искусстве привычное не потому, что оно ей дорого, но потому, что она не в силах найти иное. Она заглатывает своих классиков целиком, не ощущая при этом вкуса. Она терпит их как неизбежность и, не будучи способна нанести им иной вред, начинает превозносить их. Как ни странно, – а может, и не странно, это как посмотреть, – но такое обращение с классикой наносит ей огромнейший вред. Примером тому может служить поголовное восхищение у нас «Библией» и Шекспиром. Что касается «Библии», то здесь мы встречаемся с проблемой церковного догмата, потому на сей счёт я не стану распространяться.

Что же до Шекспира, то в этом случае публика, совершенно очевидно, попросту не понимает, что прекрасно, а что слабо в его драматургии. Если бы публика улавливала прекрасное, то эволюционирование драматургии не вызвало бы в ней неприятия; если бы улавливала слабости, то и в этом случае эволюционирование драматургии не вызывало бы в ней неприятия. Вся беда в том, что публика использует наших классиков как средство торможения прогресса в искусстве. Она низводит классиков до уровня авторитетов. Использует их в качестве орудия сдерживания свободного воплощения Прекрасного в новых формах. Публика вечно упрекает писателя, зачем не творит, как такой-то, или художника, почему не пишет, как такой-то, совершенно забывая: если художник начнёт творить по шаблону, он перестанет быть художником. Свежий способ изображения Прекрасного совершенно невыносим для публики, стоит лишь возникнуть подобному, как публика приходит в такую отчаянную ярость и растерянность, что то и дело пускает в ход два дичайших аргумента: первый – данное произведение искусства совершенно непонятно, второй – данное произведение искусства совершенно безнравственно. Подтекст этих заявлений, как видится мне, таков. Если говорится, что произведение искусства совершенно непонятно, имеется в виду, что художник выразил или создал нечто прекрасное и новое; если говорится, что произведение совершенно безнравственно, имеется в виду, что художник выразил или создал нечто прекрасное и правдивое. Первое высказывание относится к стилю, второе – к теме. Однако, вероятней всего, публика использует

слова не задумываясь, подобно тому, как чернь не глядя подбирает уличный булыжник. В текущем столетии не было ни единого истинного поэта и прозаика, кого бы британские читатели с важным видом не клеймили за безнравственность; причём подобные подношения, как правило, раздариваются у нас за то самое, за что французы чтят официальным возведением в Академию Литературы, и, по счастью, вследствие этого рушится перспектива создания подобного учреждения у нас, в Англии. Публика, разумеется, весьма безответственно трактует термин «безнравственность». Вполне естественно было ожидать, что она назовёт Вордсвортя безнравственным поэтом. Вордсворт был поэт. Но то, что публика величает безнравственным прозаиком Чарльза Кингсли, совершенно непостижимо! Проза Кингсли весьма далека от совершенства. И вот, ухватившись за слово, публика трактует его как вздумается. Разумеется, художник от этого не пострадает. Истинный художник тот, кто всецело доверяет себе, ибо он всецело является самим собой. Однако могу себе представить, буде некий английский художник создаст произведение искусства, которое, едва лишь возникнув, окажется признанным публикой и станет называться публичными средствами информации – общедоступной печатью – произведением всем понятным и высоконравственным, придётся такому художнику с тревогой спросить себя: остался ли он верен себе, создавая своё произведение, или его творение не вполне достойно его, а тогда либо крайне посредственно, либо вообще лишено художественной ценности.

Однако, пожалуй, я несправедлив, ограничивая возможности публики такими эпитетами, как «безнравственный», «непонятный», «экзотический» и «вредный». Есть и ещё одно слово в её лексиконе – «нездоровый». Его употребляют нечасто. Смысл слова настолько прозрачен, что произносить его публике боязно. Всё же порой онипускают его в ход, и время от времени оно возникает на страницах всеми читаемых газет. Странноватый, пожалуй, эпитет применительно к произведениям искусства. Ибо «нездоровье» есть не что иное, как состояние невыразимости чувств или хода мыслей. Публика поголовно нездорова, ибо вовсе не способна ничему подыскать определение. Художник здоров всегда. Он может выразить что угодно. Отстраняясь от предмета, он посредством его изображения производит на нас необыкновенное художественное воздействие. Назвать художника нездоровым на основании того, что тема его – незддоровое явление, столь же глупо, сколь обозвать Шекспира безумцем, потому что он написал «Короля Лира».

В целом же английский художник даже кое-что приобретает в результате подобных нападок. Его индивидуальность становится незыблее. Он ещё более утверждается в себе. Разумеется, подобные нападки крайне грубы, крайне бесстыдны и крайне безобразны. Однако какой художник ждёт учтивости от пошлости и обходительности от невежества! Пошлость и глупость – вот две весьма значительные черты современной жизни. Это вызывает естественное сожаление. Но что поделать! Как любое другое явление, оно достойны своего исследования. Справедливость требует признать, что нынешние газетчики имеют обыкновение извиняться, оказавшись один на один с тем, кого публично поносят в прессе.

Надо заметить, что за последние два года к ограниченному словарю обвинений публики в адрес искусства прибавились ещё два эпитета. Один из них «вредный», а другой –«экзотичный». Последний не более чем выражение злобы гриба-однодневки при виде бессмертно-чарующей, изысканно-прелестной орхидеи. Своего рода признание, которым, однако, можно пренебречь. Однако эпитет «вредный» заслуживает некоторого внимания. Слово это поистине любопытное. По сути говоря, настолько любопытное, что те, кто пользуются им, не понимают его смысла.

Что же оно означает? Что такое полезное и что такое вредное произведение искусства? Все эпитеты, относимые к произведениям искусства, если, конечно, выбирать их с умом, имеют отношение либо к стилю, либо к сюжету, либо к тому и другому одновременно. Если говорить о стиле, то полезное произведение искусства – такое, стиль которого выражает прекрасное в соответствующем материале, будь то слово или бронза, краски или слоновая кость, и которое, выражая прекрасное, достигает эстетического эффекта. Если иметь в виду сюжет, полезное произведение искусства такое, выбор сюжета которого определяется творческим потенциалом творца и непосредственно вытекает из этого потенциала. Короче, полезное произведение искусства то, которому присуще совершенство и в котором отражена личность. Разумеется, в произведении искусства форма и содержание неотделимы друг от друга; они всегда являются единое целое. Однако в аналитических целях на время забудем о целостности эстетического впечатления и мысленно разделим эти два компонента. Вредное произведение искусства, напротив, такое, стиль которого банален, старомоден, зауряден, а сюжет выбран намеренно и не потому, что нравится художнику, а потому, что тот рассчитывает, что публика за такой сюжет заплатит. Собственно говоря, популярный роман, который публика считает полезным,

неизбежно является крайне вредной продукцией; а то, что публика именует вредным романом, неизбежно является прекрасным и полезным произведением искусства.

Едва ли стоит говорить, сколь глубоко мне безразлично, что и публика, и общедоступная пресса так превратно толкуют эти слова. Я не вижу, как иначе, если не превратно, могла бы толковать их публика при отсутствии у неё понимания сути Искусства. Просто я отмечаю эту нелепицу; если же говорить о причине и смысле того, что за этим стоит, то ответ весьма прост. Причина – в варварском представлении об авторитете. Причина – в естественной неспособности общества, развораченного авторитарностью, понять и оценить Индивидуализм. Словом, всё происходит из-за чудовищного, невежественного явления, именуемого Общественным Мнением, каковое неверно, но исходит из благих побуждений, стремясь контролировать поступки людей, однако становится преступным и злоречивым, когда стремится контролировать Мысль или Искусство.

Право же, общественное движение с позиции силы заслуживает гораздо большей поддержки, нежели общественное мнение. Первое может оказаться здоровым явлением. Второе непременно нелепо. Нередко утверждают, что сила не аргумент. Однако это целиком зависит от сути претензии. Многие насущнейшие проблемы последних столетий, такие, как многовековой абсолютизм в Англии, феодализм во Франции, разрешались исключительно с помощью физической силы. Сам по себе революционный напор может на миг увеличить, возвысить толпу. Но день, когда толпа осознала, что гораздо более мощное оружие, чем бульдожник, что оно не менее разительно, чем кирпич, стал для неё роковым днём. Она тотчас же кинулась на поиски газетчика, нашла, вооружила идеей, и он за приличное вознаграждение явился трудолюбивым её слугой. Можно только крайне сожалеть о таком исходе и для газетчика, и для толпы. Многое из того, что зовёт на баррикаду, героично и благородно. Но что кроется за передовицей, как не предрассудок, глупость, ханжество, пустословие? Однако если все четыре порока сольются воедино, они становятся страшной силой и приводят к новому диктату.

В былые времена существовала дыба. Теперь её заменяет пресса. Что, разумеется, шаг вперёд. Однако всё выглядит попрежнему крайне непристойно, несправедливо и унизительно. Кто-то, кажется Бёрк,²³ назвал газетчиков четвёртым сословием. Раньше, бесспорно, так оно и было. Но в наши дни газетчики поистине

составляют единственное сословие. Они поглотили прочие три. Члены Палаты лордов не говорят ни слова, Князьям Церкви сказать нечего, членам Палаты общин сказать нечего, о чём они и говорят. Нами правит Журналистика. Власть президента в Америке длится четыре года, а господству газетчиков несть конца. К счастью, американская журналистика докатилась до вопиющей оголтелости. Естественным следствием этого явилось зарождение духа протеста в её адрес. В зависимости от склада характера люди либо посмеиваются над прессой, либо возмущаются ею. Однако она уже перестала быть той силой, какой некогда являлась. К ней никто не относится серьёзно. В Англии Журнализм, ещё не успев, за исключением нескольких широко известных случаев, докатиться до подобной крайней оголтелости, всё ещё явление значительное и влияние его поистине поразительно. Деспотизм, с которым он вмешивается в частную жизнь людей, представляется мне совершенно беспрецедентным. Суть в том, что публика преисполнена ненасытного любопытства к чему угодно, только не к тому, что достойно внимания. Учитывая это и усвоив замашки торгаша, пресса угождает потребностям публики. В прежние века толпа пригвождала газетчиков за уши к позорному столбу. Это было совершенно ужасное зрелище. В наше время сами газетчики пригвождают уши к замочной скважине. И это ещё ужасней. Но зло усугубляется тем, что самые бесстыдные газетчики не те, кто развлекает читателей так называемых светских газет. Вред исходит от уважаемых, умных, порядочных журналистов, которые со всей серьёзностью – а именно так поступают они сегодня – вытаскивают пред очи публики некий эпизод из частной жизни крупного государственного деятеля или того политического лидера, который возглавляет политическую оппозицию, и выставляют этот эпизод на суд публике, чтобы та продемонстрировала свой вес, высказала мнение, и не просто высказала, но воплотила его в действие, начала бы диктовать деятелю, как ему следует поступить в том или ином вопросе, диктовать его партии, диктовать его стране; одним словом, побуждают публику вести себя нелепо, оскорбительно и агрессивно. Частная жизнь мужчин и женщин не должна становиться достоянием публики. Это её никоим образом не касается. Во Франции подобная проблема решена удачнее. Там не позволено оглашать подробности судебных разбирательств, проводимых во время бракоразводных процессов, выставлять на забаву публики или на суд её. Доводится до сведения лишь сам факт бракоразводного процесса и то, по инициативе какого из супругов, если не их обоих, процесс возбуждён.

Во Франции, по сути говоря, права газетчиков ограничены, тогда как художнику предоставлена почти идеальная свобода. У нас же газетчику дана полная свобода, тогда как художник крайне ограничен в правах. В Англии так называемое общественное мнение стремится удержать, остановить, сбить с пути всякого, кто создаёт произведения, прекрасные по сути своей, и побуждает газетчика торговать поистине отвратным, мерзким, скандальным товаром, вследствие чего в нашей стране самые профессиональные в мире журналисты и самая непристойная печать. Не будет преувеличением упомянуть о давлении общества. Есть, вероятно, такие газетчики, кто получает удовольствие, публикуя гадкие статьи или, испытывая нужду, ищет скандальные сюжеты, обеспечивая себе некий постоянный доход. Но, я убеждён, есть и иные журналисты, люди культурные и образованные, которым искренне претит публикация подобных вещей, которые понимают, что это плохо, и идут на подобное только потому, что нездоровые условия, сложившиеся в их среде, обязывают их поставлять публике то, чего она от них ждёт, и соревноваться друг с другом в том, кто полнее и угодливее удовлетворит низменным вкусам читателей. Для всякого образованного человека такая ситуация крайне унизительна, и я не сомневаюсь, что большинство газетчиков остро это сознают.

Не станем, однако, более задерживаться на этой поистине отталкивающей части нашей темы, а вернёмся к вопросу о влиянии публики в области Искусства, под чем разумею я Общественное Мнение, которое диктует художнику, какую форму следует ему выбрать, какой манерой воспользоваться, с помощью каких средств творить. Как я уже отмечал, в Англии лучше всего сохранились те виды искусств, к которым публика не питает интереса. Однако публика неравнодушна к драматургии, а так как за последние десять-пятнадцать лет в этой сфере наметился известный прогресс, необходимо сказать, что прогресс этот целиком и полностью обязан некоторым художникам-индивидуумам, которые отказались принять за этalon вкусы западной публики, отказались подходить к Искусству лишь как к предмету спроса и предложения. Если бы мистер Ирвинг при всей его удивительно яркой индивидуальности, при всей его манере, отличающейся истинным ощущением колорита, при всей его огромной уникальной способности владеть не просто искусством перевоплощения, но создавать возвышенное, духовное произведение искусства, имел перед собой цель лишь угоджать запросам публики, он только и сумел бы что ставить заурядные пьески в заурядной манере, хотя достиг бы при этом успеха и

богатства, о каких можно лишь мечтать. Но его цель была иной. Целью его было максимально воплотить свой творческий дар в определённых условиях и в определённых жанрах искусства. Сначала он творил для избранных, теперь он просветил многих. Он развил вкус и восприимчивость публики. Публика чрезвычайно высоко превозносит его как художника. Вместе с тем я нередко задаю себе вопрос: понимает ли она, что его успех целиком обязан тому, что Ирвинг не принял эталона публики, а выработал свой собственный. Следуя общественному эталону, «Лицеум» стал бы низкопробным балаганом наподобие иных из нынешних популярных театров Лондона. Осознаёт ли это публика, нет ли, но факт остаётся фактом: развить её вкус и восприимчивость до некоторой степени удалось, а значит, публика способна развивать в себе эти свойства. Почему же не растёт культурный уровень публики? Потенциально это возможно. Что мешает ей?

А мешает ей, повторим ещё раз, её страсть навязывать своё мнение художнику и произведениям искусства. В такие театры, как «Лицеум» и «Хеймаркет», публика ходит, понимая, чего хочет. И в том, и в другом театре есть такие творческие индивидуальности, которые сумели воспитать у своей публики – а у каждого лондонского театра публика своя – то самое чувство, которое открыто воздействию Искусства. Что же это за чувство? Это умение воспринимать искусство. Только и всего.

Если человек подходит к произведению искусства с желанием так или иначе навязать своё суждение и произведению, и его создателю, это значит, что при таком подходе человек вовсе не способен испытать от этого произведения эстетическое впечатление. Произведение искусства должно влиять на зрителя, а не зритель на произведение искусства. Зритель должен воспринимать его. Он – та самая скрипка, которая звучит лишь в руках маэстро. И чем успешнее он сможет подавить в себе пустые мысли, нелепые предрассудки, абсурдные рассуждения о том, каким должно или не должно быть Искусство, тем вероятней, что он сумеет понять и оценить данное произведение искусства. Разумеется, сказанное в первую очередь относится к толпе заурядных английских театралов и театралок. Однако это же справедливо и для так называемой просвещённой публики. Ибо представление просвещённого человека об Искусстве, естественно, строится на том, что в Искусстве уже есть, тогда как новое произведение искусства прекрасно именно тем, что такого в Искусстве ещё не было; и оценивать его критериями прошлого – значит, оценивать как раз теми критериями, от которых стоит

отказаться, дабы постичь истинное его совершенство. Свойство человека посредством воображения и в воображаемых условиях познавать новые и прекрасные ощущения и есть то самое исключительное свойство, которое способно оценить произведение искусства. И если это справедливо для оценки скульптуры и живописи, то ещё более справедливо для оценки таких видов искусства, как драматургия. Ибо Время не портит картину или статую. Им его ход безразличен. Достаточно взгляда, чтобы постичь красоту их. Не так обстоит дело с литературой. Цельное восприятие литературного произведения возможно лишь по истечении времени. Так и в драматургии: в начале пьесы, возможно, возникнет эпизод, художественное достоинство которого зрителю сможет оценить лишь к третьему, а то и к четвёртому действию. Станет ли неразумный зритель от этого приходить в ярость, громко возмущаться, прерывая спектакль и нервируя актёров? Нет, достойный зритель будет спокойно ждать, и он изведает волнующее чувство удивления, любопытства, беспокойного предчувствия. Не за тем идёт он в театр, чтобы демонстрировать свой вздорный характер. Он идёт в театр, чтобы испытать эстетическое чувство. Он идёт в театр, чтобы развить в себе эстетическое чувство. Произведению искусства он не судья. Он тот, кому дана возможность созерцать произведение искусства и, если это произведение совершенно, преодолеть в процессе созерцания пагубное самомнение – самомнение от невежества, самомнение от ограниченности. Мне думается, что эта особенность драматургии едва ли всеми вполне осознаётся. Легко могу себе представить, что, если бы «Макбет» впервые явился на суд современных лондонских театралов, многие из побывавших на премьере решительно и с жаром стали бы протестовать против появления ведьм в первом акте, против их нелепых изречений и непонятных слов. Однако по окончании пьесы становится ясно, что хотят макбетовских ведьм столь же страшен, сколь и хотят безумия в «Лире», и пострашней хотят Яго в трагедии о Мавре. Из всех искусств именно драматургия требует от публики наиболее утончённого восприятия. Как только у зрителя возникает соблазн навязать своё суждение, он тут же становится заклятым врагом Искусства и самого себя. Искусство от этого не убудет. Пострадает только он.

То же относится и к жанру романа. Роковыми окажутся здесь диктат общепринятого мнения и подчинение ему. «Эсмонд» Теккерея – превосходное произведение искусства, потому что он создавал роман ради себя самого. В прочих своих романах – в «Пенденнисе», в «Филипе», даже местами в «Ярмарке тщеславия» – Теккерей

слишком прислушивается к запросам публики и, то непосредственно откликаясь на них, то высмеивая, наносит своим произведениям вред. Истинный художник ни в коей мере не зависит от публики. Публика для него не существует. Он не будет усмирять это чудовище дурманом или задабривать елеем. Он предоставит это автору популярных книжек. У нас в Англии есть один непревзойдённый романист м-р Джордж Мередит. Во Франции найдутся художники и позначительней, однако ни у кого из французов нет столь широкого, столь разностороннего, столь художественно убедительного охвата жизни. Есть и в России повествователи, кто с большим мастерством воплощает в литературе тему страдания. Однако именно Мередит стал философом от литературы. Его герои не просто живут, они живут мысля. Они предстают перед читателем в самых разнообразных ракурсах. Они многозначны. И в них, и вокруг них сама жизнь. Они многосложны, они символичны. А творец, создавший эти столь неповторимо подвижные образы, сделал это только ради себя, не заботясь о том, что надобно публике, оставаясь глух к её потребностям, никогда и ни в чём не позволяя ей диктовать или навязывать себе что бы то ни было; так он избрал путь воплощения собственных возможностей, чтобы создать своё, только ему присущее произведение. Сначала его не заметили. Это не поколебало его. Потом появились редкие ценители. Это не изменило его. Теперь его окружают многие. Но он всё тот же. Непревзойдённый романист.

Не иначе и в прикладном искусстве. С воистину вдохновенной настойчивостью публика придерживалась того, что я бы назвал прямыми традициями Великой Демонстрации вселенской пошлости, традициями настолько ужасающими, что лишь слепец мог обитать в обстановке, которой люди украшали свои дома. Началось производство красивых вещей, под кистью умельца заиграли изумительные краски, фантазия художника рождала восхитительные творения, и вот внимание переместилось на красивое, оно стало цениться и почитаться. Публика пребывала в крайнем возмущении. Выходила из себя. Твердила всякую нелепицу. Но это не смущало художников. Они не уронили себя. Не подпали под власть общественного мнения. Отныне, в какой бы современный дом мы ни вошли, почти непременно нас встретят свидетельства хорошего вкуса, свидетельства воздания должного изяществу обстановки, признаки умения ценить прекрасное. И действительно, сегодня наши дома в большинстве своём радуют глаз. Общая культура значительно возросла. Однако справедливости ради заметим, что небывалым

успехом такого переворота в домашней обстановке, меблировке и тому подобном мы обязаны отнюдь не тому обстоятельству, что у большинства публики выработался весьма изысканный вкус. Переворотом мы всецело обязаны тому, что для умельцев столь много значило получать удовольствие от процесса создания прекрасного, столь остро ощущали они, как ужасающе пошли тогдашние вкусы публики, что взяли публику прямо-таки штурмом. Сейчас уже попросту невозможно обставлять комнаты так, как оне обставлялись несколько лет тому назад, для этого пришлось бы наведываться за каждым предметом на аукцион подержанных вещей из какой-нибудь жалкой меблирашки. Подобного больше не производят. Как бы ни противилась публика новому, теперь она вынуждена обставлять своё жильё красивыми предметами. По счастью для неё самой, претензии публики на диктат в этой области искусства потерпели полное фиаско.

Итак, очевидно, что всякий диктат в подобных вещах неуместен. Иногда задаётся вопрос, при каких формах правления художнику живётся лучше всего. Ответ может быть только однозначным. Лучше всего для художника такая форма правления, которая полностью исключает всякое правление. Диктат над художником и его творчеством – нелепость. Утверждают, что в рамках деспотий художники создавали великолепные произведения. Это не совсем так. Бродячим чудоедем, пленительно-свободным странником, а не пресмыкающимся рабом входил художник в дом к тирану, с тем чтобы его приняли с лаской и милостью и отпустили с миром, дав возможность творить. В пользу тирана свидетельствует то, что как индивид он может быть культурным человеком, – толпе же, этому чудовищу, культура чужда. Император или Король способен наклониться, чтобы поднять кисть, обронённую художником; толпа наклонится лишь за тем, чтоб подобрать и швырнуть ком грязи. При этом никогда она не согнётся ниже Императора. К тому же, если вздумается толпе швырнуть грязью, ей и нагибаться незачем. Однако нет нужды противопоставлять монарха толпе – всякая деспотия неизбежно вредна.

Есть три вида деспотов. Один властвует над телом. Другой властвует над душой. Третий над телом и над душой одновременно. Первый зовётся Государем. Второй зовётся Папой. Третий зовётся Чернью. Государь может быть образованным человеком. Многие Государи были образованными людьми. Однако Государь опасен сам по себе. Вспомним Данте на горьком пиру в Вероне или Тассо в феррарской темнице для душевнобольных. Художнику лучше

держаться подальше от Государей. Папа может быть человеком образованным. Образованными были многие Папы; образованными были и худшие из них. Худшие из Пап поклонялись Красоте почти с той же, пожалуй, именно с той страстью, с какой лучшие Папы ненавидели Мысль. Человечеству трудно оплатить злодеяния папского престола. Добродетель папская в неоплатном долгу перед человечеством. И всё же, хотя Ватикан, сохранив красноречие своих громов, утратил способность исторгать молнии, художнику и от Пап лучше держаться подальше. Именно Папа изрёк перед конclave кардиналов, что такая личность, как Челлини, выше проповедуемых канонов и писаных законов, однако именно Папа заточил Челлини в темницу, и тот томился в ней до тех пор, пока в неистовстве не помутился рассудок несчастного и не стал являть пред ним чудесные образы в виде позлащённого солнца, входившего в юдоль его, и пока, очарованный солнцем, он не возжелал отправиться вослед и, перелезая с башенки на башенку, не свалился в рассветном сумраке на землю; его, изувеченного, виноградарь укрыл под виноградными листьями и отвёз на тачке к той, что чтила Прекрасное, и она окружила его заботой. Папский престол опасен сам по себе. А что же Чернь, какова она и какова её власть? Я думаю, и о ней, и о власти её сказано уже немало. Власть эта слепа, глуха, отвратительна, абсурдна, трагична, смешна, опасна и бесстыдна. Под властью Черни художнику жить немыслимо. Все деспоты способны на подкуп. Толпа способна и на подкуп, и на жестокость. Кто подвигнул её на то, чтобы повелевать? Люди рождены, чтобы жить, слышать, любить. Кто-то сослужил им злую службу. Подражая худшим из племени своего, они изуродовали себя. Они приняли скипетр Государя. Как воспользуются они им? Они увенчали себя трёхъярусной тиарой. Смогут ли снести её бремя? Они подобны шутам с разбитым сердцем. Они подобны жрецам с не рождённой ещё душою. Пожалеем же их, все те, кто чтит Прекрасное. И хоть сами Прекрасного не чтут, пусть и они пожалеют самих себя. Кто обучил их вероломству тирании?

О многом ещё стоило бы здесь сказать. О том, сколь великой стала эпоха Возрождения именно потому, что не стремилась решать проблемы общества, не это занимало её, но возможность позволить индивидууму развиваться свободно, естественно и прекрасно; потому и породило Возрождение столько великих индивидуальностей в искусстве, великих индивидуальностей в жизни. О том, как Людовик XIV, создавая современное государство, подавил индивидуальность художника и создал порядок, чудовищный в своём навязчивом однообразии и ничтожный в своей приверженности идеи власти, как

по всей Франции он уничтожил все те достойные образцы свободного самовыражения, которые воплощали в прекрасном обновлённые традиции, создавали новое искусство в античных формах. Но что нам прошлое? Что нам настоящее? Нам следует заботиться о будущем. Ибо прошлое есть то, куда не следует возвращаться. Настоящее – то, где оставаться не должно. Будущее – вот обитель художника.

Разумеется, нам могут сказать, что изложенная здесь система взглядов совершенно неприемлема и противоречит человеческой натуре. Истинно так. Она неприемлема, и она противоречит человеческой натуре. Именно потому и стоит её огласить, именно потому она и предложена. Ибо что такое приемлемая система взглядов? Приемлемая система взглядов либо такова, какая уже имеет место в действительности, либо та, какую можно составить на основе существующего порядка вещей. Однако именно существующий порядок вещей нам и не подходит; любая система взглядов, принимающая такой порядок вещей, порочна и нелепа. Стоит отказаться от заданных условий, и изменится человеческая натура. Единственное, что нам доподлинно известно о человеческой Натуре, – это что она меняется. Изменчивость – единственное предсказуемое её свойство. Системы взглядов, которые основываются на неизменности человеческой натуры, а не на росте её, не на её развитии, обречены. Ошибкой Людовика XIV было полагать, будто человеческая натура неизменно одна и та же. В результате этой ошибки разразилась французская революция. Результат оказался благотворен. Всякие ошибки правителей всегда ведут к чрезвычайно благотворным последствиям.

Следует помнить также, что Индивидуализм не проявится в человеке, который страдает нездоровой приверженностью долгу (что попросту сводится к исполнению воли других, потому что такова их воля) или отвратительной склонностью к самопожертвованию, которая не более, чем атавизм первобытной дикости. В сущности, Индивидуализм вовсе не навязывается человеку извне. Он естественным и неизбежным образом вытекает из самой человеческой сущности. Он та цель, к которой тяготеет всё человеческое развитие. Критерий, к которому стремится всё живое. Совершенство, присущее любой форме жизни и к которому устремлена каждая форма жизни. И значит, Индивидуализм не оказывает по отношению к человеку никакого принуждения. Напротив, он внушает человеку, что не надо жить по принуждению. Он не стремится подтолкнуть людей на доброе. Ему ясно, что человеку присуща добродетель, надо лишь оставить человека в покое.

Человек будет развивать в себе Индивидуализм. Человек уже сейчас развивает свой Индивидуализм. Усомниться в реальности Индивидуализма – то же, что усомниться в реальности Эволюции. Эволюция есть закон жизни, и нет эволюции вне стремления к Индивидуализму. Отсутствие такого стремления означает либо насилиственное подавление роста, либо болезнь, либо смерть.

Индивидуализм, кроме того, будет чужд эгоизма и противоестественности. Очевидно, что одним из последствий чрезмерной тирании власти является абсолютное отторжение слов от их изначальных, простых значений, приданье словам смысла, противоположного исходно присущему им. Всё, что правдиво в Искусстве, правдиво и в Жизни. Сегодня противоестественной называют манеру человека одеваться, как ему вздумается. Однако, одеваясь так, он поступает вполне нормальным образом. На самом деле одеваться противоестественно означает одеваться сообразно вкусам своего соседа, жизненные запросы которого, отражая запросы большинства, скорее всего, демонстрируют крайнюю ограниченность. Или: эгоистом именуют того, кто ведёт себя как считает необходимым для более полного самовыражения; если, конечно, основную цель свою он видит в самосовершенствовании. Но ведь именно так и должен жить каждый. Эгоизм не в том, что человек живёт как хочет, а в том, что он заставляет других жить по своим принципам. И отсутствие эгоизма проявляется в предоставлении другим жить, как они хотят, а не мешать им в этом. Эгоизм непременно ставит перед собой целью создать вокруг себя абсолютное подобие себе. Неэгоистичный человек считает благом неограниченное разнообразие личностей, приветствует его, принимает безропотно, радуется ему. Думать о себе не есть эгоизм. Тот, кто не думает о себе, вообще не способен мыслить. Но крайне эгоистично требовать от ближнего мыслей и суждений, подобных своим. Зачем? Если тот способен мыслить, скорее всего, он мыслит иначе. Если не способен, недопустимо требовать от него проблеска мысли. Алую розу не упрекнёшь в эгоизме оттого, что она хочет быть алой розой. Но мы назовём её ужасной эгоисткой, коль скоро она пожелает, чтоб и прочие цветы в саду стали алыми и притом розами. Индивидуализм сделает людей совершенно естественными и совершенно неэгоистичными, даст им познать истинный смысл слов и раскрыть себя в свободном и прекрасном бытии. Люди уже не будут такими самовлюблёнными, как сейчас. Ибо самовлюблённый человек именно тот, кто предъявляет свои требования другим; у индивидуалиста такого и в помыслах не будет. Ему это не доставит

удовольствия. Познав Индивидуализм, человек познает и сочувствие, которое станет проявляться у него свободно, естественно. До сих пор сочувствие едва ли находило развитие в человеке. Он может испытывать сочувствие к боли, но сочувствие к боли не есть высшая форма проявления сочувствия. Всякое сочувствие – благо, однако сочувствие к боли наименее положительный из всех видов сочувствия. Оно несёт следы самовлюблённости. Оно неизбежно перерастает в нездоровое чувство. Оно внушает нам некую боязнь за наше благоденствие. Нам становится страшно: что, если мы все вдруг превратимся в прокажённых и слепцов – некому будет тогда заботиться о нас. Подобное сочувствие к тому же и на удивление ограниченное чувство. Человек должен научиться сочувствовать разнообразным житейским явлениям, не только житейским ранам и болячкам, но и житейским радостям, красоте, энергии, здоровью и свободе. Чем шире сочувствие, тем оно, разумеется, и многосложней. Оно требует всё большего бескорыстия. Каждый может сочувствовать страданиям друга, однако только поистине утончённым натурам – в сущности, натурам подлинных индивидуалистов – дано сочувствовать успеху друга. В условиях нынешнего гнёта конкуренции и борьбы за место в жизни подобное сочувствие, естественно, возникает крайне редко, и, кроме того, ему чрезвычайно препятствует безнравственный идеал единообразия и сообразие с властью, что можно встретить всюду и везде, но, пожалуй, в наиболее отвратном виде – в Англии.

Конечно же, сочувствие к боли не утратится никогда. Это один из природных инстинктов человечества. Животные, ведущие индивидуальный образ жизни, причём именно высокоорганизованные их особи, подобно нам, обладают этим свойством. Вместе с тем следует помнить: если сочувствие радости способствует преумножению радости на земле, сочувствие боли вовсе не умаляет самой боли. Оно, возможно, сделает человека более стойким по отношению к злу, однако зло не исчезнет. Сочувствие к больному чахоткой не искоренит чахотку; это под силу только Науке. И когда Социализм решит проблему нищеты, а Наука разрешит проблему заболеваемости, армия сострадающих будет меньше, а сочувствие человечества станет масштабней, здоровее, естественней. Человек будет испытывать радость при виде радостной жизни других.

Ибо Индивидуализм будущего откроется через чувство радости. Христос не пытался преобразовать общество, потому Индивидуализм, которому учил Он человека, мог открыться лишь через боль или через уединение от мира. И идеалы, доставшиеся нам от Христа, представляют собой либо идеалы человека, полностью

отторгшегося от общества, либо того, кто целиком восстал против общества. Но человек по природе своей существование общественное. Даже пустынная Фиваида в конечном счёте была заселена людьми. Пусть анахорет мнит себя индивидуальностью, зачастую индивидуальность его убога. С другой стороны, та пугающая истина, что боль есть средство, благодаря которому человек может выразить себя, вызвала повсюду поразительный восторг и поддержку. Нередко недалёкие проповедники и недалёкие мыслители со слезами сетуют с амвонов и трибун о всеобщем увлечении культом наслаждения. Как редко, однако, встречаем мы в истории пример, когда человечество избирало бы идеалом себе радость и красоту. Культ боли куда как чаще царил над миром. Средневековье с его святыми и мучениками, с его жаждой к самоистязанию, с его дикой страстью к самоуязвлению, с его израненным телом и исхлестанной плотью, средневековье – вот истинное воплощение христианства, а средневековый Христос и есть Христос истинный. Стоило заняться над миром заре Возрождения, принесшей с собой новый идеал красоты жизни и радости бытия, как люди перестали понимать Христа. Даже Искусство подтверждает это. Художники Возрождения изображали Христа младенцем, игравшим со сверстником посреди дворца или сада или, покоясь на руках Матери, с улыбкой взирающим на неё, на цветок или на яркую птицу, или в образе величественном, горделивом, с достоинством ступающим по земле, или вознёсшимся ввысь от смерти к жизни в непостижимом экстазе чудодействия. Даже распятого Христа представляли они прекрасным Богом, страдающим по вине злобы людской. Однако образ Христа не слишком увлекал мастеров Возрождения. Они стремились изображать восхищавших их мужчин и женщин, живописуя красоту чарующего земного мира. Много религиозных полотен создали они, признаюсь, даже слишком, а однообразие символа и сюжета утомительно, что плохо сказывалось на искусстве. То было следствием диктата публики в области искусства, и это достойно сожаления. Однако не в подобные творения вкладывали душу живописцы. Рафаэль проявился как величайший мастер, когда писал портрет Папы римского. Создавая своих мадонн и образы младенца Христа, он так и не раскрылся как величайший мастер. Христу нечего было поведать эпохе Возрождения, которая тем и прекрасна, что выдвинула идеал, противоречащий Христову, ну а за воплощением истинного Христа нам следует обратиться к средневековью. Здесь Он убог и увенчен; черты Его лица не радуют глаз, ибо радость есть свойство Красоты; одежды Его не блещут убранством, ибо и здесь радостные тона, как видно, неуместны: Он –

нищий с необъятным сердцем, Он – прокажённый с божественной душой; Ему не нужно ни богатство, ни здоровая плоть, он – Бог, воплощающий своё совершенство через боль.

Развитие человека идёт неспешно. Несправедливости в мире слишком много. Тогда было необходимо, чтобы именно боль явила средство самовыражения. Даже в наш век кое-где ещё требуется слово Христово. Ни один из современных россиян не способен самовыразиться иначе, чем через боль. Кое-кому из русских художников удалось выразить себя в Искусстве, в области романа, мироощущение которого близко к средневековому, так как доминирующий мотив – самовыражение через страдание. Ну а для людей, не причастных к искусству, и для тех, кто живёт исключительно сегодняшним днём, боль становится единственным путём к совершенству. Всякий, кто живёт припеваючи в условиях нынешней системы российского правления, видимо, должен считать, что либо души у человека вообще нет, либо, если таковая есть, она не стоит того, чтоб совершенствовать её. Нигилист, отрицающий любую власть, будучи убеждён, что власть – зло, и превозносящий любую боль, поскольку через неё выражает он свою индивидуальность, как раз и есть правоверный христианин. Идеал христианства – для него истина.

И всё же Христос не восставал против власти. Он принимал имперскую власть Рима, воздавая должное ей. Он терпел священную власть иудейской религии, со своей стороны не оказывая ни малейшего отпора её насилию. Как я отмечал выше, Он не выдвигал какой-либо системы преобразования общества. Однако наше современное общество выдвигает. Оно предполагает покончить с нищетой и лишениями, какие влечёт за собой нищета. Оно стремится избавиться от боли и от мук, какие влечёт за собой эта боль. И в действиях своих оно опирается на Социализм и Научную Мысль. Оно движется к Индивидуализму, воплощаемому в радости. Индивидуализм станет в будущем многомерней, полнее, прекрасней, чем тот, каким являлся до сих пор. Боль не есть наивысшая степень совершенства. Это лишь преддверие, лишь реакция протesta. И это связано с порочными, болезненными, несправедливыми условиями жизни. Когда же порок, болезнь и несправедливость исчезнут, тогда не будет больше боли. Миссия её будет закончена. Её роль была велика, однако она уже почти исчерпана. Влияние её убывает день ото дня.

Но человек не испытывает жалости утраты. Ибо то, к чему он стремится, не есть только боль или только наслаждение, но сама

Жизнь. Человек возжелал жить наполненной, прекрасной, кипучей жизнью. Для того чтобы так жить, ему не надо будет ничего никому навязывать, самому не придётся страдать от ограничений; что бы он ни делал, всё станет радостью для него, он сделается мудрее, крепче, совершеннее, станет более самим собой. Наслаждение – мерило Природы, добрый знак её. Когда человек счастлив, он в гармонии с самим собой и с окружающим миром. Новый Индивидуализм, на службе которого состоит, сознаёт он это или нет, Социализм, явится идеальной гармонией. Тем самым, к чему древние греки стремились, но не смогли постичь целиком, разве что посредством Мысли, так как имели рабов и содержали их; тем самым, к чему Возрождение стремилось, но не смогло постичь целиком, разве что посредством Искусства, так как имело рабов и угнетало их. Индивидуализм станет абсолютным, и благодаря ему каждый человек придёт к своему совершенству. Новый Индивидуализм – это новый Эллинизм.

1993г.

ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ ИЗДАТЕЛЯ

¹ Такое начало, разумеется, может обескуражить современного русского читателя. Но, во-первых, полное название трактата звучит по-английски как «Душа Человека при Социализме», а, во-вторых, следует учесть, что, для Уайльда, «социализм» – не то же, что для нас, не то же, что для Ленина, Сталина, Брежнева и К⁰, и даже не то, что для Маркса. Слово одно, а содержание, наполняющее его, как будет видно из последующего, совершенно иное. Итак, «было бы очень хорошо завести социалистический строй...»

² Лондонские кварталы, населённые беднотой.

³ Слова, как показывает наш горький опыт, оказавшиеся вполне пророческими.

⁴ Мария-Антуанетта (1755 – 1793) – французская королева, супруга Людовика XVI, казнённая вместе с ним во время великой французской революции. Вандея – департамент на западе Франции – была в конце XVIII – начале XIX вв. центром мятежей крестьян, выступавших вместе с контрреволюционным дворянством и духовенством за реставрацию свергнутой династии Бурбонов.

⁵ Мудрый человек всегда предвидит, что получится из того, если за дело возьмутся подлецы, пособляемые глупцами.

⁶ Перу Теодора Моммзена принадлежит капитальный труд «История Рима» (1854–56 гг.); в пятой книге «Истории Рима» анализируется эпоха Юлия Цезаря, его жизнь и деятельность.

⁷ Марку Аврелию Ж.Э.Ренан посвятил один из томов своей восьмитомной «Истории происхождения христианства» (1882 г.).

⁸ По преданию, слова «Познай самого себя» были начертаны над входом в храм Аполлона в Дельфах.

⁹ Отец Дамиан (Жозеф де Вестер, 1840 – 1889 гг.) – бельгийский миссионер, поселившийся среди прокажённых на Гавайских островах, чтобы улучшить условия их жизни; умер от проказы.

¹⁰ Вероятно, речь идёт о Чжуан-цзы.

¹¹ Олигархия (*греч.*) – власть немногих; охлократия (*греч.*) – власть черни.

¹² Здесь нетрудно узнать портрет «национального по форме и социалистического по содержанию» искусства гордой Страны Советов. Где они теперь, все творения сии? И какая участь уготована им далее? Едва ли благодарные потомки будут услаждать свой вкус чтением всех этих героических эпопей, слушанием революционных симфоний и опер или любованием лысо-усатыми истуканами с простягнутыми дланями.

¹³ Французская Академия была создана в 1635 г. стараниями кардинала Ришелье для изучения языка и литературы, формирования их норм, для создания словарей и грамматик французского языка. Включает 40 пожизненных членов – «бессмертных»; во время французской революции в 1793 г. была упразднена по решению Конвента; вновь воссоздана в 1803 г.

¹⁴ По аналогичному поводу А.Конан-Дойль в «Истории Спиритизма» писал: «Тот, кто не боится тирании людей, должен остерегаться заигрываний прессы. Печатный станок всегда преуспевал там, где были отменены пытки.»

¹⁵ Уайльд имеет в виду, что Данте в 1301 г. был изгнан из родного города Флоренции и жил в Вероне, а Торквато Тассо в результате политических и религиозных интриг при дворе феррарского герцога д'Эсте был брошен в тюрьму, где провёл семь лет.

¹⁶ Бенвенуто Челлини пользовался расположением папы Климента VII, но позднее за непочтительное высказывание в адрес папы Павла III был брошен в темницу; Уайльд здесь вольно пересказывает текст из «Автобиографии» Челлини.

¹⁷ Здесь подразумевается тиара римских пап, украшенная тремя коронами; она символизируют то, что папа является «отцом князей и королей», «правителем мира» и «наместником Иисуса Христа».

¹⁸ Вероятно, аллюзия на миф, согласно которому Фивы, главный город Беотии, были заселены людьми, выросшими из зубов дракона, посаженных основателем города Кадмом.

¹⁹ Известны два портрета пап, принадлежащих кисти Рафаэля: портрет Юлия II (1511 г.), передающий властность характера папы, и портрет Льва X «Лев X с кардиналами» (1518 г.), изображающий папу – философа и эпикурейца.

²⁰ Писано о России 80-90 гг. XIX века. Но насколько справедливо это применительно ко всему, что творится с октября 17-го года! Душу и Бога вычеркнули из жизни - и жизнь превратилась в скотство.

²¹ Аболиционисты (от лат. *abolitio* – «отмена, уничтожение, упразднение») – участники движения за отмену рабства негров в С.Ш.А.

²² Всякая клевета, на него возведимая, – тому подтверждение.

²³ Эдмунд Бёрк (1729 – 1797) – английский мыслитель и государственный деятель, автор книги «Размышления о революции во Франции», на которую, вероятно, и ссылается Уайльд. Французское общество накануне революции состояло из трёх сословий: дворянства, духовенства и сословия горожан и крестьян.

П.А. Гелева

СОДЕРЖАНИЕ

От издателя	3
ДУША ЧЕЛОВЕКА (<i>пер. М.П. Благовещенской</i>)	5
THE SOUL OF MAN (английский оригинал)	43
L'ÂME DE L'HOMME (<i>пер. Поля Грофиса</i>)	75
DIE SEELE DES MENSCHEN (<i>пер. Пауля Вертгеймера</i>)	107
L'ANIMA DELL'UOMO (<i>пер. Марко Виньоло Гарджини</i>)	145
EL ALMA DEL HOMBRE (анонимный перевод)	179
ДУША ЧЕЛОВЕКА (<i>пер. О. Кириченко</i>)	211
Примечания и комментарии (<i>Павел Гелева</i>)	248